

Белла Ахмадулина

Пуговица  
в китайской чашке



Белла  
Ахмадулина

Пуговица в китайской чашке

*БЕЛА АХМАДУЛИНА*

**Пуговица  
в китайской  
чашке**



АСТРЕЛЬ  
Москва

УДК 821.161.1-1  
ББК 83(2Рос=Рус)6-5  
А95

**Ахмадулина, Б.А.**

А95 Пуговица в китайской чашке / Белла Ахмадулина. — М.: Астрель: Олимп, 2011. — 637, [1] с.

ISBN 978-5-271-32278-5 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 978-5-7390-2352-0 (ООО «Агентство «КРПА Олимп»)

Творчество Беллы Ахмадулиной стало одним из самых ярких и значительных явлений в русской словесности.

Интерес к ее поэзии с годами не ослабевает, и уже сейчас очевидно, что она — один из крупнейших русскоязычных поэтов конца XX — начала XXI столетия.

В книгу «Пуговица в китайской чашке» из трехтомника Беллы Ахмадулиной вошли стихотворения 1997 — 2008 гг., такие поэмы, как «Черемуха», «Пациент», «Глубокий обморок», поэтические посвящения Василию Аксенову, Владимиру Войновичу, Эльдару Рязанову и многим другим, а также цикл «Стихи детям» и прозаические произведения.

УДК 821.161.1-1  
ББК 83(2Рос=Рус)6-5

**ISBN 978-985-16-9584-9**  
**(ООО «Харвест»)**

© ООО «Агентство «КРПА Олимп», 2009  
© Оформление. ООО «Издательство Астрель», 2009

**СТИХИ И ПОЭМЫ**

**(1997–2008)**



\* \* \*

Когда случилось петь Дездемоне, —  
А жить так мало оставалось, —  
Не по любви, своей звезде, она, —  
По иве, иве разрыдалась.

*Борис Пастернак*

Вот — пруд и дерево плакучее.  
Пруд, дерево, что вместе сделали  
в честь вымысла? Есть нечто лучшее:  
слеза — по иве и Дездемоне.  
Дездемона, вот вижу иву я.  
Растут ли ивы во Эдеме?  
Я — горько, ярко слышу иволгу,  
столь близко. И не знаю: где мы.  
Зовётся речка Вертушинкою,  
пруд — и сосед, и соименник.  
Дездемона, моей ошибкою  
гощу, грущу в чужих именьях.  
Я иволгу однажды видела,  
чей цвет есть тайна. Ныне — где она?  
Звук-цвѣт. Ни выхода, ни выбора.  
Прощайте, ива и Дездемона.  
Намек на тайну: цвета иволги  
цвет ивы, что уже желтеет.

Дездемона! — что в этом имени?  
Потом — восплачут, пожалеют,  
иль навсегда забудут. Ибо —  
забывчивы. Всё станет зелено...  
Но ты, всепомнящая ива,  
прошелестишь Поэта имя...

1997

\* \* \*

Малеевка, как нежно, грустно  
звучит название местечка.  
Старее иль новее Руза —  
любимо всё и все. Мне тесно  
без этих мест в просторе мира,  
в превыспреннем пространстве. Мимо  
не пролететь бы, ибо — ива,  
и пруд, и милая берёза  
близ пруда, поле, и бороздка,  
где васильки я собирала,  
они синели и седели,  
как я, ни одного собрата —  
в аллее ель, и щедрость ели, —  
мои зрачки не проглядели.  
Вспомним всё же Воронцовых.  
Лишь у меня — местоименья,  
именем места окольцован  
лёт наших крыл. В сей миг, немея,  
я боле всех люблю Лаврова.  
Что лавры нам, лауреаты?  
Не в нашу честь сирень лилово  
и бел жасмин. Иной награды  
не надобно. Не обмелеет  
душа окрестности. Чего-то

не достаёт... Купец Малеев:  
именье во груди — чахотка,  
но здравствует и ныне имя  
округи. Постоялец нимба,  
во времени, чей норев резок  
(как и всегда), что возомнил он,  
гость местности? Он кротко грезит  
о доме, доме с мезонином.

1997

## ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Закат дымами шевелит.  
Старее год, вчера лишь новый.  
Над фабрикою «Большевик»  
висит румянец нездоровый.

Корпит кирпичный храм сладён,  
пресытив рты, измазав щёки  
детей, чей диатез влюблен  
в красу фольги, в услады ёлки.

Где выдох приторный трубы  
и всех меньшинств и кислорода —  
соперник, несколько, увы,  
подташнивает пешехода.

Но любит он, какой ни есть,  
свой праздник. Всё неповторимо:  
он сам, хоть он слегка не трезв,  
и фабрики угрюмой имя,  
и весь район, где Правды в честь  
зовётся улица игриво.

*2 января 1997*

## ИЗГНАНИЕ ЁЛКИ

*Борису Мессереру*

Я с Ёлкой бедною прощаюсь:  
ты отцвела, ты отгуляла.  
Осталась детских щёк прыщавость  
от пряников и шоколада.  
Вино привычно обмануло  
полночной убылью предчувствий.  
На лампу смотрит слабоумно  
возглавля полумесяц узкий.  
Я не стыжусь отверстой вести:  
пера приволье простодушно.  
Всё грустно, хитроумно если,  
и скушно, если дошло, ушло.  
Пусть мученик правописанья,  
лишь глуповатости учёный  
вздохнёт на улице — бесправно  
в честь «правды» чьей-то наречённой.  
Смиренна новогодья осыпь.  
Пасть праздника — люта, коварна.  
В ней кротко сгинул Дед-Морозик,  
содеянный из шоколада.  
Родитель плоти обречённой —  
кондитер фабрики соседней

(по кличке «Большевик»), и оный  
удачлив: плод усердий съеден.  
Хоть из съедобных он игрушек,  
нужна немалая отвага,  
чтоб в сердце сходство обнаружить  
с раскаяньем антропофага.  
Злодейство облегчив оглаской,  
и в прочих прегрешеньях каюсь,  
но на меня глядят с опаской  
и всякий дед, и Санта-Клаус.  
Я и сама остерегаюсь  
уст, шоколадом обагрённых,  
обязанных воспеть сохранность  
сокровищ всех, чей царь — ребёнок.  
Рта ненасытные потёмки  
предам — пусть мимолетной — славе.  
А тут ещё изгнание Ёлки,  
худой и нищей, в ссылку свалки.  
Давно ль доверчивому древу  
преподносили ожерелья,  
не упредив лесную деву,  
что дали поносить на время.  
Отобраны пустой коробкой  
её убора безделушки.  
Но доживет ли год короткий  
до следующей до пирушки?  
Ужасен был останков вынос,  
круг соглядатаев собравший.  
Свершив столь мрачную повинность,  
как быть при детях и собаках?  
Их хоровод вокруг злых поступков  
состарит ясных глаз наивность.  
Мне остаётся взор потупить

и шапку на глаза надвинуть.  
Пресытив погребальный ящик  
для мусора, для сбора дани  
с округи, крах звезды блестящей  
стал прахом, равным прочей дряни.  
Прощай, навек прощай. Пора уж.  
Иголки выметает веник.  
Задумчив или всепрощающ  
родитель жертвы — отчий ельник.  
Чтоб ни обёртки, ни окурка,  
чтоб в праздник больше ни ногою —  
была погублена фигурка,  
форсившая цветной фольгой.  
Ошибся лакомка, желая  
забыть о будущем и бывшем.  
Тень Ёлки, призрачно-живая,  
приснится другом разлюбившим.  
Сам спящий — в сновиденье станет  
той, что взашей прогнали, Ёлкой.  
Прости, вечнозелёный странник,  
препятствуй грёзе огнеокой.  
Сон наказующий — разумен.  
Ужели голос мой пригубит  
воплъ хора: он меня разлюбит.  
Нет, он меня любил и любит.  
Рождественским неведом елям  
гнев мести, несовместный с верой.  
Дождусь ли? Вербным Воскресеньем  
склонюсь пред елью, рядом с вербой.  
Возрадуюсь началу шишек:  
росткам неопытно зелёным.  
Подлесок сам меня отыщет,  
спасёт его исторгшим лоном.



Дождаться проще и короче  
Дня, что не зря зовут Прощёным.  
Есть место, где заходит в рощи  
гость-хвоя по своим расчётам.  
На милость ельника надеюсь,  
на осмотрительность лесничих.  
А дале — Чистый Понедельник,  
пост праведников, прибыль нищих.  
А дале, выше — благоустье  
оповещения: — Воскресе!  
Ты, о котором сон, дождусь ли?  
Дождись, пребудь, стань прочен, если...  
что — не скажу. Я усмехнулась —  
уж сказано: не мной, Другою.  
Вновь — неправдоподобность улиц  
гудит, переча шин угону...  
У этих строк один читатель:  
сам автор, чьи темны намеки.  
Татарин, эй, побывши татем,  
окстись, очнись, забудь о Ёлке.  
Автомобильных стонов бредни...  
Не нужно Ёлке слов излишних —  
за то, что не хожу к обедне,  
что шоколадных чуд — язычник.

*Февраль-март 1997*

## ВИДЕНИЕ РОЗЫ

*Вацлаву Нижинскому*

Стоял туман, в котором слепнет посох  
и лиходея вязнет вялый нож.  
Восставшая, прочна на ощупь плоскость,  
скрывающая: день она или ночь.

Вот было что: ничто не наступило  
или ничто настало — что за ним.  
Растяпа-плотник не подвёл стропила  
под небосвод, опавший на залив.

Вчера был вторник, люди говорили.  
Как разберусь с бездненья чередой?  
Пожалуй так: мы вторника руины  
возьмём себе и наречём средой.

Схитрим и по невидимому следу  
войдём в четверг и утро обновим.  
Мрак откликаться не желал на «среду»:  
не помещался в схему аноним.

Мой домик малый был в незримость замкнут.  
В условном замке всякий свет погас.  
И только кот дремотно-зорким зраком  
разумно тратил фосфора запас.

Я знала: электричество стропливо,  
за что его и невзлюбил ремонт.  
Я, вчуже: сколько времени? — спросила  
у явного отсутствия времен.

Будильник мой давно был невменяем  
и жил по усмотренью своему.  
Его б могла б я обойти вниманьем,  
но вздорным звоном он вредил уму.

Вдруг оживился телефон разбитый —  
соперник съединенья голосов.  
Предмет, воображенье поразивший,  
удостоверил: ровно ноль часов.

И впредь, не опасаясь повториться,  
он охранял незыблемость ноля.  
Рассудок — сам затворник и темница —  
стал намекать, что вождь его — не я.

Бубнил, что тем и этим полушарьем  
он криво сгорблен и стеснён весьма,  
но одолеет должным прилежаньем  
двумерное узилище ума.

Что он клаустрофобии недугом  
давно казним, что мне его не жаль:  
я не слежу за сквозняком, надувшим  
в отверстия слуха вредоносный жар.

Мне нравилась бунтовщика повадка —  
пусть прочь идёт, взяв заячий тулуп,  
тем боле что должна быть глуповата  
та, в честь которой он бывал не глуп.

Мой посторонний разум самовольно  
витаю, не сжатый ни в каких тисках.  
Я принялась за чтение Сименона,  
свечи огарок чудом отыскав.

Что я теперь? Его же измышление  
и, стало быть, не измышлять вольно.  
Что может быть отрадней и свежее  
морщиною не раненного лба?

А то — в себя, словно в глухой колодец,  
гляжу, куда глаз не изнемог,  
и встречно смотрит изнутри уродец —  
раденьем тщетным изнурённый мозг.

Что, кстати, с ним, промозглость обнажившим?  
(Кот дыбил шерсть на говорливый жар.)  
Ах, вот что: он поверженным Нижинским  
в лечебнице себя воображал.

Он осмел докучливую просьбу  
опомниться: ничто не устрасит  
умеющего превратиться в розу,  
чей стебель сломлен и кровоточит.

Ничтожна новых прорастаний робость,  
их неуклюжью не тягаться с ним.  
Та, для кого он принял розы образ,  
Пусть без видений в старом кресле спит.

Я стала привыкать к его капризам  
и, даже если бред его правдив,  
растения страдающего призрак —  
родим и здесь пребудет невредим.

Да, угодил он из огня в полымя.  
Я — не в себе, он — не во мне, но где?  
Его бессвязных вымыслов поимка  
была моим занятием в темноте.

Таких примерно: ... Близится премьера.  
Восхода выход — траурный дебют.  
Рот мёртвой розы говорит про небо,  
что небо — труб и кочегаров труд.  
Душе угодно, чтоб, взлетев, померкла.  
Но выпорх крыл добудут и добьют  
алмаза сглаз, в петлице бутоньерка.  
— В шлафрок одет и в шлепанцы обут,  
ты кто таков? Вот ложка и тарелка.

Звон оловянный — к завтраку зовут.  
— Но завтрак — завтра? Где же взять терпенья,  
столь нужного для достиженья утр?

Когда больных тревожили звонком,  
дабы прервать глотком или зевком  
их пренья и паренья исступленья,  
Карсавиной к нему склонились перья.  
Ей подвиг — слёзы скрыть — не удавался.  
Она его звала, как прежде: Ваца...  
Не видели, чтоб он разволновался.  
Он объявил, что с нею незнаком.

Он продолжал: что проку сыпать бисер  
в бинокль, в лорнет, в монокль на желваке.  
Поступок мышц, всевластных и всебыстрых,  
закручен в узёл в плоском животе.  
Как распрямить несбывшийся избыток  
согбенных сил зародыша в желтке.

Прыжок возбранный сам себя превысил:  
хлад облака остался на щеке.  
Ум одолел: он действие приблизил  
к черте, которой нет в простом житье.  
Что делать дале любопытным линзам?  
Нет зрителей у главного жете.

Он прикорнул, устав от монолога.  
Себя он розой ощущал неловко.  
Нет, он себя не знал немолодого.  
Он слишком молод, только слишком долго.

Виденье он, которое не в силах  
всё время знать, как мучится душа.  
— А всё же, где Карсавина? — спросил он.  
Ему сказали, что она ушла.

Меж тем с меня тянули одеяло.  
Сияло так, что — не стерпеть со сна.

Ко мне пришла сестра-хозяйка Алла,  
всех сущих здесь хозяйка и сестра.

Сказала Алла: — Спите больно сильно.  
Я всполошилась: спят мои, да, спят.  
— А много ль нас? — в тревоге я спросила.  
— Премного: вы и кот-розовопят.

Уж Алла чай по чашкам разливала.  
Кот думал: надо ль покидать диван.  
Давненько я кота подозревала  
в заумственных и хитростных делах.

Кот Васька был заметная персона.  
Никто не знал, о чём он помышлял.  
Кот, мною почитаемый особо,  
был к людям строг и терпелив к мышам.

— Скажите, Алла, нынче день недели  
какой? И не было ли безмянных дней? —  
Она смеялась: — Вы в своем уме ли?  
— Не думаю, — я отвечала ей.

— А правда ль, что стоял туман великий  
и всей округой нашей завладел  
и снег, с небес невиданно валивший,  
морочил и сбивал с пути людей?

— Да нет, слегка туманилась погода,  
собрался, да не сбился снегопад.  
Сейчас — тепло. Для лыжного похода  
из школы отпустили всех ребят.

Вы с Васькой не расслаивайтесь тут.  
От дома далеко не отлучайтесь.  
Пора, однако: к завтраку зовут.

Но вот что было странно и не просто:  
передо мною, на краю стола,  
горючая горячечная роза  
стояла скорбно в зелени стекла.

Я вышла. Отрясая снег с лопаты,  
румяный дворник мрачно произнёс:  
— Ни вьюга, ни туман не виноваты.  
Возвёл на них напраслину прогноз.

Пёс ради шутки на кота бросался.  
Вмешался дворник: — Цыц! Нишкни, борзой, —  
Ни в чём не виноватое пространство  
в глазах стояло прочною слезой.

В ресницах с нерастаявшей снежинкой  
народ вокруг смеялся и сновал.  
Я думала: как тосковал Нижинский,  
как тосковал, как страшно тосковал.

*Февраль 1997*



**«ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ»**

Сияет сад, и девочка бежит,  
ещё свежо июня новоселье.  
Ей весело, её занятие — жить,  
и всех любить, и быть любимой всеми.

Она, и впрямь, любима, как никто,  
семьёй, друзьями, мрачным гимназистом,  
и нянюшкой, воззревшейся в окно,  
и знойным полднем, и оврагом мгlistым.

Она кричит: «Я не хочу, Антон,  
ни персиков, ни за столом сиденья!»  
Художник строго говорит о том,  
что творчество, как труд крестьян, — вседенно.

Меж тем, он сам пристрастен к чехарде,  
и сам хохочет, змея запуская.  
Везде: в саду, в гостиной, в чердаке —  
его усердной кисти мастерская.

А девочке смешно, что ревновал  
угрюмый мальчик и молчал сурово.  
Москву давно волнует Ренуар,  
Абрамцево же влюблено в Серова.

Он — Валентин, но рекло он отверг  
и слыл Антоном в своеволье детства.  
Уж фейерверк, спех девочки — наверх:  
снять розовое, в белое одеться.

И синий бант отринуть до утра,  
она б его и вовсе потеряла,  
он — надоел, но девочка — добра,  
и надеваньё банта повторяла.

Художника и девочки — кумир:  
лев золотой, Венеции возглавье.  
Учитель Репин баловство корил,  
пост соблюдая во трудах, во славе.

А я люблю, что ей суждён привет  
модистки ловкой на мосту Кузнецком.  
...Ей данный вкратце, иссякает век.  
Она осталась в полдне бесконечном.

Ещё сирень, уже произросло  
жасминное удушье вкруг беседки.  
Серьёзный взор скрывает озорство,  
не сведущее в скуке и бессмертье.

Пусть будет там, где персики лежат,  
пусть бант синее, розовеет блуза.  
Так Мамонтову Верочку мне жаль:  
нет мочи ни всплакнуть, ни улыбнуться.

*В ночь на 4 марта 1999 года*

## ВОСПОМИНАНИЕ

От сна очнулись соловьи.  
Зима весны их не сгубила.  
Они меня и совлекли  
Вернуться в то, что прежде было.

Был майский полдень, мне — шесть лет,  
мы с матерью куда-то едем.  
Руин всесущий силуэт  
взамен заутрень и обеден.

Привычная Москва-река  
здесь — ослепительно внезапна,  
и хрупкой матери рука,  
меня влекущая, — изящна.

Мне долгая дорога — власть.  
Ужель дитяти не помнилось,  
что не прочна меж нами связь,  
родства не долговечна милость?

В кармане я таю в пути  
слонёнка, чьи угодыя — ёлка,  
чтоб, словно невзначай, найти  
в чужбине сирого просёлка.



Несчастной матери укор  
так одинок при жёлтом цвете.  
Враги — родные кровь и кровь,  
словно Монтекки с Капулетти.

Ровесник мой, покуда рос,  
был детприёмников сынишкой.  
Долг или рок? — пустой вопрос,  
её безумьем осенивший.

«Уж лучше посох и сума»,  
чем страшный приворот отравный.  
Отрадней — Потьма, Колыма,  
чем жалкий пост судьбы обратной.

«Родетельница» — говорят  
так вологодские старухи.  
Родить, радеть — единый ряд,  
весь род упасший от разрухи.

Не стану утро утруждать  
раздумьями о сновиденьях.  
И наш умеет век раждать,  
радея о несовпадениях.

Весна свой доживает срок,  
как гибнущий в балете лебедь.  
Бледней желтеет мой цветок,  
желтей черёмуха белеет.

Задумала иль предрекла  
в тот майский полдень — этот полдень?  
Далёкой матери рука,  
как гладят голову, — не помнит.

Слух ослабел, осоловел.  
К утру уставшую, иную  
дробит и множит соловей  
прерывистую песнь ночную.

Вблизи черёмухи моей,  
глухих аллей, пустых беседок,  
мозг поспешает пламенеть —  
так жарко, словно напоследок.

*Май 1999*

## ОТСУТСТВИЕ ЧЕРЁМУХИ

Давно ль? Да нет, в тысячелетье прошлом,  
черёмухе чиня урон и вред,  
скитаясь по оврагам и по рощам,  
я всякий раз прощалась с ней навек.

С больным цветком, как с жизнью, расставалась.  
Жизнь убывала, длился ритуал.  
Страшись своих обмолвок! — раздавалось.  
Смысл наущенья страх не разгадал.

Я стала завсегда́тай отпеваний,  
сообщник, но не сотворитель слёз.  
Вокруг меня смыкался мор повальный,  
меня не тронул, а других унёс.

Те, что живее, надобней, прочнее,  
чем я, меня опередив, ушли.  
Вновь слышу уст неведомых реченье:  
— Остерегись! Ещё не всё, учти.

В студёном, снежном мае прошлогоднем  
был сад простужен, огород продрог,  
зато души неодолимый голод  
сполна вкусил растенья приворот.

Со мною ныне разминулся идол,  
и что ему моей тоски пустяк!

Нюх бедствовал, ум бредил, глаз не видел.  
— Навек! — твердила. Что же, век иссяк.

Век заменим другим. — Прощай навеки! —  
вот ария из оперы немой.  
Случайно ли влиянье властной ветви,  
хотя б одной, май разлучил со мной?

В чужом столетье и тысячелетье  
навряд ли я надолго приживусь.  
Май на исходе. Урожай черешни —  
занятое и окраска детских уст.

Созреет новорожденный ботаник,  
весь век — его, а он уже умён.  
Но о моих черёмуховых тайнах —  
им счёту нет — не станет думать он.

Привыкла я, черёмуху оплавав,  
лелеять, холить и хвалить сирень.  
Был цвет её уму и зрению лаком;  
как мглисто Пана ворожит свирель!

На этот раз лиловые соцветья  
угрюмо-скрытны, явно не к добру.  
Предчувствия и опасенья эти  
я утаю и не предам перу.

*29—30 мая 2000 года*





Страдалицы курорт —  
в хрустальной вазе  
(мне вазу Гусь-Хрустальный подарил).

Спасти сирень я не имею власти,  
и жизнь её — лишь смерти псевдоним.

Лиловый цвет претерпевает убыль.  
Я сумрачна не мене, чем сирень.  
Коль в наш сюжет больной  
вмешался Врубель,  
пусть это будет нас троих секрет.

Сирень не просит моего совета:  
как быть, свершая предпоследний вздох.  
Черны ее опавшие соцветья —  
они манят и устрашают взор,

как существа незнаемого рода,  
ползут куда-то, шелестят, хрустят.  
Их роль в ночном сознании огромна.  
Я знаю, где их место, в чьих холстах.

Я разгадала их предназначенье:  
натурщики, чьи велики долги,  
жуки и черви во разъятом чреве —  
то ль явь моя, то ль вымысел Дали.

Я почитаю и храню их тайну,  
чьей скорлупы я раскусила суть.  
Я их с опаской со стола сметаю:  
противятся и норовят куснуть.

Сирень, скудея, это племя множит,  
уже ему не предок, не родня,  
она ни жить, ни умереть не может,  
и умерла б, да, видно, жаль меня.

Страдание — сокровищ увяданье,  
его предотвращала я везде:  
в Куоккале, в Тарусе, на Валдае —  
вернув земле иль подарив воде.

Пусть станут почвой, уплывут скорее.  
Весной воскреснуть — избранный удел.  
Сирени остов — памятник сирени,  
воздвигнутый в последний мая день.

Всеобщий май стал для сирени — осень,  
июнь её зимою осенит.  
Что подношенье — не цветок, а осыпь, —  
Дали простит, он сам был озорник.

От изваянья веет постареньем  
родившихся — они уже грустят.  
Для силуэта скорби постаментом  
Гусиный не желает быть хрусталь.

Уединенья моего обитель —  
земли превыше, в нём не та вода.  
Ужель сирени сделаю гробницей  
прозорливый, разверстый зев ведра?

А дале — усыпальница помойки,  
затем — ужасное, уже не знаю что.  
У близости небес прошу подмоги —  
в них вкратце громыгнуло и прошло.

Гроза гуляет рядом, за домами  
недальними. Не хочется перу  
писать. Как я свершаю злодеянье,  
предав сирень загробному ведру.

Засохнет в книге мглы лиловой прядка,  
и прихоть строк, что сами родились, —  
не измышление вольное, а правда,  
презренный и унылый реализм.

Скончание сирени — неужели  
намёк на... Грянул осерчавший Зевс.  
Я принимаю предостереженье  
и понимаю: место точки — здесь.

*30—31 мая 2000 года*

## ПУГОВИЦА В КИТАЙСКОЙ ЧАШКЕ

С утра усилием невинным,  
из трудных снов и вялых дрём  
я выпросталась, кофеином  
превозмогая радедорм.

Сообщник мой — большая чашка,  
чей тайный смысл — совсем в другом:  
её узор — хозяин счастья,  
год опекающий дракон.

Имею слабость я к драконам,  
им прозвище моё сродни,  
к тому же с греческим Драконтом  
легко рифмуются они.

Гнушаясь дерзкой оговоркой,  
её не огласит гортань.  
Мой грех простит Святой Георгий.  
Отмстить не преминёт Геракл.

Фарфор, содеянный Пекином, —  
дракона шутка или власть?  
Вдруг — пуговица, пост покинув,  
умышленно оторвалась.

Но как! Зазнавшимися сознанием  
намеченную цель узрев,  
прыжка неистовым зигзагом  
нырнула во драконов зев.

На дно китайского сосуда  
явилась, прянула домой.  
Чтоб никогда я не заснула,  
на ней настоян кофий мой.

На гущу мощную надеясь,  
скажу остывшему теплу:  
я почитаю рукодельниц,  
но рукоделья не терплю.

Больней, сильней, чем полнолуние,  
игла и нить терзают мозг.  
Он пуговицы вольнолюбье  
на место возвратить не смог.

Что говорить о высшем, большем!  
Ниспосланный принизив сан,  
каких окраин и обочин  
он горестным скитальцем стал?

Июня третий день, субботний,  
ушёл на жалкую борьбу  
с вещицей, ставшею свободной.  
Но и перо я зря беру.

Пустует лоб, слабеет локоть,  
до воскресенья — пять минут.  
Успеет ли пера неловкость  
нелёгкость спешки обмануть?

Нет, времени сбылась идея:  
столкнулись лбами тьма и тьма,  
и неудача рукоделья  
равна изделию ума.

Знаменье в том, что ровно полночь —  
час заповедный, роковой.  
Чем искупить и чем восполнить  
мгновенья вещей приговор?

Долг пуговицы — весть разлада  
меж всем. Её побег — намёк  
на резвость моего таланта,  
пустившегося наутёк.

Как быть с утечкой и увёрткой?  
Сусеков скареден резерв.  
Почат июня день четвёртый.  
Ещё темно, уже рассвет.

Грань мглы — уклончива, бесценна.  
Как прежде нравилось словам  
восславить безымянность цвета,  
наречь, пока не воссиял.

Ловец оттенков — измышление,  
его улов — незримый цвет.  
Всё глубже, гуще и сложнее  
зрачок — пространства цепкий центр.

О пуговице быстропятой,  
чей цвет белесо-никаков,  
не помнит день июня пятый  
не потому, что бестолков.

Нет, просто вымыслы иные,  
три раза полночь преступив,  
рифм клянчили, дразнили, ныли:  
дракон кофейный не сонлив.

Тому есть несколько свидетельств,  
ещё вчерне, не наяву.  
На этом пуговицы действий  
я перечень остановлю.

В нём — тени тайн, обмолвок блики,  
вне опасений, вне тревог;  
присмотр юродивой улыбки  
оберегает натюрморт.

На созерцателя прищыкну,  
заветному предамся дню  
и года новенькую цифру  
нулей триадой удлиню.

*3 — в ночь на 6 июня 2000 года*



## РОЗА НА ОКНЕ

Есть роза у меня, что стала иммортелем.  
Столь длительный удел счастлив или жесток?  
«Читатель ждёт уж...» — да, горда и не мертвеет.  
На розу я смотрю в июня день шестой.

В столетии былом, в былом тысячелетье,  
в их тридевятый год и просто год назад  
совпали страсть и грусть, восторг и сожаленье,  
обилье стольких чувств стесняло Летний сад.

Единый пульс сердец, имевший ритм припадка,  
врача бы устрасил, кардиограммой став,  
и полдень так сотряс привет Петра и Павла,  
что — слёзы на глазах и клики на устах.

В объятий западню попал любви избранник,  
столь замкнутый простор пугал и умилял.  
Все знали, что — рождён! Никто не знал, что — ранен,  
и несколько скучал смущённый юбиляр.

Я долго для него изыскивала розу —  
не родственную той, что бодрствует сейчас, —  
отличную от всех по стати и по росту.  
Но сколько же цветов! — чтоб дворник осерчал.

Не внемля новостям, сомнениям и распрям,  
как будто временам он все грехи простил,  
проспект, где я живу, зовётся Ленинградским,  
и я люблю его, текущий в Тверь пунктир.

Ночь моего окна светла не потому ли,  
что затаённый смысл отверстого окна —  
уменье ночевать не здесь, а в Петербурге,  
отлучке беглеца потворствует Москва.

Два города души живут не врозь, не розно,  
рознь между ними есть, но это их секрет.  
Опровергая рок, бодрa живая роза,  
да некому сказать: «...возьми её скорей!»

*6 — 7 июня 2000 года*

\* \* \*

*Посвящается Ингриде Штрумфе*

О Латвия моя, не тот я, кто свою  
отчизну не свою надменно назовёт.  
Есть Высшее, оно не подлежит сомнению:  
Собора строгий шпиль и хлад балтийских вод.

О Латвия моя, покуда не озябнет  
всё то, что — жизнь моя, покуда ночь темна,  
я стану звать в мой сон средневековый замок  
и видеть наяву: тот замок — не тюрьма.

О Латвия моя, меж замком и тюрьмою  
сон пришлецов иных не углядит родства.  
Есть скорбное родство меж мною и тобою,  
покуда жизнь моя травой не проросла.

Вновь Венту вижу я. Вновь имя Лиелупе  
величием реки с любовью назову.  
Родимы мне твои язык и вольнолюбье.  
И Вентспилс не во сне со мною: наяву.

О Латвия моя, в окне уже светает.  
Хлад вод морских глубок, и мысль моя тепла.  
Не оглашаю я всех совпадений таинств.  
Ты — вовсе не моя, но я — всегда твоя.

Я родилась не здесь, но здесь душа свободна,  
здесь ласковый приют крыла души нашли.  
Так помышляла я близ Домского собора  
на древней мостовой, вчера, в сплошной ночи.

О Латвия моя, пребудешь ты сохранна.  
Проведает мой шаг прибрежных дюн пески.  
Но содержанье сна — и вид, и звук органа.  
Пусть не сбылись стихи — за всё меня прости.

15 августа 2001

*Вентспилс*

\* \* \*

О Латвия моя, куда-то переносит  
сюжет судьбы меня, прельщая и маня.  
Воображенья вождь, мой милый паровозик,  
влачи мой слух и взор в иные времена.

Пусть Эдисон простит, и Яблочков, возможно,  
не осерчает: я — не лампу, а свечу  
в бессонницу зову, я — бедственный вельможа.  
Жаль покидать постель, перо и мысль свою.

О Вентспилс, моря брег и каждый камень знают  
всё то, чего узнать не смею, не смогу.  
Я призраком любви вернусь в бессмертный замок,  
потом, когда глаза навеки я сомкну.

Нам сказано, что ум, несклонный к парадоксам,  
не совершенен. Мой не совершенен ум.  
Всей слабостью ума люблю я паровозик,  
мой суффикс мне простит песок прибрежных дюн.

Высокопарный слог — заумен, элегичен.  
Как с Венты берегов отправлюсь я домой  
из домика, где мне роднее электричек  
ведомый паром воз и дюн поверх дымок.

*10—13 августа 2001*  
*Вентспилс*

\* \* \*

*Владимиру Высоцкому*

Город-тартар, наущенье татар,  
здесь распяляет таган для сугрева  
зябким рабам слабоумного гнева —  
хрупкая крепость: опальный Театр.

Возраст свершений, тревог и морок.  
Как мы беспечны. Как время сурово.  
Нас упасло от всемирного рока  
вольное скривище антимиров.

Здравствуй, Театр, принимающий весть  
сердца со вспышкой кровесосудной.  
С доблестной мукою, схожей со скукой,  
всех нас простил и покинул певец.

Наша юдоль: небородность тiар,  
лоб светозарный и шея воловья.  
Не разминитесь, Театр и Володя.  
Вновь обнимитесь, стихи и Театр.

*25 января 1999*

## ПОМЫСЕЛ О ПРУСТЕ

Прощай, прощай! Со лба сотру...  
Прощай, всё минет: дом и сад  
В саду у дома и в дому  
Смотрели, как в огонь костра

Меж наших двух сердец туман...  
То сад, то Сван являлись мне,  
цилиндр с подкладкою зелёной,  
младенческий цветник Комбре,  
фиакр, в цветок греха влюблённый.

Всё, что вотще, вовне росло,  
казалось бредом, сна ошибкой.  
Дремотно теплилось родство  
лишь с книгой и свечой оплывшей.

Столь прихоть чтения сбылась,  
что к зренью ластилась чужбина,  
в нём цвёл приветливый соблазн  
взамен обрыва и отшиба.

Забыться, в книге обитать,  
не ведать вздора и раздора.  
Но лют припёк судьбы — боязнь  
острастки словаря родного.

Резвей перо, чем скудость уст.  
Свеча иссякла. Напоследок  
я усмехнусь: барон Шарлюс —  
моих молчаний собеседник.

И боле никого вблизи.  
Взрослеющего дня деянье,  
помедли, смеркнись, не блести  
в угодых мглы, что ярче яви.

Крепчает пред-рассвета час.  
В проём подслеповатой шторы  
я вижу, как озябших чад  
влекут в унылость сонной школы.

Есть миг, когда хладее пот:  
цвет безымянен, кисть свободна —  
и воздух обретает плоть  
громоздко-стройного собора.

Как на ночь замкнутый рояль  
хранит созвучья скрытых таинств,  
двор мглист, как в сумраке Руан.  
Ещё темно. Уже светает.

Сообщник тени на стене,  
чужак в столетья светлом устье,  
я брезжу в пристальном стекле  
бледней, чем помысел о Прусте.



## ТРАУРНАЯ ГОНДОЛА

*Иосифу Бронскому*

Музыка выше словесности, но с незнакомой  
местностью дай разминуться, Венеции Лев золотой.  
Марка Святого прошу: да простит меня свет законный  
за — моё всё. За — запёкшийся лоб, за — ладонь.

Лбом опершись о ладонь, лбом сквозь ладонь,  
вижу траур гондолы.  
Март претерпев и апреля привет одолев,  
как я недвижно сижу настороже, наготове.  
Ночь наплывает на лоб и чернеет её гондольер.

Зимний апрель превращается в яркую осень.  
Что же там дальше за гранью последней весны?  
Может быть, так и спокойней, и легче, Иосиф:  
Остров Успенья и вечные воды вблизи.

Остров, о коем я думаю, — неподалёку,  
местность — знакома, отверсты объяття соседств.  
Как отказаться от шуток, забыть подоплёку?  
И — наотрез рассвело то ль во лбу, то ль окрест.

Тайна зари: пожелала незримо зардеться  
выше, чем вижу. Гребцы притомились грести.  
Благостный остров не знает ни войн, ни злодейства.  
Ночь извела понапрасну. Иосиф, прости.

## **ВИШНЁВЫЙ САД**

Не описать ли... не могу писать...  
Весь белый свет — спектр, сумма розней, распрей.  
В окне моём расцвёл вишнёвый сад —  
белейший семицветный день февральский.  
Сад — самоцветный самовластный день.  
Сомкнувши веки, что в окне я вижу?  
Сад — снегопад — слышней, чем вздор людей.  
Тот Сад Вишнёвый — не лелеет вишню —  
не потому, что саду лесоруб  
сулит расцвет пустыни диковатый.  
Был изначально обречён союз:  
мысль и соцветья зримых декораций.  
Так думал Бунин — прочитает всяк,  
кто пожелает. Я в сей час читаю.  
Чем зрителю видней Вишнёвый сад,  
тем строже Сад оберегает тайну.  
Что я в ночи читаю и о Ком —  
мне всё равно: поймут ли, не поймут ли.  
Тайник — разверст и затворён. Доколь  
скорбеть о тайне в скрытном перламутре?  
Вишнёвый сад глядит в моё окно.  
Огонь мыса опаляет подоконник.  
Незванный, входит в дверь... не знаю: кто.  
Кто б ни был он, я — жертва, он — охотник.

Вишнёвый сад в уме — о таком  
не слыхивал тот, кто ошибся дверью.  
Как съединились сад и Таганрог, —  
понятно лишь заснеженному древу  
в окне моём. Тот, думаю о Ком, —  
при бытия мучительном ущербе,  
нам тайн своих не объяснил. Но он  
врачу диагноз объяснил: «ich sterbe».  
«Жизнь кончена», — услышал доктор Даль.  
Величие — и в смерти деликатно.  
Вошедший в дверь, протягивая длань,  
проговорил: — Насилу доискался.  
Жизнь кончена? Уже? — Он в письма  
свой вперил взгляд, возгоревав не слишком.  
— К несчастью, это — не мои слова.  
Склонившийся, их дважды Даль услышал.

*Февраль 2006 года*

## **СПАС ПОЛУНОЩНЫЙ**

«Претерпевая медленную юность,  
впадаю я то в дерзость, то в утрюмость,  
пишу стихи, мне говорят: порви!  
А вы так просто говорите слово,  
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна», —  
так написал мне мальчик из Перми.

В чужих потёмках выключатель шаря,  
хозяевам вслепую спать мешая,  
о воздух спотыкаясь, как о пень,  
стыдясь своей громоздкой неудачи,  
над каждой книгой обмирая в плаче,  
я вспомнила про мальчика и Пермь.

И впрямь — в Перми живет ребёнок странный,  
владеющий высокой и пространной,  
невнятной речью, и, когда горит  
огонь созвездий, принятых над Пермью,  
озябшим горлом, не способным к пению,  
ребёнок этот слово говорит.

Он говорит, что устрашает сердце  
Елабуги недалнее соседство,  
что канет в Каму резвый бег ладьи,

что бродит он по улицам с опаской  
и в сумрачный тридцатый день сентябрьский  
не чтит Надежды, Веры и Любви.

Во времени обратном Возрождению,  
какой ответ для мальчика содею?  
Я просто напишу ему: — Прости!  
Я — не наставник юных дарований.  
Туда, где реет ангел деревянный,  
пойди — его, а не меня спроси.

Там — выпукла прозрачной тайны сущность,  
дозволившая непрестанно слушать:  
уж Пётр отрёкся и петух пропел.  
И кажется: молитвами своими  
Скорбевший в полночь в Иерусалиме  
с особой лаской помышлял про Пермь.

Всех страстотерпцев многогорькой Камы,  
объемля их простёртыми руками,  
в превыспренных угодьях Он упас.  
Коль Он часовню ветхую покинул, —  
то лишь затем, чтоб отвести погибель  
от чад земных, что будут после нас.

*Пермь, май 2007*

## **ОЗЯБШИЙ ГИАЦИНТ**

Цветок засохший, безуханный,  
Забывтый в книге...

*А. Пушкин*

Борис мне подарил озябший гиацинт  
и повелел согреть. Но и сама я зябну,  
охрипла. Пусть другой пребудет голосист,  
не подлежащий холода предзнанью.  
Ни в ум, ни в дом мой нет вхожих ходоков  
иль может быть: нет ни ума, ни дома.  
Мой лоб уже целует холодок:  
да, вечность — я, всё сущее — не долго.

2007

## ВОЗЛЕ ЁЛКИ

### 31 ДЕКАБРЯ: К ЁЛКЕ

Прииди, Божество! Не жди излишних  
низкопоклонных непреклонных просьб.  
Давно, твой верноподданный язычник,  
недремлющий держу на страже пост.

На дверь кошусь: когда вторженье хвои  
нагрянет в дом нашествием лесным?  
Удел гортани, одинокой в хоре, —  
не праздновать веселье вместе с ним.

Зачем отдал тебя родитель-ельник,  
каков, прощальный, был его наказ?  
Тебя в ловушку заманил Сочельник,  
но ельник знал, что отпустил — на казнь.

Страх пред концом не возмужал с веками.  
Зелёная недолговечна масть.  
Напялят драгоценностей сверканье —  
и поспешат снимать и отнимать.

Лелеет ель детей живая совесть,  
чужбин бенгальских брызгает огонь.  
К ней никнут — любоваться, славословить.  
Она грустит — не скажет нам, о ком.

То ли привета отчет почвы ищет,  
то ль помнит, как терзали топором.  
Весть: не родить ей нежно-млечных шишек —  
с Рождественским совпала тропарём.

Благоухает хвойный хмель! Покуда  
дурманит нюх дремотный приворот,  
заснуть бы, час проспять, когда побудка  
свиданье с ней, вдруг навсегда, прервёт.

Ещё блистают серьги, кольца, брошки,  
дарованные праведным грехам.  
С наложницы разлюбленной, о Боже,  
ужель сдерёт их нечестивец-хан?

У торжества достаточно резонов  
поминками вина затмить вину.  
Не я ль сама, как атаман-разбойник,  
швырну её в кипящую волну?

Язычник, эй, страшись беды громоздкой!  
Что толку утешать: забудь, покинь.  
В ночь Рождества, — сказал отец Георгий, —  
взмыл греков вопль: — Великий Пан погиб!

Оспорить ли свидетельство Плутарха?  
Сиринги с Паном не разъят союз.  
Сиренев мрак свирельного подарка,  
туманен ум — на Врубеля сошлюсь.

Прииди, — говорю, хоть знаю: лучше  
ей в нелюдимом обитать бору.  
Нужны ли ей игрушки, безделушки  
и обещанье, что не отберу?



Уж минет Новогодье, и Крещение  
водой остудит предсказаний воск.  
Ночей моих прозрачные качели  
достигнут марта — с деревом не врозь.

Сокрыт в сусек последним днём декабрьским,  
вдруг до апреля устоит наш снег —  
непрочных сил живучесть мы докажем.  
Докажем ли? Всего скорее — нет.

Мглу сумерек и впрямь содеял Врубель.  
Ещё не зная, облачат во что,  
в красе невинных кружев или рубищ  
в дверь обречённо божество вошло...

## НОЧЬ ВОЗЛЕ ЁЛКИ

Тетрадь затворена — прочь из неё скорей,  
в ней замкнут год былой, ночей лампадных схи́ма.  
Вглядеться в глубь её — как встретить свой скелет  
в запретной полумгле рентгеновского снимка.

Забуть всё это! Год новёхонький почат.  
В день января второй — вдруг снегом сыпануло.  
Я, Ёлке посвящать привыкшая печаль,  
впадаю... — как точней? — в блаженность слабоумья.

Пусть грешник слаб умом, зато не так он плох,  
не вовсе отлучён прощением церковным.  
Врасплох его застал фольги переполох  
и ватный Дед Мороз им втайне поцелован.

Игрушек прежних лет рассеянный набор  
ему преподнесли. Жалки его причуды:  
как, бедный, ликовал! Он был смешон, но добр —  
иных и высших благ желаю ли, прошу ли?

Он сам был поражён: как чист его восторг,  
как свежая душа от детства не остыла.  
Но вчуже понимал трепещущий висок:  
почётно это снести, признаться в этом стыдно.

И тот, кто мной любим, украдкою грустит,  
чураясь чуждой всем неопытности новшеств.  
Стих сам себя творит, он отвергает стыд,  
он — абсолют от всех отдельных одиночеств.

Он наиболее прав, когда с ним сладу нет,  
когда заглотит явь и с небылью сомножит, —  
невзрачный нелюдим и вождь подводных недр,  
где щупальцев его ухватка осьминожит.

Вот и сейчас — чего добытчик и ловец,  
он осызает тьму и смутный глаз тарасит?  
Лишь в том его улов, что мне, как неба весть,  
игрушек детский сброд явил картонный ящик.

Всё выгодно ему. Что говорить про Ель?  
О ней всех мышц его задумались пружины.  
Он копит свой прыжок, узрев во всём, что есть,  
свою причину — быть, без видимой причины.

Все ухищренья, все увёртки — на кону.  
Стих — хищный взор вперил в глушь хвои, блёстки, блики.  
Он упоён собой, не нужный никому —  
не только Лужникам, но и насыщенной близи.

Живёт один, вовне, со мною не вдвоём.  
В соседях — кутерьма и стрельбы вин шипучих.  
Здесь — вымыслов театр сам для себя даёт  
свой призрачный балет, по-моему: «Щелкунчик».

Всех кукольных особ — во времени цела,  
облекшая их страх, страсть к выпренным нарядам.  
Короны убоясь Мышиного царя,  
тайком кошусь на щель, скребущуюся рядом.

Прозрачную рукой сторожко ранен альт,  
незримость чутких лож пронизана слезами,  
и мягко-островерх прелестный задник Альп.  
Ужель Бежар на бал явился из Лозанны?

Вот у кого один погонщик — парадокс.  
(Что я Бежару, но лицо прочёл он.)  
Трико, лохмотья, угол, перекос,  
но разум тела педантично чётко.

Скажу, дабы бахвальства избежать,  
с печальным, но патриотичным смехом:  
коль тайнопись лица прочёл Бежар,  
то — как турист пейзаж читает, мельком.

Вмешался он! Где ритм, где панталык,  
обобранные двух слогов потерей.  
Мне их не жаль для рифм и пантомим,  
и впредь не стану воздыхать про третий.

Предслышу неминуемый укор:  
— Что вы ещё изъяли из картона?  
Но впрямь я вижу снег Альпийских гор,  
внизу — царит округлая корова.

Вдали — отрада озера блестит.  
Но вы-то кто и для чего пристали?  
Мне к Рождеству, чтобы поздравить с ним,  
открытку из Швейцарии прислали.

Подсудны — пестроумье головы,  
слов столкновенья, образов обрывки.  
Но скушно жить всё время там, где вы.  
В даль — не хочу, хочу гостить в открытке.

Взаправду есть игрушки, Ёлка, мышь.  
Щелкунчик вскоре будет, кстати — вот он.  
Одна шалит и хороводит мысль,  
сообщниками населяя воздух.

Всю ночь танцую, тешится спектакль,  
пока лампада попирает распри.  
Его поставил автор иль списал  
с природы — вам не безразлично разве?

Пир празднества течёт по всем усам.  
Год обещает завершить столетье.  
Строк зритель главный — загодя устал.  
Как быть? Я упраздняю представление.

Но и в кулисах — жарко и светло.  
Благословляю дни мои, в которых  
дано так много и, поверх всего, —  
Ель и дары сокровищниц картонных...

## **ОН И Я**

Пишу себе — и горя мало,  
одно лишь: прочь уходит ель.  
Печальный образ «графомана»  
мне всё роднее и милей.

Герой насмешек и гонений,  
и просто — доблестный герой,  
священно, точно так, как гений,  
он бодрствует ночной порой.

Владеют им восторг и ужас,  
он обожжён звездой небес,  
подвижник он, чью злую участь  
не искусил тщеславья бес.

Он — лишь добычи слов искатель,  
но при условии одном:  
им не терзаемы издатель  
иль чей-то знаменитый дом.

Не грезит он о доле лучшей —  
натружен горб опекой лун.  
Но это — идеальный случай:  
он чист, как роща или луг.

Я видывала эту бледность:  
двуогненную темь во лбу,  
свирепой проголоди бедность  
и рыцарскую худобу.

Прозрачный, словно струйка дыма,  
присущая его устам,  
он — схимник, неисповедимо  
брезгливый к суетам услад.

Как бы античная колонна,  
он гордо-прямо и одинок.  
Я бы ему низкопоклонно  
служила славословьем строк,

но выдоха сбылась обмолвка:  
я признаюсь душе своей,  
что стала я писать так много,  
так много извела свечей...

Лампадкой кроткой и святою  
прощаем грех и не судим,  
но сострадательной свечою  
раздумий поглощаем дым.

Нет передышки на привале,  
стул изнемог, как старый конь.  
Остановиться не пора ли,  
желанный не осилив склон?

Тому, о ком я помышляю,  
в каком бы он ни жил селе  
иль городке, — я помешаю  
навряд ли вестью о себе.

Хвала его ночам суровым!  
Да будет новогодний снег  
вседобр к его глухим сугробам  
и посулит успех утех.

Разомкнуты — моё сиротство  
и хвойных празднеств толчея.  
Я б с ним моё воспела сходство,  
да он — безгрешнее, чем я.



## НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

*Геннадью Комарову*

Как ни живи — вестей, с небес сошедших,  
день важно полон, занятый собой.  
В краю, чужом иным краям, — Сочельник  
благовестил Елоховский собор.

Как будто мира прочего не зная,  
ждёт Коляды отдельный календарь.  
Целует слух Елохова названье.  
Кутью готовит постник-кулинар.

Капризницу он потчует шарлоткой,  
глад праведника — лакомством воды.  
Но все равны пред тайною широкой  
в ожоге ожидаемой звезды.

Мы — попрошайки, с нас и взятки гладки,  
да будут святки воздаяньем нам:  
колядовать — изнанкой вверх, загадки  
загадывать грядущим временам.

В честь торжества и слякоть нам во сладость,  
хоть предвещает строгую весну.  
Младенца осиянного восславить —  
трикирий возожгу, перо возьму.

Но меня гололёд  
с прямопутку совлёк.  
Таково проросла —  
посейчас молода.

Наперёд Рождества  
к нам пришла Коляда.  
Сладких святок благодать —  
целовать и баловать.  
Ты меня не виновать,  
одари, овиноградь.  
То ль в морозе, то ли в зное  
сколько снегу намело,  
виноградье наливное,  
красно-зелено моё.

Как мной любимо это виноградье!  
Ему соплещет море-окиян.  
То ль мнится, то ль, в покое и в отраде,  
мне ангел тайну ночи открывал.

Пустынников всегда говеет голод.  
Какой гуляка их смущён постом?  
Чур, чур меня! Дозволил чёрту Гоголь  
попрыгивать и помовать хвостом.

Лампаде разум угодить старался —  
смятенье дум его не обошло.  
Виденье наивысшего страдальца  
явилось, привмешалось, обожгло.

Никто, как Гоголь, не томит, не мучит.  
Разгадка там, не знаю: где — потом.  
Сокровище младенческих имуществ —  
с родимой «ятью» долгожитель-том.

Среди детей, терпеть беду умевших,  
когда войны простёрлись времена,  
в повалке и бреду бомбоубежищ  
бубнила «Вия» бабушка моя.

Вий, вой, война. Но таинство — моё лишь.  
Я чтила муку не подъятых век  
и маленький жалела самолётник,  
пылающий, свой покидавший верх.

В без-ёлочной тоске эвакуаций  
изгнанник сирий детства своего  
просил о прежнем, «Вия» возалкавший  
и отвергавший «Ночь под Рождество».

Та, у которой мы гноили угол,  
старуха, пребывая молодой,  
всю ночь молилась. Я ловила ухом  
её молитв скорбящую юдоль.

Под пристальным проклятьем атеизма  
ребёнка лишний прорастал побег.  
Он в собственных наитьях затаился,  
питающих невежества пробел.

Доверясь лишь возлюбленному дереву,  
чтобы никто не видел, не ругал,  
карандашом нарисовал он Деву  
с Младенцем небывалым на руках.

Так жил он с тайной, скрытою подушкой,  
уж время — заточают в комсомол,  
чей предводитель, смолоду потухший,  
как Пан, был пьяноват и козлоног.

Но глаз прельщала невидаль кретина,  
который в детстве Буниным любим.  
Я шла домой. Меня ждала картинка —  
тайник под изголовием моим.

Средь хвойных грёз, вполне ино-кромешных,  
ель возглавлял, как ей закон велел,  
взамен звезды — кощунства наконечник,  
чтоб род людской забыл про Вифлеем.

Как выжить обречённому дитяти,  
спасительный как совершить рывок,  
когда ознобно дед-морозны дяди,  
влекущие в загробье хоровод?

Лишь так, пожалуй: заглушает гогот  
хранитель сердца, ветхий книжный шкаф.  
Коль с Пушкиным — в родных соседях Гоголь,  
всё минет, обойдётся как-никак.

Но боль свежа, жалея страстотерпца:  
безумья итальянского не снесть,  
в камине дотлевают угли текста,  
как родина — его туманна смерть.

Уж как бы вдосталь — надобно излишних,  
чрезмерных мук, таких никто не знал.  
Зачем Белинский, честно взбеленившись,  
его посланьем пагубы терзал?

И честность прочих — вздоры слов никчемных,  
возмыли — и забыл их небосвод.  
Всех подсознаний, стынувших в кочевьях, —  
заглавный он, неоспоримый вождь.

Все без него — лишь сироты приюта,  
где кормит яд живот и ум детей.  
Но свянут флаги, гимны отпоются  
насильных измышлений и страстей.

Разгула ночь. Но темнота откуда? —  
ель пошатнут, посуду перебьют.  
Чёрт месяц взял! Зато кузнец Вакула  
летит по черевички в Петербург.

День празднества, ожги морозом-солнцем.  
Где сотворивший лютый мой букварь?  
Как чист опалы снег, куда он сослан:  
в утайку сквера, но на свой бульвар.

Елоховского храма позолота,  
к печали Нила Сорского, — пышна.  
Тот, помысел о ком, — мне отзовётся.  
Гляжу — а ночь под Рождество прошла.

Святкам рад снегопад —  
синеват, сыроват.  
Чёрт крутил и вертел —  
наперёд Рождества  
нам звезду и вертеп  
Коляда принесла.  
Ты в мой сад-вертоград  
приходи, вертопрах.  
Выпросить — не воровать,  
сыпь в ладони, виноград.  
Ты ко мне — колядовать,  
я к тебе — околдовать.

Я другой не знаю доли,  
всё мне мило, всё мало,  
виноградье молодое,  
красно-зелено моё.

## СВЯТОЧНЫЕ КОЛЯДКИ

### I

Вот вернулась, а была такой нарядною,  
выступала: любо-дорого смотреть,  
поводила головою своенравною,  
не повадилась я заживо стареть.

Это что ещё за присказки, за выдумки?  
Простудил твой башмачок глубок сугроб.  
Ты — не красна девица на выданье,  
на тебя взирающий супруг суров.

Грустно сердцу по-над ёлочными свалками  
Божьих ангелов провидеть благодать.  
Моя ёлочка милуется со святками,  
Коляда зовёт народ колядовать.

Небеса моё приемлют покаяние.  
Сколько снегу новогодье намело!  
Я вспомню и восславлю окиян-море,  
виноградье красно-зелено моё.

В честь колядок, как от пагубного зельица,  
захмелел дружок-стишок, да не солгал.  
Не пришелица я и не чужеземица  
во родимых, моих собственных, снегах.

Много снега, мало свету, с неба павшего:  
чёрт играет, нет ни звёздочек, ни лун.  
Говорила Маня из деревни Паршино:  
упасёт от плача НЕ ПЛАЧЕВНЫЙ лук.

Также сказывала, что не любят АНДЕЛЫ  
ни вертепа, ни звезды, ни коляды.  
Коль нечистого следы в подворке найдены,  
под крылечками кладутся колуны.

Перед АНДЕЛАМИ стыдно воспарившими  
мне крыльцо таким гостинцем оснащать.  
Маша, АНДЕЛ мой не станет топорищами  
гостевой порог прохожего стращать.

Но не видно ни наряженных, ни ряженных.  
Со свечой, с пером, с лампадкой — вчетвером  
опасаемся затмения ёлок радужных.  
Что-то предречёт крещенский вечерок?

Всё томят меня предзнания, предчувствия.  
Ум замёрз, как водотеча-акведук.  
Может, АНДЕЛЫ, чьи милости причудливы,  
мне назначенные беды отведут...

## II

Отсияли два новогодия,  
стали досталью причин для кручин.  
Март уж копит день многоводия  
Алексея, что разбил свой кувшин.



Алексѣя звать с «ятью» надо бы,  
по старинке Новый год повстречав.  
То ль колдобины, то ли надолбы  
нагадал мне воск, да при трёх свечах.

Ляксе́й-с гор-вода, водяными ли  
застращаешь ты меня, свят-свят-свят?  
Мне сказали бы во Владимире:  
хватит врать и алёшки распускать.

Вот весна придёт всемогущая,  
под Рождественской мне не жить звездой.  
Бледноликая, знай, Снегурочка:  
станешь ростопель, истечёшь водой.

Не к добру взойдёт заря алая,  
будет вечен твой неживой досуг.  
То ль дитя поёт, то ли ария  
позабытая мой тревожит слух.

Дни весны чужой, будет ваша власть,  
о вас зеркальце в сердцах разобью.  
«Туча со громом сговаривалась:  
ты греми, гром, а я дождь разолью».

Возомнилось мне, слышу якобы:  
претерпи, живи, и, куда б ни шло,  
«выйдут девицы в лес по ягоды...» —  
пусть идут себе, ну, а мне-то что?

Не полита ель водолеями,  
постарел пострел, чей тулуп истлел.  
Лель возлюбленный, возлелеянный,  
слёзы лей, мой Лель, лель-лель-лели-лель.

Так припевками, прибаутками  
Коляде служить, ворожить не лень.  
Знать, к беде идти прямопутками,  
ель и хмель прошли, вот и лёли-лель.

Ещё зелено Божье дерево,  
возлегла печаль на моё чело.  
Вдруг про Веничку Ерофеева  
я подумала, не пойму — с чего.

Поминать вином его надо ли,  
пока празднества правит пир людьми?  
Нешто, может быть, наши ангелы,  
что взаправду вы свысока люты?

Тяжела, темна моя ноченька.  
Сжальтесь, ангелы, всех потерь поверх.  
Непрогляд и хлад одиночества  
утаю от всех, лишь свече повем.

### III

Я звезду-Коляду зазову, приманю:  
Молода Коляда, не ходи никуда.  
Для моих для потех всех-превсех помяну:  
уж пол-хлеба проела Аксинья-кума.

Коль так дале пойдёт, то Антип-половод  
ждёт-пождёт, чтоб допреж Алексей побывал,  
его Тёплым зовут, он — к весне поворот,  
а Емелю не чтут, говорят, что — болван.

Есть Алёшка-бахвал, да Иван-простачок,  
да разумник Наум, да Кузьма-первоплут.  
Мне — судьбы и любви подошёл пересчёт,  
водит, сводит с пути парашет-перепут.

Новогодний сей день есть Василиев день,  
что ж, Василий, мой друг, и тебе недосуг  
прихорашивать ель хвойно-хворых недель,  
ходит ели вокруг хороводик докук.

Коль примета верна новогоднего дня,  
плохо дело моё, будет год этот лих.  
При лампаде печально глядит на меня  
вопрошающий и Всепрощающий Лик.

Строит святок алюсник проказы гримас.  
Выбрал ряженный скромный убор стукача.  
Затевала колядки, а вышел романс:  
утемнилась душа, догорела свеча.

## **ОКАЁМ И ЛУНА**

Как изгнанная ёлка — одинока,  
претерпеваю вьюги нагоняй.  
Сколь прозвище красиво окаёма,  
а он — всего лишь плут и негодяй.

Не странно ли? Околиц и окраин,  
округи и окрестности покой  
в названье есть, как будто окликаем  
их около деревни над Окой.

Ему родней — околыш, околоток.  
Вспомню, окаяню вопреки,  
окно во снег и журавель-колодец  
в Ладыжине, в деревне близ Оки.

Бывало, по заснеженной пустыне  
брела туда тулупчика жара.  
Когда-то там Цветаевы гостили,  
и барыня «Маркиза» там жила.

Моей исповедальною зимою  
стремглав одолевала я овраг  
Ладыжинский, давно воспетый мною —  
подобострастно, а не кое-как.

Светлы мои счастливые денёчки.  
Не помню: глуповата иль умна,  
я сиживала за столом до ночи  
и при луне — до позднего утра.

Мне доставало скромного веселья:  
не ждать гостей, не ведать новостей,  
хоть надо мной проклятие висело  
угрюмых и бессмысленных властей.

Что мне до них! От октября до мая  
в Ладъжино мой силуэт сновал.  
Картину: «А жива ли тётя Маня?» —  
художник про меня нарисовал.

Уж много лет пуста её избушка.  
Вокруг — домов оказистая жуть.  
Я буквами призналась иль изустно,  
кем тётё Мане близко прихожусь.

Она, в девчонках, зналась с той «Маркизой» —  
её отец конюшной заправлял.  
Дразнили тётю Маню «юмористкой»:  
её словцо — не вкось, а наповал.

Не водится коней у коновязи.  
Жила одна и сиро померла.  
Старухи — упомянутые власти  
коснулись тяжелее, чем меня.

Про что и говорила мне с доверьем,  
а при чужих — рот на замок, молчок.  
Всё радовалась маленьким дареньям,  
как долготрудной жизни новичок.

Не родствен «ОКАЁМУ» «ОКАЁМОК».  
Обводом темноты окаймлена,  
брожу по перелеску хвойных комнат.  
Ужель меня не узнаёт луна?

Она — мой вождь и вещей понукатель,  
глаз созерцатель, помыслов знаток.  
Быть может, только доблестный лунатик,  
как я, в её припёке изнемог.

Я все её поступки и повадки  
выслеживала, словно детектив,  
то слабый месяц выловив по капле,  
то полный круг в объятья захватив.

При ней я не бывала говорлива,  
вставала в девять, если в шесть легла.  
Бессчётных измышлений героиня —  
с луной вовек не схожая луна.

Темно и пусто в бездне заоконной.  
Отдай луну, небесный эконом!  
Знать, чёрт её присвоил окаёмный.  
Чур, чур меня, незванный окаём.

\* \* \*

Привёз паломник Иерусалима  
мне освящённых тридцать три свечи.  
За ночью ночь они февраль сочли,  
я растопила стройность стеарина.

Казалось мне, что помыслы свои,  
а не мои, свеча в ночи творила,  
так двадцать пять огней на нет сошли:  
три полночи свеча не озарила,  
и у меня осталось шесть свечей —  
для вдумчивых до-утренних ночей.

Расчёт мой прост: я стала бережлива,  
да и лампадка предо мной горит.  
Но мысль о марте разум бередила —  
свечу зажгла я для приманки рифм.

Отверстая, добычи ждёт ловушка.  
Свеча жила, как подобает, час.  
Мой лоб пустынен и ленив. Неужто  
слова о том, что знают, умолчат?

Я понукаю пульсы кофеином.  
Вотще хлопочут бурные виски —  
им не угодно вздором говорливым  
оплакивать заупокой свечи.

Я думаю: моей строкой недавней  
был не к добру помянут «окаём»,  
и спать иду с неразглашённой тайной,  
задув лампадки чистый огонёк.



\* \* \*

Я ровно в полночь зажигаю свечи  
и долго жду. Уж первый час истёк.  
Смеётся та, с кем ожидаю встречи:  
— Я не желаю прыгнуть в твой силлок.

Есть дом напротив. В нём не спится лампе  
и чей-то профиль на луну глядит.  
Заботиться о молодом таланте  
прочь от меня насмешница летит.

Прощай, моя сообщница ночная.  
Играй с другим задумчивым столом.  
Кофейник пуст. Я наливаю чая.  
Чай хладен ко всему, что — не Цейлон.

Окна напротив скаредный соперник,  
я думаю, что влюблено оно  
и видит сад: террасы на ступенях  
зонт кружевной был позабыт давно.

Та, что под ним гуляла по аллее,  
ушла к гостям — лукавить и сиять.  
Всех остальных учтивей и смелее,  
ей гиацинт поднёс негоциант.

Накрыли стол под липами. Со звоном  
бокалы славят праздник именин.  
Той, опалённой неотрывным взором,  
угодно подношенью изменить.

Она фиалки к поясу приколет.  
Рыжей заката чёлка надо лбом.  
Так, час за часом, ночь моя проходит.  
Поэт в окне совсем не в ту влюблён.

Докукой крепостного ритуала  
я тягочусь. И, что ни говори,  
нет никого прекрасней Ренуара,  
нет никого прелестней Самари.

Ей-ей, сбегу от барыни-привычки  
и от оброка: белый лист марать.  
Не лучше ль быть художником в Париже,  
сидеть в кафе, вздыматься на Монмартр.

Меж тем, вернулась та, что улетала.  
Брезгливым «фу!» подула на свечу.  
Пролепетала: «Мне известна тайна:  
он — гений. В полночь снова полечу».

Любим двукратно сочинитель юный:  
моею Музой и своей весной.  
За мартовской присматриваю вьюгой.  
А час какой? Ужель — в конце восьмой?

Сквозь снегопада бледную чашобу,  
в засиневевшем заданном часу,  
родители ведут дитятей в школу.  
Я издали их шествие пасу.

Мать опоздать боится на работу,  
она торопит сына и ворчит.  
Но так идти не хочется ребёнку,  
что еле-еле ноги он влачит.

Но вот — отдельно, мрачно, величаво  
ступает мальчик, избранно один.  
Сопровождать возлюбленное чадо  
не смеет боязливый поводырь.

Портфеля груз его склоняет вправо.  
Мал и суров детёныш-великан.  
Усиьем мышц он держит спину прямо.  
Его робеют в игры вовлекать.

Мой взгляд остроконечен и не ясен,  
но выбор сделан. Так с пустых небес  
свой перпендикуляр свершает ястреб,  
внизу завидев обречённый блеск.

Зрочка прицелом, устремлённым сверху,  
отъят, присвоен иль подарен мне,  
он боле не подвластен педсовету  
и лишь условно возвращён семье.

Простительна ль грабительская доблесть  
того, кто хищно обирает мир,  
тайник вскрывает, изымает образ,  
вполне владея только тем, что мнит?

В моих глазах, всё утемняясь, зрела  
такая сила властной доброты,  
что не сумела знать растрата зренья,  
как школьники до дома добрели.

Помечен вспышкой, упасён опекой,  
кефир отвергший и ушедший спать,  
да будет счастлив мальчик, мной воспетый.  
Мне лишь на миг с ним довелось совпасть.

Опять я в полночь свечи возжигаю.  
Опять напротив бодрствует окно.  
Сегодня я луны не ожидаю:  
её тяжёлой мглой заволкло.

Коль навестит меня моя летунья  
для милости небрежной и скупой,  
я ей скажу, что, без причин ликуя,  
весь день я провела в кафе «Куполь».

*14—15 марта 1999 года*

## ПРЕГРЕШЕНИЯ ВОЛЬНЫЯ И НЕВОЛЬНЫЯ

Уж сколько раз воспет мной час четвёртый  
после полуночи, но почему  
потылицы проворною увёрткой  
от сна — пером я белый лист черню?

Я — скареда словарных одиночеств.  
Затылку не прикажешь: оглянись, —  
и сам он зряч. Лоб — изыскатель новшеств,  
в потылице — хранится архаизм.

Я справочника не внемлю соблазнам:  
от простодушной старины устав,  
всё, что в родстве с добром или со благом,  
он устранил отставкою: «устар.».

Душа спешит озябшею бегуньей  
отринуть вздоры, вырваться из них,  
в юродивой догадке слабоумной:  
какой чужбины ей дерзит язык?

Гнушаясь долгой святочной неделей,  
родную речь попрал и поборол  
лихой злоуст, кичащийся надменной  
и чужеродной кличкой «патриот».

Я не чурюсь вольнодумных правил —  
слов иноземных в гости звать пассаж:  
чужак родимый, нелюдимый «паркер»  
решает сам, о чём ему писать.

Всё моет мама Маню мылом... эра —  
неряха возрастила и меня.  
Как мне грузин собратна «Дэда-эна»:  
«иа наргизи» и — «иа иа».

«Ай наргизи, ай иа» — вот как  
ных детских зрений учится читать.  
Уж пятый час вершит усердный отдых,  
резвится, не желает почивать.

Ель осыпает ржавые иголки —  
в чужом углу, не в отчих во снегах.  
Передо мной две маленьких иконки  
Казанской Божьей Матери стоят.

Чужда я притязаний и повадок —  
коснуться высших таинств напрямик.  
Два образка — на Рождество подарок,  
вот я и пригорюнилась при них.

Свеча горит, и теплится лампада.  
Смысл созерцанья от меня же скрыт.  
Ночь-сочинитель не сама ль слагала  
невнятный стих: то тихий всхлип, то скрип.

Захожий — не прилежный прихожанин,  
твержу слова Рождественских молитв,  
с языческим склоняясь обожаньем  
пред ёлкой, пред идолом моим.

Дьячка потылкою смладу не учёной,  
и любо мне, и боязно смотреть,  
как светлолик Младенец, обречённый  
воскреснуть — да, но прежде — умереть.

«Помилуй, Неневестная Невесто  
мя, отврати измыслия кощунств,  
избави от хвалы и от навета» —  
искательно, просительно крещусь.

Стихи — вознагражденье или плата  
за все грехи? Суровая кипа  
меня чуждалась: пред стеною Плача  
молилась я легко, как никогда.

Записку посылая в небывалость  
больших небес, о чём пеклась, о ком?  
Да всё о Той, чьей речью упиваюсь,  
чей обо мне вздохнёт заупокой.

Начав во здравье ночи последенной,  
опять стемнился помыслов недуг.  
Х р а м м н о г о л ю д н ы й, д у б у е д и н е н н ы й —  
тревожат, мучат, из ума нейдут.

Початого остерегаюсь года,  
не грежу о дальнейших о летах.  
Тишь: слышима опавшая иголка  
Труд помертвевшей ели — облетать.

Перечитала неблагополучье  
бессвязных строчек — сразу обо всём.  
Дитя-Зиждитель, Человеколюбче,  
пошли мне мирен, безмятежен сон.

Пора свести потылицу с подушкой,  
чья вмятина живёт с подушкой врозь.  
Как загадала — при свече потухшей  
и впрямь поставить точку довелось.

*18—19 января 1999 года*



## НА МОТИВ ИКОСА

Украшения отрясает ель.  
Божье дерево отдохнёт от дел.  
День Крещения отошёл во темь,  
января настал двадесятый день.

Покаянная, так душа слаба,  
будто хмурый кто смотрит искоса.  
Для чего свои сочинять слова —  
без меня светла слава икоса.

Сглазу ли, порчи ли помыслом сим  
возбранён призор в новогодье лун.  
Ангелов Творче и Господи сил,  
отверзи ми недоуменный ум.

Неумение просвети ума,  
поозяб в ночи занемогший мозг.  
Сыне Божий, Спасе, помилуй мя,  
не забуди мене, Предивный мой.

Стану тихо жить, затвержу псалтирь,  
помяну Миней дней имена.  
К Тебе аз воззвах — мене Ты простил  
в обстоятельствах, Надеждо моя.

Отмолю, отплачу грехи свои.  
Живодавче мой, не в небесный край —  
восхожу в ночи при огне свечи  
во пречудный Твой, в мой словесный рай.

*В ночь на 20 января 1999 года*

## ЧЕРЁМУХА МОЯ

Гни сказку готовую, что дугу черемховую.

*Пословица*

### I

В той местности, откель купец Малеев  
в иные кущи роком унесён,  
где половодье нехотя мелеет,  
черёмухи прозрачен робкий сон.

Любезен холод бледной северянке.  
Кто хрупкость дрёмы пробудить дерзнёт?  
Окружъя вод и мрачные овраги  
проведывает хищный мой дозор.

Я — чёрный раб, отвергнутый вакханкой,  
осмеянный смолянкою старик.  
Зияют вазы — раструбы вакансий,  
где жизнь её трёх дней не простоят.

Я — грубый варвар, радостный язычник,  
рискнувший древо ранить и терзать.  
Неправедных блаженств, уже излишних,  
диктант и осырь падают в тетрадь.

Ей посвятив всех возрастов утрату,  
стать клинописью почерк норовит.  
В деревне схож с дремучестью Урарту,  
ревнив и не разборчив черновик.

Вот первый день предсмертного полона.  
Дух божества суров и нелюдим,  
как будто с милым женихом помолвка  
разъята мной. Но кто ей так любим?

Она — не пахнет, не хмелит дыханья.  
Пока молчит и зябнет соловей,  
живу, как сухопарые дехкане,  
чью жажду угощает суховей.

Чужбин словесных следопыт заядлый,  
зачем это, — мой вопросил зевок, —  
акцент латыни римско-азиатский  
растенье: *Prunus mahaleb*\* — зовёт?

Не приживалка городского слуха —  
Цветок, предрекший и лещей, и рожь.  
Где — голотуха, где — колоколуша,  
есть прозвища для черемховых рош.

Не путать их с багряной черемнухой,  
чья сыпь люта (соцветность стягов — тож).  
Черемный кот, худой и востроухий,  
то рус, то розоват — рыже-пригож.

---

\* *Prunus mahaleb* — черемуха душистая (латынь).

Сдаю я Далю нежности экзамен.  
Свежа в устах родимой речи сласть.  
Черёмуху моя не тешит заушь.  
Ей не нужна докучливая страсть.

Она не внемлет выпренному гимну  
и слышит, как стенают вепрь и выпь.  
Я вместе с нею стыну, слепну, гибну,  
необратимо воздымаясь выпрь.

Дивятся снегу хвойность и песчаность.  
Подростка мая борода седа.  
С черёмухой я загодя прощаюсь  
и всякий раз страшусь, что — навсегда...

## II

Премьеры чад и блеск  
в овраге возле дома.  
Первее примул всех  
нагая примадонна.

Паду в её сады  
с галёрки бельэтажа.  
Она — моей судьбы  
добыча и пропажа.

Закрывать её на ключ  
и поспешать обратно —  
следить за ней из куш  
родного ей оврага.

В соитии больном  
бетона и железа  
ступила на балкон  
черёмуха — Джульетта.

Вдруг под ребро кольнёт  
живой сюжет примера:  
в нём яду мстит клинок,  
остерегись, Ромео.

Какой никчемный вздор —  
раздор кровавой распри.  
Джульетты вздох и взор  
и посеичас прекрасны.

Боюсь, что всё — не так.  
Сгубивший полонянку,  
я — вор её и тать,  
солгавший Пастернаку.

Он куст обожествлял,  
расцветший у забора,  
не повелев словам  
ему чинить разора.

Таков любви делёж  
меж теми, кто не жаден:  
ты более даёшь,  
чем просит обожатель.

И впрямь, я — подхалим,  
влекомый девы статью.  
Мой разум — похотлив  
и понукаем страстью.

Прелюбодей словес,  
во прихотях притона  
дарю невесте весть —  
ослушницу Платона.

Быть может, и Платон,  
бесплотной дружбы светоч,  
в помыслии плохом  
юнцов и сам был сведущ.

Испить, изъять из уст  
дыхание дикарки.  
Деканы, сух и пуст  
смысл вашей не-догадки.

Ваш беспорочен рот,  
но вы ошиблись в знанье,  
когда исчадьё роц  
«Pгunus mahaleb» звали.

Она — не такова,  
она — дитя Эрота.  
Здесь — глушь и трын-трава,  
что Глухову — Европа?

Зачем ты лжёшь, скажи,  
при праведной повадке  
бесхитростной свечи,  
не меркнувшей лампадки?

Не чернокнижный стол  
объят благими снами.  
Мой целомудрен слог,  
безгрешны талисманы.

Огласке не предам  
их тайны сокровенной -  
парада их педант,  
пугливо суеверный.

Свеча на нет сошла,  
но теплится лампадка —  
в честь Той, что, как всегда,  
волшебна глуповата.

Я услаждаю ум  
растенья властным бредом,  
и месяц кротко юн  
над Вертушинки брегом.

Заутрени звезда  
над Глуховым явилась.  
И во гробу свежа  
черёмухи невинность.

А я — всё жить хочу.  
Здесь не при чем Ромео.  
Зажгла ему свечу —  
и в небе прогремело.

### III

Воздумал май вернуться в март:  
снежит, пошаливает.  
Округл двух полушарий мрак.  
Меня пошатывает.



Мне шлёт влиятельный наркоз  
моя черёмуха.  
Подросток просит: — Мне, на рост,  
не дашь червончика?

Иду, куда глядят глаза:  
в деревню Глухово,  
и по пути кормлю козла,  
весьма не глупого.

От семерых его детей  
устала козочка.  
Вдали, в Кахетии моей  
зарыта косточка.

Когда печалилась вблизи  
числа девятого,  
себе велела я: Блесни  
в честь дня Булатова.

Но мне не внемлет хладный зал,  
ему неможется.  
Ты опрометчиво сказал,  
что всё — приложится.

У праздника одна лишь цель —  
та, что съедобная.  
Я — завсегда́тай многих сцен  
и все — стыдобина.

Я в том, что мой успех так плох, —  
не виноватая.  
Лишь косточки утешен плод -  
кисть виноградная.

Вдруг до неё я добреду  
в начале Глухова,  
забыв греховную еду  
собранья гулкового.

Меня встречает дед Василь  
лукавств миганьями.  
В избе — пиджак худой висит  
с его медалями.

Ловлю, рядом с его женой,  
признанья братские:  
— Мы в Глухове давно живём,  
а сами — брянские.

Я партизанил в пацанах.  
Потом — побоище.  
Штабной в разведку посылал,  
сам шёл в попоище.

Пойми толкую я про что,  
вещь ощутимая:  
шестнадцать государств прошло  
через Щетинино.

— Вы повидали белый свет —  
сам шёл на Брянщину.  
— Да, не забыть мне юность лет,  
слезой набрякшую...

Он помолчал, да не сдержал  
ума подробного.  
— Вот было: немца повстречал,  
врага — а доброго.

Мог расстрелять — не захотел  
сбить душу малую.  
Негоже мне за не-расстрел  
любить Германию.

За убыль всех дружков и сил  
я редко пьянствую.  
Ещё — Америке я мстил  
за боль Пхеньянскую.

— За Ким Ир Сена я не пью.  
— А с коммерсантами?  
Жируют во земном раю  
с детьми мордатými.

— Вы, дядя Вася, их вину  
зря осуждаете,  
как будто новую войну  
вы услаждаете.

— Ну, ладно, что ты, пью за мир,  
за землю родную. —  
За это чокаемся с ним  
перед дорогою.

#### IV

Черёмухи моей ведро  
туманит ум... С каким терпеньем  
гнев матери, в честь Виардо,  
сносил покорный сын — Тургенев.

Одышке левого ребра  
уничужения привычны:  
— Ни снисхожденья, ни рубля!  
Юродствуй в прихвостнях певички!

Вот — плачет: как жесток бывал  
он, праздный неслух, склонный к тратам.  
Постыдность мысли: стал богат  
обобранный сиротством траур.

Выискивает свет жену  
ему, для праведной улады, —  
куды! Нет, я вольней живу  
меж арок и колонн усадьбы.

Все домочадцы спать ушли.  
Скулою и зрачком — татарин,  
одна, в пленительной глуши,  
блаженствую, как русский барин.

Читать ли скушную Жорж Санд,  
иль к Жоржу Занду мне придраться?  
То ль в бальный зал, то ль в зимний сад,  
то ли в буфетную податься?

Всё есть: кальян, декохт, шлафрок  
и, роком предопределённый,  
для гордой знати эшафот —  
мой стол, в растенья казнь влюбленный.

С утра зову к себе слугу —  
звоню в Булатов колокольчик.  
Бегу! Лишь я унять смогу  
глад уст, до кофия охочих.

Подав его себе в постель,  
вкушаю лакомую бравость,  
сокрывшись в крепость кротких стен,  
покинуть их не собираясь.

Мне предстоит цветов полив —  
упрёки жажды каждодневны.  
И я люблю мадам Полин,  
но без неё — беспечны нервы.

Вкруг пруда — сыр и сер песок.  
Над прудом — бледных куц зевота.  
Двух одиноких душ постой  
творцов обителью зовётся.

Ну, что ж, черёмуха, твори  
свой выдох, прибыльный для вздоха.  
Попались выдумки твои  
в отверстие дых, в силок подвоха.

Мы извели с тобой вдвоём  
свечи усердые — в ночь длиною.  
Есть у бессонниц счетовод —  
их месяц, ставший их луною.

Округу в обморок вовлѣк  
непререкаемый твой гений.  
Грустны — помолвки соловьѣв  
и не бывавший здесь Тургенев.

Твоѣ упрямство таково:  
«колоколушей» слыть не хочешь.  
Окликнув, утаю: кого,  
звоню в заветный колокольчик.

Вблизи черемухи моей,  
глухих аллей, пустых беседок,  
мозг поспешает пламенеть  
так жарко, словно — напоследок.

## СНЫ О ГРУЗИИ

### Авелум. Отару Чиладзе

Явилось торжество и отшумело  
на перепутье новогодних лун.  
Да, только одиночество шумера  
могло придумать слово «Авелум».

В чём избранная участь Авелума —  
живущий врозь и вольно, или как?  
Не вместе, не вдвоём, не обоюднo?  
Пусть будет неприкаянным в стихах.

Так свой роман нарёк Отар Чиладзе.  
Давненько мы не виделись, ау!  
Печального признанья начинанье  
ловлю, преображенное в молву.

А помнишь ли, Отар, как наш хабази —  
схож с обгоревшим деревом, сухопар —  
нырял в полымя пасти без опаски  
и был невидим — лишь высокопят.

Как молодость сурова и свободна:  
лик Анны, улыбающейся мне,  
застолий наших остров — дом Симона,  
цирк, циркулем очерченный в окне.

Или другой холодной ночи жженье —  
высокогорный, с очагом, духан.  
Снегов официантку звали: Женья, —  
внимавшую то пенью, то стихам.

Я обещала с ней не расставаться —  
беспечному в угоду кутежу,  
и, клятве легкомысленной согласно,  
вот — слово мимолетное держу.

А после — звёзды звёздами сменялись,  
и, под присмотром Бога самого,  
мы пропасти касались и смеялись,  
разбившись над ущельем Самадло.

И впрямь смешно — легко, а не сторожко  
над бездной притягательной висеть.  
В снегу была потеряна серёжка —  
ты не нашёл, зато сумел воспеть.

Осталась в долгопамятном помине  
грядущей жизни маленькая треть.  
Моя свеча — прилежна, ей поныне  
сопутствует Галактиона тень.

Я сумрачно тоскую по Тбилиси,  
Метехи вижу, веки притворив.  
Хочу спросить: наития сбылись ли  
всех дэвов — в шапке вымыслов твоих?

Когда я снова полечу-поеду —  
среди времени отрав или отрад?  
Отар, пошли мне чудную поэму!  
Или меня отринул ты, Отар?



Не быть мне ни повинной, ни подсудной  
пред роком, чей пригляд неумолим,  
пред распрей меж Бичвинтой и Пицундой,  
пред городом твоим, но и моим.

Так, при свече, с любовью и печалью,  
в ночи от хвойных празднеств затаясь,  
— Рогора хар? — тебя я вопрошаю.  
Да, авелум — когда бы не Тамаз.

Но есть и я. И свет небесный — с нами.  
Душа, как снег — и твой, и мой, — свежа.  
Нечаянно содеяла посланье  
то ль я, то ли иссякшая свеча.

## Я И НОЧЬ И ГАЛАКТИОН

*Памяти Гии Маргвелашвили*

К опасному готовясь повороту,  
преобразив незнаемую новь,  
я втайне обрекала переводу  
стихи Галактиона «Я и ночь».

Два языка спеклись в моей гортани,  
мне свыше данный — делал вид, что слаб.  
Как Яузе притоком мутной Мтквари,  
мне — с музыкой накоротке не стать.

Надеялась, что издалёка, сбоку,  
украдкой до тайника дойду.  
О Гмерто! — тщетно я зывала к Богу.  
О Цвима! — обращалась я к дождю.

Тягались силы вымысла и яви,  
силёнки слова иссякали в них.  
Сквозили вместе кари и ниави,  
дул ветерок, и воздымался вихрь.

Стихи мерцали — кротко, затаённо,  
окликнут звук — но звуком не задет.  
— Оставь! Не тронь! — витал Галактиона  
усмешливый, влиятельный запрет.

Казалось бы, всё так прозрачно-просто:  
поэт, свеча, души отверстый плач,  
луна, сирень... Навязчиво и плоско  
что, тычась в темь, талдычишь ты, толмач?

Собрания луны, свечи, сирени —  
достаточно, чтоб не был стих уныл.  
Сусеки одиночества — свирепы.  
Но как мне быть? — А ты спроси у них.

Всё непостижней горла бормотанье.  
Луна печёт всё хладней, всё больней.  
Смысл — здесь ли, там ли — в им сокрытой тайне,  
но он семь раз упомянул о ней.

Тайнодержавной власти тайнодержец,  
таинственно, утайкою, тайком  
он предавался тайнописи — дескать,  
не дело всех; о чём она, о ком.

Не я ль вломлюсь в ларец его заветный,  
сиреневых не пожалею кущ,  
к сокровищнице, хрупкой и запретной  
рукой развязной подбирая ключ?

Повторные значенья — заунывны,  
куртинам — вновь не лиловеть в цвету,  
и подлинник его луны доныне  
свою оберегает чистоту.

В луну, в сирень окно я открывала,  
отпив вина, что проклял он в ту ночь.  
— Вот ключ, возьми! — смеялся зазывала  
и ухмылялся, убегая прочь.

Как если б тишина часов песочных  
исторгла вдруг громоздкий гром времён,  
безмолвствующий, восклицал подстрочник,  
что чужаку свой жемчуг не вернёт.

Я видела: друг ночи — горько молод,  
неутолимо, безутешно горд.  
Ровесник умолчаний и обмолвок —  
тринадцатый, ещё беспечный, год.

Спустя два года назовёт он имя,  
я повторю, пусть поздно, но светло.  
Всё сущее — поэту не взаимно,  
лишь то, что — прежде сущего всего.

«Поэзия — прежде всего», — сказал он.  
Так было с ним. Так я перевела.  
Строка моим вторжением внезапным  
не ранена и не повреждена.

Нет обольщений, сердцу изменивших,  
нет смерти убиенных, нет могил.  
Конечно, прежде. Но зачем «Могильщик»  
о том, что — после, помышлять манит?

Над Мцхетою — девятигласно пенье.  
А как же пир, что грянет наяву,  
и в оперенье подвенечном пери?  
Я знаю имя, но не назову.

В другой ночи — проспектом Руставели  
бредёт знакомец нищих и бродяг.  
Созвучья, мне не данные доселе,  
ночные души тешат и бодрят.

Он стал угрюм. Горька вина услада.  
Ночь, он и тень фонарного столба.  
«Прежде всего!» — но жизнь его устала  
свои же знать и подтверждать слова.

Вот вспомнила: в застольном ликованье,  
при круге цирка, видном за окном,  
печально мне поведал Чиковани,  
как встретился ему Галактион.

Уж быть — невмочь, дразнить — ещё по силам.  
Сиротской усмехнувшись бородой,  
— Кто ты такой? — заносчиво спросил он. —  
Ах, Чиковани! Знаю: ты — портной.

Как это кстати! Я искал портного.  
Забыл, что всех не залатать прорех. —  
Не возрыдать же: надобна подмога,  
не преклоненья — жалости привет.

Стоял Симон, впрямь горемыка с виду.  
И сострадать — возбранно, как мешать.  
А далее — впрямую на Мтацминду  
таинственный и благородный шаг.

Плач всенародный, пересудов лишних  
бессмыслица судачит, но про что?  
Живучий, знает истину могильщик:  
всё станет прахом, ежели прошло.

Тогда зачем, плутая по Тбилиси,  
бессонниц утруждая силомер,  
я в закоулках видела из близи  
вспять сквозняка летящий силуэт?

Что мне легенды, что чужие басни!  
Гесенной благодатной опалён,  
меня бесплотный уверял хабази,  
что только что здесь был Галактион.

Правдивое свидетельство не ново.  
Скиталец, не имеющий угла,  
меня небрежно примет за портного —  
я спохвачусь: где нитка, где игла?

Но не скажу, как долго длилось это:  
две музыки не совпадут точь-в-точь.  
Родная речь слабей, чем «дэда эна»,  
в ночи стихи лелея «Я и ночь».

Впустую перемук перевода  
растратой занята свечей и лун.  
Вмешательства грешна пере-свобода,  
потупился пред ней смиренный ум.

До сумерек рассвета и до солнца,  
качнувшись на откосе бытия,  
мы таинству молчанья предаёмся  
втроём: Галактион и ночь — и я...

## Памяти Симона Чиковани

Вот было что: проснулась я в слезах.  
В зеницах, скрытных пеклах суховея,  
не зеленеет влагой Алазань.  
То ль сновиденье было суеверно,  
нет! то был дэв. Он молвил: Сакартвело.  
Конечно, дэв. Один из девяти.  
Мой краткий сон не помнил о Тбилиси —  
дэв осерчал и пожелал войти  
в затменный ум затворника больницы.  
Моим глазам плач возбранён давно,  
он — засуха за твердою оградой,  
иначе бы зрачки слились в одно  
течение, словно Кура с Арагвой —  
там, возле Мцхета. Если глянешь ввысь —  
увидишь то, чему столетья мстили  
за недоступность выси. Глянень вниз  
с вершины... можешь? Возрыдай, о Мцыри.  
Плачь обо всех, доплачься, доведи  
пустыню глаз до нужных им дежаний.  
Но где мой дэв, один из девяти?  
Часы мои, который час? — Девятый.  
Девять — всего у Сакартвело есть:  
названий ветра, соучастий в хоре,

чудес и чуд. Но я не там, а здесь,  
где предаются не мечтам, а хвори.  
Да охранит меня святой Давид!  
Смиреннейший, печется ль он о дэвах?  
Забуть мой сон иль вновь его добыть?  
Меж тем часов — как плит Марабды — девять.

Грядет обход. Врач должен обойти  
значение пульсов, жалоб, недомолвок.  
Нет времени считать до девяти:  
«пятиминутки» ритуал недолог.  
И страждущих число не таково.  
Врачующих труды неисчислимы  
(и нужды). Солнцем глянувший в окно,  
о Гмерто! знаю: Ты пребудешь с ними.  
Мой перевод я изменить хочу.  
Симон простит. Строка во тьму не канет.  
О Господи! не задувай свечу  
души моей, я — твой алгетский камень.  
Врач удивлён: — Вы — камень? Но какой? —  
Смеюсь и помышляю об ответе.  
— Я — камушек, взлелеянный рекой  
грузинскою, её зовут Алгети. —  
Внимает доктор сбивчивым речам,  
как Боткину когда-то удавалось.  
— Вы сочинять привыкли по ночам. —  
Сбылись анализ крови и диагноз.  
Не той, как Сакартвело, ибо той  
любви — другой избранник убоится,  
пасут меня и нянчат добротой  
и Солдатёнков, и его больница.  
Я отвлеклась. Повадка такова,  
что слов туманы — Овену подобны.



Но барельефу — скушно знать, когда  
очнулись благодарные потомки.  
У них уйдёт на это полувек  
с добавкой упраздненной пятилетки.  
А я — живу, как доктор повелел:  
звонят тарелки и горчат таблетки.  
День бодрствует, как подобает дню.  
Вторженьем в них пренебрегают вены,  
но их принудят. Помышленья для  
и для удобства прикрываю веки.  
При капельнице, что воспета мной,  
возгрежу о Симоне, о Важе ли —  
незримый вид я назвала бы мглой,

но сомкнутые веки повлажнили.  
Постыдность слёз спешу стереть с лица —  
вошла сестра по долгу милосердя.  
...Июль спалил луга, ожёг леса...  
Как зимовать? Нет денег, мало сена...  
Сестра — из Кимр. Есть у нее коза.  
Коза — всегда! — есть мой кумир строптивый.  
В сестре Татьяне нет нисколько зла.  
И денег нет. Но повезло с квартирой,  
не ей, а сыну... Прокормить козу  
она сумеет... Муж Татьяну любит...  
Я слушаю... Меня влекут ко сну  
улыбки прибыль и печали убыль.  
— Все времена — лихие времена, —  
сквозь сон я слышу. Разум занят ленью.  
Я думаю: о Грузия моя!  
Но и козу нечаянно жалею.  
Каприз иль приступ? Слышит и Кура  
призыв страдальца: — Эскулапы, где вы? —

Я думаю: о Грузия, когда...?  
Вдруг — никогда? Не отвечайте, дэвы.  
Во сне ли праздник пел и танцевал?  
Туда, где кеври и Алавердоба,  
шёл с алою гвоздикой Тициан,  
а я и Нита оставались дома.  
Мне девять раз рассказывал Симон  
о том, что знал, и, выйдя из полона  
межзвёздного, делили пир со мной  
Галактион и Тициан с Паоло.  
Спасли грузины убиенный Дождь —  
воскресли струи строк и уцелели,  
и всё совпало: маленькая дочь,  
и Лермонтов, и храм Свети-Цховели.  
Кто в эту ночь молился обо мне,  
сберечь меня просил святую Нину?  
Прижился голубь на моём окне —  
что будет с ним, когда его покину?  
Быть может, хлебца кто-нибудь подаст:  
здесь всяк невольно мыслит о загробье

и, по примете, потчует подчас  
клюв Божьей птицы просьбой о здоровье.  
О муже Вове с Таней говорим:  
пригожий, добрый, да вину привержен.  
Лекальщик он, и за труды хвалим.  
В разлуке с хмелем — сумрачен, но вежлив.  
Зарплата — редкость. Оскудел завод,  
но подсобил, когда играли свадьбу:  
дочь вышла замуж. А отец — в запой  
водвинулся. Но я всё это знаю.  
Не он ли населил мои стихи?

Посредь страны, несчастной, беспризорной,  
не он ли бродит вдоль моей строки —  
сородич мой, со мною неразъёмный?  
Смышленный, с древней думой о вине,  
а не о тех, кто свысока им правит,  
одет в прорехи, — близок мне вдвойне:  
его восславил мой Гусиный Паркер.  
В дочь Тани Ольгу был влюблён грузин.  
Влюблён и ныне. Объясните, дэвы:  
как он попал в остуду кимрских зим?  
К тому же он — Давид, иль, вкратце, Дэви.  
Манил он Ольгу в Грузию свою,  
но запретил и проклял мини-юбку.  
Назло ему, возрадовав семью,  
невеста предпочла соседа Юрку.  
Святой и царь, всех кротких опекун,  
смиритель гневных, что в виду имеет  
чужой жены не мимо, а вокруг  
блуждающий твой кимрский соименник?  
Он в честь твою крещён и наречён.  
Пусть минимум порочного подола  
забудет тот, кто боле ни при чём.  
Но почему украдкой плачет Ольга?  
Усов ревнивца доблестную масть  
муж Вова хвалит, чуждый русской спеси.  
Страдает Юрка. Изнывает мать,  
страшась Куры и Волги сложной смеси.  
Вдвоём, в девятом пред-ночном часу,

о том о сём судачим откровенно.  
Татьяна, проводив меня ко сну,  
разучивает слово: Сакартвело.

И неспроста: оно в её устах  
освоится и природнится к Тане.  
Разгадка — не в ревнующих усах,  
в другой, покамест не воспетой, тайне.  
Коль девять раз царицею Тамар  
был некогда проведан сон Симона,  
взмолюсь: цари! мой разум отумань  
и к подданным твоим не будь сурова!  
Я — ровня им. Твоя над нами власть.  
И Лизико — для грёз о Руставели —  
в девятый день июня родилась.  
Чабук её крестил в Свети-Цховели.  
Смешение имён, времён и Кимр  
с тем краем, что зовётся: Сакартвело, —  
безгрешно. Пусть гуляет вкось и вкривь  
перо, покуда не осиротело.  
Жизнь замечает, что желает есть.  
Суть снеди — легковесна и целебна.  
Какое благо и какая честь —  
лежать в постели в чине пациента.  
Возжаждавших иных чинов — мне жаль.  
Не очень, впрочем. Разберутся сами.  
Лишь возлежать! и с жадностью вкушать  
тот суп, что порицаем гордецами!  
Полёживать! Лениво ликовать!  
Лбом в девять пядей помнить девять дэвов!  
На суету не променять халат,  
как это делал мой любимый Дельвиг.  
Он — завсегдатай сердца моего.  
Как весело он расточал свой гений!  
Молчок! По мне скучает молоко.  
Я слёзы снов утешу смехом бдений.  
«Я Вам пишу»... — вот и пиши, радей!

Как Таня к няне, я приникну к Тане.  
Чужая боль — больнее и родней  
своей, тебе двоюродной, не так ли?

Надземную я навестила синь —  
итог судьбы преображен в начало.  
Мой сон был свеж и не успел остыть,  
когда больным заметно полегчало.  
Благодарю лежачий мой постой.  
Смиренно и не вспльчиво сознание.  
День августа иссяк двадцать шестой —  
счастливый день, что начался слезами.

## **Памяти Гии Маргвелашвили**

Мой Гия, мой Гия, давно уж ничьи  
мои измышления — прочих сокровищ  
не знал и не знаешь. Мне снилось в ночи,  
как супишь ты брови и сердце суровишь —  
в защиту мою. Ни двора, ни кола  
громоздких не нужно отлучке героической.  
Мой Гия, мой Гия, зачем никогда,  
Георгия сын, ты не звался: Георгией?  
Влиянье луны съединило умы.  
Смешливость умов — наших уст совпадение.  
На улице Барнова, возле луны,  
мы вместе смеялись в моём сновиденье.  
Ты помнишь: в Москве снегопадом мело.  
Блестящая сокрытой и древней отвагой,  
увлекшись роскошным айдом метро,  
ты ехал ко мне с кахетинскою влагой.  
То быстрая темень, то пышный огонь.  
Ты речи, родимой тебе, улыбался:  
робея, вступили в чужбинный вагон  
тбилисские жители, два авлабарца.  
Уж встречи со мною ты ждал у дверей,  
вдруг ты заблудился? — уже я грустила.  
Один пошептался с другим: — Вот — еврей,  
скажи, почему он похож на грузина?

Заздравные тосты смешны, да важны:  
— Хвала черноусым? Хвала белокурам! —  
Я помню Тифлис, что не ведал вражды  
меж русским и турком, меж греком и курдом.  
Ты всякий любил и язык, и акцент,  
любому народу желая прироста.

Печалился ты: где шумер, где ацтек?  
Всемирен объем твоего благородства.  
Ты помнишь: «Иверия» звался отель.  
Люблю помышленье: в честь края какого.  
Во сне обитаю и вижу отсель  
обширность воды под утесом балкона.  
Играли мы так двадцать два, двадцать два,  
потом — восемнадцать. Звонок телефона  
ты слышал. Скажу тебе: «хо» — вместо: «да»,  
коль спросишь, была ль эта ночь благосклонна  
к усладе моей, к созерцанью Куры.  
Скажу о Куре: — Называй её Мтквари. —  
Твой город был главный участник игры.  
Мы с видом его законным играли.  
Провидел ты всё, что я вижу в окно.  
Там, слева, — Мтацминда. Но все это знали.  
Мой Гия, подумай, любимейший кто  
явился внизу? Ты отвечивал: — Дзагли. —  
Нам пёс был знаком. Он хозяина ждал.  
Мы вместе его не однажды ласкали.  
Подвал утолял нарастающий жар  
пленительным пивом, совместным с хинкали.  
Наш дружеский круг почитал и ценил  
гуляк и скитальцев, терпевших похмелье.  
Не-царь Теймураз, что в хинкальной царил,  
заплакал: по-русски читала я «Мери».

Но сколько же раз я читала стихи,  
в гортани грузинское пенье лелея.  
Теперь ты — всеведущ, попробуй, сочти.  
Вспомни, что в наших стаканах алело.  
Мы верили, что не гнушалась Кура  
стихами, слезами и даже делами  
такими: отведавши хаши с утра,  
мы ехали к Эличке Ахвледиани.  
Её обожал весь Тбилиси — и мы,  
скрывая ладонями выдохи наши.  
Прекрасная молвила: — Как вы умны!  
Счастливицы, уже вы отведали хаши. —  
За улицею Кецховели следим:

вне времени сущие, звёзды решили  
увидеть, как там, в доме номер один,  
застенчив и милостив Гудиашвили.  
Когда мы вступали в объятья дверей,  
их кроткий хозяин, беседа с нами,  
приписывал мне урожденье зверей,  
чью невидаль видел один Пиросмани.  
Неймётся каким-то небесным коням:  
несутся! И вижу во сне постоянном  
ту рюмку, в которой не сякнет коньяк,  
что крайней весной не допит Пастернаком.  
Мой Гия, мы общую звали луну  
Галактиона — и только! — луною.  
Всё ярче она сокращает длину  
твоей безутешной разлуки со мною.  
Припёком любви ты меня известил:  
я мучу тебя, устрашаю, тревожу.  
Послание требует убыли сил.  
Я ради тебя их упрочу, умножу.  
Оставим луну, но отменим туман



подлунного вздора. Прости меня, Гия,  
что нас позабыла царица Тамар,  
что нет Руставели, — пусть верят другие.  
Коль я напрямую с тобой говорю,  
есть нечто, что мне до поры не известно.  
Светает. Тебе посвящаю зарю.  
Отверста окна моего занавеска.  
Дано завершиться столетью сему.  
Ну, что же, и прежде столетья сменялись.  
Не стану покою вредить твоему.  
Давай засмеёмся, как прежде смеялись.  
Ты с осликом сравнивал образ Дождя:  
когда многотрудному ходу учёны  
копыта, он — вири, а если дитя  
чудесное, он именуем чочори.  
Спасибо, мой Гия. Мной принят намёк.  
В моём сновиденье зияют ошибки,  
но смысл его прост: ты покинуть не смог  
мой сон без твоей неусыпной защиты.

## Памяти Гурама Асатиани

Как свадебны все словари:  
слова взаимности сомкнутся,  
как соловьины сентябри:  
уста поют, а слёзы льются.  
Не говори: сикварули,  
не взламывай тайник моллюска,  
жемчужину не отнимай,  
не называй Курюю Мтквари,  
гадать не вздумай о Тамар:  
где обитает, здесь ли, там ли.  
Сокрыты от досужих глаз  
её покои и покровы.  
Крепчает хлад, и пиршеств глад  
пресыщен мыслью о прокорме.  
Упырь собирает крови дань.  
Прищурен зрак стрелка коварством.  
Убийцы помыкает длань  
моей Москвой, моим Кавказом.  
Край, осенивший сны мои,  
не слышит моего ответа.  
Удвоенность молитв прими,  
о Боже, — я прошу — о Гмерто!  
Оборони и сохрани,  
не дай, чтоб небо помертвело.

Свирельное с и к в а р у л и —  
вот связь меж мной и Сакартвело.  
Есть страсть, что сладостней любви,  
её и смерть не отменила,  
и сны мои целуют лбы  
тех, чье пристанище — могила.

То чувство славил Лицеист,  
по ком так жадно сердце бьётся.  
Оно — целит, оно — царит  
и вкратце дружбою зовётся.  
Возмывшие меж звезд блеснуть,  
друзья меня не оставляли.  
Вождь смеха, горьких дум близнец,  
вернись, Гурам Асатиани.  
Не сверху вниз, в аид земной,  
где цитрусы и кипарисы  
войной побиты и зимой,  
и не домой, не в город твой, —  
вернемся вместе в Кутаиси.  
Но прежде завернем в подвал,  
потом — туда, на Кецховели,  
в тот дом, что Пушкина знавал,  
где перед ним благоговели.  
Следы беспечно лёгких ног  
мы различали на паркете.  
И Пастернак не одинок  
в том доме, как нигде на свете.  
Там у меня был свой бокал —  
сообщник царственных застолий  
Багратиони. Опекал  
бокалы спутник всех историй  
столетья, любящий одну:

в Париже он служил гарсоном  
и ловко подавать еду  
владел умением особым.  
Он так же грациозно нам  
служил, пока мы пиروвали.  
Гудиашили первым знал,  
чем станет имя: Пиросмани.  
Нино, вослед Тамар, была  
торжественна и величава  
и в диадеме и боа  
нас, недостойных, привечала.  
Гурам, не двинуться горам  
навстречу нам. Мы безмятежны,  
вкушая хаши. Не пора ль  
спешить, помедлив близ Метехи?  
Как я люблю скалы отвес,  
где гроздья гнёзд, где реют дети  
над бездной вод. Скажи, ответь,  
Гурам, кто ты на самом деле?  
Ты — и кинто, ты — и кино,  
где Гоги Купарадзе — Чаплин.  
И ты играешь, но кого?  
Смешлива грусть, а смех — печален.  
Шутник — как шут — вольнолюбив.  
Не сведущ в гневе, горд при гнете,  
вдруг, Руставели перебив,  
ты по-грузински вторишь Гёте.  
Наш узкий круг был столь широк,  
что ночь не смела стать бесшумной.  
В отверстия дома щедрот  
вмещались все, и Гия с Шурой,  
не расставаясь никогда,  
нас никогда не покидали,  
и путеводная звезда

нас приводила в Цинандали.  
Неслись! Потом, плутая, шли  
сквозь виноградные чащобы,  
встречая светочей души:  
тха, цхени, вири и чочори.  
Казалось: всех крестьян дома  
веками ненасытно ждали  
лишь нас, и жизнь затем дана,  
чтоб все друг друга обожали.  
Мамали во дворе кричал  
о том, что новый день в начале.  
На нас Тбилиси не серчал,  
хоть знал, как мы озорничали.  
И снова ночь, и сутки прочь,  
добыча есть, и есть отрада:  
мой перевод упас от порч  
стихи Тамаза и Отара.  
Поёт Тамаз, поёт Отар —

две радуги зрочки омоют.  
Все в Грузии поют, но так  
другие братья петь не могут.  
Не выговорю: тыви — плот  
вдоль Мтквари плыл, берега чернели.  
Плот при свечах поёт и пьёт,  
и, коль женат карачохели, —  
счастливица его жена.  
Пошли им, небо, дни золотые,  
ей — жемчуга и кружева,  
а мне дай выговорить: тыви.  
Мне всех не перечесть пиров,  
всех лиц красу, всех чар Тбилиси.

Я робким обвела пером  
и были те, и небылицы.  
Гурам, при мне ты умирал  
в светлице сумрачных отсеков.  
Тебя догонит Амиран,  
сам зэк и врачеватель зэков.  
Был слеп иль прав немолкший смех,  
не зная, что сулят нам годы?  
Остался от былых утех  
твой дар — немецкий томик Гёте.  
Сосед созвездий, за тебя  
вступилось ночи озаренье.  
Шестнадцатый день сентября  
иссяк, но не стихотворенье.  
Коль я спрошу, ответствуй: — Да! —  
Погожи дни, леса тенисты.  
Уж если ехать, то когда  
доедем мы до Кутаиси?  
Мы — там, в предгории громад,  
под коими орлы парили.  
Младенец-плод, расцвёл гранат.  
Я это видела впервые.  
Ты алый мне поднёс цветок.  
К устам цветка уста приникли.  
Сохранен он и одинок  
в подаренной тобою книге.

Нас всех собрал Галактион.  
Посланцы дальних стран — галантны,  
но их рассудок утомлён.  
А мы воззрились на Гелати.  
Смеялся ты, смеясь всегда,  
но молвил: — Это — прорицанье.

— Вот лошадиная вода, —  
сказала я про Цхенис-цхали.  
И впрямь — купали там коней  
те, чьи горбы наверх стремились.  
Но наипервым из камней  
возглавил высь Давид Строитель.  
Ужель быть правнуком Тамар  
имел он избранную долю?  
Прабабка? Скушный сей талант —  
несовместим с красой младою  
владычицы вершин, долин,  
сердец, легенд и песнопений,  
чей властный взор неодолим  
и нежен лик благословенный.  
Зев легких с жадностью вдыхал  
пространство. Жизнь пренебрегала  
тоской бессмертья. Нижний храм  
поныне чтит царя Баграта.  
И всех Багратиони род  
сплочён таинственным единством  
с бокалом, с подношеньем роз  
Ладо, и с полем Бородинским.  
Но дуб, проживший триста лет,  
превысил смысл иных дарений.  
Тщеты насыщенной прах и тлен  
провидел д у б у е д и н е н н ы й.  
Хоть не был многолюден храм  
и не был юноша безумен,  
уж всё сбылось: явилась к нам  
весть из Тбилиси: Шура умер.  
Мы, должники торжеств, поспеть  
ко погребенью не сумели.  
Вновь предстояло мне воспеть

ту ночь, когда венчалась Мери.  
Мы омочили хлеб вином.  
В сей поздний час, что стал предранним,  
вот — я, наедине с виной  
пред Шурой, Гией и Гурамом.  
Я — здесь, вы — там, где стынь и пыл  
не поправленного смертью братства.  
Наш повелитель — Витязь был  
(украдкой я жалела барса).  
Вы мне твердили не шутя:  
— Чураясь мнений всех и прений,  
мы скажем: сколько строк Шота  
перевести — вот долг твой первый. —  
Каких — я знаю, да нейдут  
слова на ум, померк неужто?  
Гурам, мне показалось вдруг,  
что нам обоим стало скучно.  
Давид Строитель и Давид  
Святой в потылице-темнице  
свет возожгут. А нас двоих  
я покидаю в Кутаиси.  
Пребудем там, от всех вдали.  
Гелати возойдет над нами.  
Звук трёх слогов: сикварули —  
зов Сакартвело, голос Нани.



## Сакарвело

Луне, взошедшей над Мтацминдой,  
я не повею печаль мою.  
На слог смешливый — слог тоскливый  
переменить не премину.  
Евгений Рейн воспел Дигоми,  
где телиани он вкушал.  
Название родственно-другое  
прислышалось моим ушам.  
Увы, косноязычья мета —  
как рознь меж летом и зимой.  
Не пестовала «Дэда-эна»  
умы ни Рейна и ни мой.  
Квартиры говор коммунальной —  
и нянька нам, и гувернёр.  
Язык грузин, для нас фатальный,  
мы исказим и переверём.  
Дигоми — пишем, но дыханье  
твердыню «дэ» должно возвесть.  
Над нами вздыблен дым в духане,  
что девы нам, коль дэвы — здесь.  
Звук «Гэ» достоин укоризны.  
В Дигоми так не говорят.  
Был близок Лесе Украинке  
его грузинский вариант.

Мы все пивали телиани  
в те дни, в застолий тесноте.  
«Ли-ани» длили ты ли, я ли,  
слог «тэ» смешав со словом «те».  
Взращённых в сумрачном детдоме  
отечества, чей нрав суров,

не всех ли нас собрал Дигоми,  
сирот преобразив в сынов?  
Чтоб снова не осиротело  
души бездомное тепло,  
был сон — и слово «Сакартвело»  
само себя произнесло.  
Заслышав: «Моди, чемо швило», —  
по праву моды, лишь моей,  
перо проведать поспешило  
пиры и перлы давних дней.  
Коль Картли, из незримой близости,  
меня окликнет: — В яви дня  
ты чтишь ли иа и наргизи? —  
Я не вскричу развязно: — Да! —  
Благоговейно молвлю: — Диах, —  
чем возвеличу хо и ки.  
Смеются девять дэвов дивных:  
одышлив дых моей строки.  
В грехах неграмотных не каясь,  
тем, кто явился мне вчера,  
мое печальное: нахвамдыс —  
сказать и страшно, и пора.  
Сгущается темнот чащоба.  
Светильник дружества погас.  
С поклажей: «Боба, гамарджоба!» —  
в чужбину канул Боба Гасс.

И Эдик Елигулашвили,  
что неразлучен с Бобой был, —  
в той вотчине, что много шире  
и выше знаемых чужбин.  
Поющих — певчие отпели.  
Гнев Зевса то гремит, то жжёт.  
Москва, в отличие от Помпеи,  
огнь смертоносный в гости ждёт.  
Коль нам ниспослан миг беззвучный,  
он — лишь предгрозые, пред-намёк.  
Туристов теша, спит Везувий,  
но бодрствует над ним дымок.  
Похоже ли на уст смешливость

то, что объявлено строкой?  
Тысячелетье изменилось  
не очень, как и род людской.  
Затмил не слишком ли зловеще  
мой слог заманчивый пробел?  
Созвездье кроткое овечье,  
провозвести или проблей:  
как прочь прогнать ума оплошность  
и знание детское сберечь,  
что цвима — дождь, что цхени — лошадь,  
что дэда — мать, а зна — речь?  
Сердцам разрозненным — доколе  
и петь, и причитать навзрыд?  
Вернусь в диковины Дигоми,  
где свет горит и стол накрыт.  
Возрадуюсь, бокал наполню..  
Всё так и было, вдалеке  
от яви, только — что? Не помню:  
заснула я с пером в руке.

\* \* \*

«День августа двадцать шестой» —  
сей строчке минул полный месяц.  
Сверчок, обживший свой шесток,  
тебе твоих словесных месив  
не докучает скромный скрип?  
Заняты́е это бестелесно,  
но им перенасыщен скит:  
сверчку и скрипу — вместе тесно.  
День сентября двадцать седьмой  
настал. Я слов велеречивость  
читаю хладно. Но со мной  
вот что недавно приключилось.  
Я обещала, что смешлив  
мой будет слог — он стал прискорбен.  
Вдруг ноздри вспомнили самшит,  
вцепившийся во встречу с морем,  
вернее — он препоной был,  
меня не допускавшей к морю.  
Его, как море, возлюбил  
мой нюх, что я от моря скрою.  
Прогоркло-приторный настой,  
подача корма нищим лёгким,  
дремучий, до-античный сон,  
но в схватке с беззащитным локтем.

Во вздохе осени сошлись  
больничный двор с румяным клёном  
и узник времени — самшит.  
Нетрудно слыть вечнозелёным,  
но труд каков — вкушая тлен  
отживших, павших и опавших,

утешиться поимкой в плен  
податливых колен купальщиц.  
Чем прибыль свежести сплошной,  
тем ярче пряность, терпкость, гнилость.  
Скончанье дня скончаньем дней  
прозрачно виделось иль мнилось.  
В ночи стенание машин  
томит и обостряет совесть.  
Как сгусток прошлого — самшит —  
усильем рёбер вновь освоить?  
Там озеро звалось: Инкит  
и ресторан, где танцевали  
грузин с абхазкою, испив  
несходства «Псоу» с «Цинандали».  
Беспечность младости вольна  
впасть в смех безвинный, непосудный.  
Зрел плод вина, но и война  
между Бичвинтой и Пицундой.  
В уме не заживает мысль:  
зачем во прахе, а не вживе  
краса и стать спартанских мышц  
Ираклия Амирэджиби?  
Не сытый знаньем, что отец —  
вовсеки беглый каторжанин,  
антропофага зев отверст  
и свежей крови ждёт и жаждет.

Зачем, за что земли вовнутрь,  
терзаемые равной раной,  
ушли — селенья Члоу внук  
и внук Ираклия Ираклий?  
Зиянье горл: — Зачем? За что?  
О Боже! — вопиет — о Гмерто! —  
И солнце за луну зашло,  
ушло в уклончивость ответа.  
Ад знает, кто содеял взрыв,  
и ангелами возлетели,  
над разумом земли возмыв,  
те, что почили в колыбели.  
Пока людей с людьми разлад

умеет лишь в мишень взглядеться,  
ужель не упасёт Аллах  
Чечни безгрешного младенца?  
Неравновесия недуг  
злом превозможет здравость смысла.  
Так тяжесть розных ведер двух  
гнетёт и мучит коромысла.  
Так акробат, роняя шест,  
жизнь разбивает о подмостки.  
Так всё, что драгоценно есть,  
непрочно, как хребет в подростке.  
Перо спешит, резвей спешит  
пульс, понукаемый догадкой:  
разросшись, как проник самшит  
в день сентября двадцать девятый?  
Сей день вернулся в бывший день:  
в окне моём без промедленья  
светало. Не в окно, не дэв,  
не в дверь — сквозь дверь внеслась Медея.

Вид гостыи не был мне знаком,  
незваной и непредвестимой,  
но с узнаваемым цветком —  
не с Тициана ли гвоздикой?  
И с иберийским образком:  
смугл светлый лик Пречистой Девы.  
Те, коих девять, прочь! Тайком  
крещусь, как прадеды и деды —  
по русской линии, вполне ль  
прокис в ней привкус итальянства?  
Иль, разве лишь во ржи полей,  
в ней мглы и всполохи таятся?  
Татарства полууго свесть  
с ума сумеет грамотея.  
Как просто знать, что есть не смесь,  
а слиток пращуров — Медея.  
К тому же — здесь. В ней пышет зной,  
ко мне нагрянувший метелью.  
Какой её окликнул зов?  
Что привело ко мне Медею?

Всё просто. Тех приморских дней  
она — чувствительный свидетель.  
Платок я подарила ей.  
Сей талисман завещан детям.  
О том на память, что моря  
влюбляются в купальщиц вялость,  
«Грузинских женщин имена»  
стихотворение сбывалось.  
Я знаю странный свой удел:  
как глобус стал земли моделью,  
мой образ — помысел людей  
о большем — обольстил Медею

и многих, коим прихожусь  
открыткой, слухами, портретом,  
иль просто в пустоте кажусь  
воображаемым предметом.  
Весь мой четырёхстопный ямб —  
лишь умноженья упражненье:  
он простодушно множит явь  
на полночи сквозняк и жженье.  
Он усложняется к утру.  
Читатель не предполагает  
и не мерещится уму,  
ум потому и не лукавит.  
Но как мне быть? Всё горячей,  
обняв меня, Медея плачет,  
смущая опытность врачей  
раздумьем: что всё это значит?  
Смогу ли разгадать сама  
надзором глаз сухих и строгих,  
что значат клинопись письма  
и тайнописи иероглиф?  
Быть может, некий звездочёт  
соединил меня с ошибкой  
созвездий? Чем грустней зрачок,  
тем поведенье уст смешливей.  
Пред тем, как точку сотворю,  
перваться должно — так ли, сяк ли.  
Сгодится точка сентябрю:  
страница и сентябрь иссякли.



## УМСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ

### I

Лежаний, прилежаний, послушаний  
Я кроткий и безмолвный абсолют.  
Двоится долг двух разных полушарий,  
они не ладят, спорят, устают.

Я лишь у них могу просить подмоги,  
но скрытен и уклончив их намёк.  
Мозг постоянно думает о мозге.  
Он дважды изнемог. Он занемог.

Возглавье мутной и банальной суммы  
всего, что зрит со скукою рентген,  
удушьем жабр, как житель вод на суше,  
по морю ли тоскует, по реке ль?

Мозг счёл себя собраньем ям и рытвин,  
и видимая выпуклость ума —  
всего лишь сгусток принужденья к рифмам,  
невольничьих дерзаний толчея.

Свой соглядатай, сам судья и жертва,  
зачем он лжёт, что он — насельник вод?  
Не знающий таблицы умноженья,  
он — всех своих изъянов счетовод.



## II

Уж утро. За потачку Геркулеса  
я приняла заздравной каши вкус.  
Невнятица ночная околесна.  
Насколько каша лакомей для уст!

Прочла свой черновик и ужаснулась.  
Болтлив и вял нестройных букв молчок.  
Не только дома — всех домов и улиц  
изгнанник я, чей разум помрачён.

В диагноз вскоре вникнет медицина.  
Стишок мой оказался роковым.  
Я кабинета должного достигла  
смирненным пациентом рядовым.

Я озидала очередь сограждан —  
усталой жизни убыль и урон.  
И убыстрилось, возрыдав о каждом,  
то, что дрожит меж сердцем и умом.

Я затаилась, поместившись в угол,  
пока меня целитель не нашёл.  
Мне мой наряд вдруг показался «*vulgar*».  
(Шишков, прости. Ты был убит ножом.

Тебя любивший не узнал об этом.  
Одной печалью меньше для Него.)  
Мой мозг стал испытания объектом.  
Сколь далеко беднягу занесло!

Как вор в пустом украденном бауле,  
компьютер шарил в разуме моём.  
Напрасно! То ли оба слабоумны,  
то ль скрытен изучаемый объём.

Сестры учёность головой качала.  
Претерпевая двух устройств раздор,  
она прибор включала, выключала.  
Потупившись, я вышла в коридор.

По-прежнему бледна, одутловата,  
томилась блёклой байки толчея.  
Любя её, вдруг стала *глуговата*  
та, что ко мне нисходит иногда.

Не нужно ей навязывать заданий.  
Достаточно понять при свете дня,  
насколько все вокруг многострадальней,  
добрей, превыше и умней меня.

23 — 24 мая, 4 — 5 сентября 2000 года

## БЛАЖЕНСТВО БЫТИЯ

### I

Шесть дней небытия не суть нули.  
Увидевшему «свет в конце тоннеля»  
скажу: — Ты иль счастливец, иль не лги.  
То, что и впрямь узрело свет, то — немо.  
Прозренью проболтаться не дано.  
Коль свет узрю — все чёрный креп наденьте.  
Успению сознанья — всё равно,  
что муж вдовеет, сиротеют дети,  
что некто ночь извёл на некролог,  
что зябок путь сквозь стылую аллею  
к теплу утех... Заметив, на каком  
я ныне свете, вчуже всех жалею.  
Заране тяжко утрудять себя  
тоской сердец, предавшихся кручине,  
и знать, что всяк, прощаясь и скорбя,  
невольно мыслит о своей кончине,  
и прав! Наш круг, когда-то молодой,  
был безрассуден и смешлив — затем ли,  
чтоб слух прижился к стуку молотков  
и обрывал могильщик хризантемы?  
— Зачем? — спросили, отвечал: — Сопрут.

Герой события волен без опаски  
терпеть земли тяжеловесный пух,  
не задыхаться в замкнутом пространстве.  
Он всё снесёт: бюст неизвестно чей,  
с ним смутно схожий чёлкою надбровной,  
и даже пошлость выпрених речей,  
привычных для ваганьковских надгробий.  
Друзья, заране утешаю вас:  
лишь мимоходом, вкратце я была там.  
Булата мне не разрешила власть  
отправиться вдогонку за Булатом.  
Мной слышимо: так говорить нельзя.  
Как горб громоздкой непосильной ноши,  
я опыта столетья не снесла.  
Страшна мне близость новогодней ночи.  
Чужак не зван в чужие времена.  
Но в чём был смысл? Чей зов меня окликнул?  
Где чувств былых усталость провела  
шесть дней благих бесчувственных каникул?  
Жизнь, что ушла, не знает, что ушла,  
впервые не страдая, не волнуясь.  
Душа — бессмертна, но моя душа  
отведала бессмертья и вернулась  
туда, где смертны, пусть не вы, но я,  
где я целую день зимы пред-первый.  
Учёна я блаженству бытия  
разлуки с ним несбывшейся примеркой.  
Следя за слабо брезжущим «почти»,  
оставшие, радели о спасенье  
врачи. О Спасе, вновь меня прости:  
день возвращенья звался воскресенье.  
Меня Упасший, упаси врачей,  
они Твоим сподручны повеленьям.

Вознагради бессонность их ночей  
полночную звездой над Вифлеемом.  
Те знают, коих Гиппократ обрѣк  
чужую жизнь считать больней, роднее  
изнеможенья собственных аорт,  
что атеистов исцелять труднее,  
чем кротких сердцем немощных старух  
иль нищих духом — это отзвук, эхо  
прямого смысла: нищий, низший дух  
добро свершает и скрывает это.  
Я отвлеклась. Шесть дней прошли легко,  
в отсутствии. Очнуться было сложно.  
Где я была? Куда меня влекло?  
Писать об этом и нельзя, и должно.  
Что мозг познал? О чём он умолчал?  
Пустело тело. Кто был бестелесен?  
Таким не предающийся мечтам  
себе — удобен, мне — не интересен.  
Речь о мечтах. Вот несколько цитат.  
*«Читатель ждётъ ужъ»*... — он не мой союзник.  
В сей год мой лоб — Владимирский централ,  
где помышленья изнывает узник.  
Пишу, как пишут барышням в альбом.  
Что год! Столетью и тысячелетью  
в угоду грубо тискала любовь  
ту гордость, что пренебрегает лестью.  
Тот, чьи слова: *«...ты царь, живи один»,*  
*мечтал* в ночах и лунных и безлунных,  
и днём, когда *вдоль улицъ* он бродил  
или сидел *межъ юношей безумныхъ*.  
«Без-умных» — написанье для чтецов.  
Зачем беспечным приглашенье к тайне?

Заметка для чтецов, юнцов, глупцов:  
*моимъ мечтамъ* — есть мысль, а не мечтанье.  
«Мечтам!» — вскричавший мучил и манил  
признание обнажённое упрочить  
и пристально произнести: моим —  
то есть Его средь беззаботных прочих.  
Судьбу строфы сменить легко, хладел  
мой слух: меж слабоумных и нетрезвых,  
где веер — уст лукавых confident,  
сидит мечтатель и о чём-то грезит.  
Подвижники подмостков, счёт годин  
он исчерпал, серчать повремените.  
Поскольку — *царь* и потому — *одинъ*,  
мы все — его свирепые ревнивыцы.  
Проникли в сплетни, в письма, в дневники.  
Его бессмертье — длительность надзора,  
каким ещё не вдосталь допекли,  
но превзошли терпимость Бенкендорфа.  
Не проще ль том открыть и перечесть?  
Открытия сокрытого — излишни.  
Меж нами сходство и единство есть:  
мы все Ему смешны и безразличны.  
Не все, не вы, я о себе одной.  
Когда, без озаренья, смерклось зренье,  
в надземности, не ставшей мне родной,  
забыло ль обо мне стихотворенье  
иль было содержанием ума,  
и возводила в степень удвоеный  
по-свойски близлежащая луна  
*храмъ многолюдный, дубъ уединенный?*  
Да вот они, за шторой кружевной.  
Я думала в солнцеморозном свете:  
зачем так ярко, так тепло живой  
он непрестанно помышлял о смерти?



Мысль не страшна — насущна и важна,  
и предстоящей пагубы подробность  
обдумана: *бой, странствие, волна...*  
Нет книги — можно пульс виска потрогать,  
добыть строку, желанье загадать  
иль вспоминать Его июнь двухсотый,  
где я, как при дуэли секундант,  
свой знала долг, суровый и особый:  
присматривать за тем, чтоб Юбиляр  
нечаянно не оказался снова  
сконфуженным, как некогда бывал,  
здесь — англицизм, понятный для Шишкова.  
Так ликовал, что плакал Петербург,  
и Летний сад стал греховодно-райским.  
Когда цветок мне мальчик протянул,  
повеяло десятым днём февральским,  
и год мне показался роковым,  
чей счетовод не ошибётся в смете.  
Мы с Битовым порою говорим,  
что смерть понятней помысла о смерти,  
изъявленного формулой строки,  
незыблемой, как ход светил с востока.  
Смерть — белый лист, а помысел — стихи,  
и Битов их читает превосходно.  
В отъезде он. Я, разминувшись с ним,  
останусь при сужденье неглубоком:  
раздумья, нас снедающего, смысл —  
в неравновесье меж душой и Богом.

Покоен тот, кто истину постиг.  
Тот, чьё чело опалено заране,  
быть не умеет праведно простым  
и не мечтает об утешном рае.

Опасно храбр, опасною мечтой  
он осеняем. Сбудется, что мнилось.  
Греховен гений. Он — соперник той  
опеки, что зовётся Божья милость.  
К сему вдобавок, он безгрешней всех.  
Он чрезвычайен, как морское чудо.  
Всё, в чём любой повинен человек,  
ему иль неизвестно, или чуждо.  
Страх, злоба, зависть — не его удел,  
и недосуг ему: трудом печали  
он занят. Где зимы пред-первый день?  
Светает. Пред-пятнадцатый в начале.  
Ночь не прочна. С ней навсегда прошла  
жизнь, для которой ночи срок — обширен.  
Написанное мной я так прочла:  
вздор и шедевр — равны, в них нет ошибок.  
Не знаю, был ли мне ниспослан дар,  
иль, мной наскучив, он меня покинул?  
Шесть дней не вовсе тщетны. Не тогда ль,  
в обмен на жизнь, сбылась его погибель?  
Шесть дней иль все — не велика беда.  
«Брожу ли я вдоль улицъ...» — вот что важно.  
Или: «...Дорога не скажу куда...» —  
как доблестно, как нежно, как отважно.  
Один, одна — мертвы, а всё царят.  
Я ожила, а слово опочило.  
Мой дар иссяк, но есть дары цитат.  
Нашлись для точки место и причина.

.....

Урок: покуда длятся жизнь и лист,  
оставь простор, угодный многоточью.

Начало и конец стихов сошлись.  
Вот что случилось нынешнею ночью.  
Когда над мыслью о скончанье дней  
угрюмая посмеивалась тайна,  
в мою палату, стен её бледней,  
вошла, рыдая, санитарка Таня.  
Её в реанимацию послал  
профессор, и Татьяна побежала.  
Врачи молчали на своих постах,  
а на своём — покойница лежала.  
Её в снегу прохожие нашли.  
Из тех, сказали, что живут в подвале.  
Лишь Боговы и более ничьи,  
её черты, младея, остывали.  
Без имени, без документов, без  
всего, что мучит или греет тело,  
приемля ламп потусторонний блеск,  
она хладела, а лицо светлело.  
На миг очнулась молодость лица —  
такое ль прячут в общую могилу,  
с каким она в недалние леса  
девчонкою ходила по малину?  
Но вскоре возраст знанья обо всём  
приостановит выраженье лика.  
Да и была ли благодать лесов?  
Алела ль переспелая малина?  
Горючесть очевидицы росла,  
но в описанье точном не ошиблась.  
Особенно Татьяну потрясла  
волос ещё живая беззащитность.  
Давно ль они курчавились, вились  
и обольщали взоры танцплощадки?

Мечта иль мысль, молись, склонись, винись  
пред жизнью, чьи угоды беспощадны.  
Не милостива к пришлецам Москва.  
К той, во снегу уснувшей, — и подавно.  
Ей не дано узнать, что есть места  
лютей и холодней её подвала.  
Зато — там все свободны, все равны.  
Вот обрести приют надёжный способ.  
Там все так высоко умудрены,  
что их никто и ни о чём не спросит.  
Врачи привыкли, что сегодня мёртв  
кто жил вчера и танцевал когда-то.  
Звонили в морг. Ответил бодрый морг,  
что не свободна ни одна каталка.  
Всё плакала любимица моя,  
Татьяна, проживающая в Кимрах.  
К себе призвавший ту, что умерла,  
вдруг Ты меня упас, но и покинул?  
Душа усопшей, в Твой возмывши верх,  
не примет ли живучесть за кощунство?  
Её чело запечатлело свет,  
как будто перст любви его коснулся.  
Впервые, может быть, и навсегда  
её забота чья-то приласкала.  
Какого городка или села  
изгнанница в Москве судьбу искала  
и там нашла, где я найти могла?  
Не мне ли предназначенное место  
ей довелось занять взамен меня —  
безвестно, безымянно, незаметно?  
Никто не изнывал, не горевал,  
ни причитаний не было, ни крика.

Освободившей от себя подвал  
открылось то, что от меня сокрыто.  
Кто мудр, но жив, — тот не вполне мудрец.  
Всеведуще — что чрез мгновенье слепо.  
В свершающемся совершенстве есть  
изъян: оно не может быть воспето.  
Зане ль извне поэт глядит во смерть?  
О той, в снегу, с кем поделюсь печалью?  
Как мне её последний миг воспеть?  
Зачем я снова вижу танцплощадку?  
Обнимка с грубой статью, дух вина.  
Она не знает слова «папильотки»,  
но как чудесно кудри завила!  
В густых зрачках — загадка поволоки.  
Как весела, как горяча зима!  
Жизнь не сулит ни горя, ни убытка.  
В Дэ Ка занявшись, в небеса взята  
мелькнувшая и сгасшая улыбка.  
*Брожу ли я... Вхожу ль... Сижу ль...* Оставь!  
Левей окна, в невидимом востоке,  
достиг луны блик, смеркшийся в устах.  
Пятнадцатый день декабря в исходе.  
С июня, с Петербурга, с торжества  
слух Битова я устрашала речью:  
де я не дотяну до Рождества,  
а по весне черёмухи не встречу.  
Навряд ли он моим словам внимал.  
Мы под одною рождены звездой.  
Решать: *въ бою ли, въ странствіяхъ, въ волнахъ* —  
звезде, её остуде или зною.  
Непререкаем явственный указ:  
— Молчи, больницы Боткинской подкидыш!

Приблизил срок — так полыхнёт у глаз,  
увидишь свет, но этот свет покинешь.  
Пытливый мозг не может знать всего,  
как школьник, что не глуп, но непоседлив.  
Но как же ослепительно светло  
даруемое жизнью напоследок!  
К Европе подступает Рождество.  
Москва печётся о припасе снеди.  
Долг перед Богом? Совесть? Ремесло?  
Всё ль это вместе — помысел о смерти?  
В больнице трудно позабыть о ней.  
Во всякий миг пред чьим-то взором — вспышка.  
Стихи писала я шестнадцать дней  
и признаю, что ничего не вышло.

## II

На свете счастье есть. Нет солнца, нет мороза.  
Стерпи и не взыщи, несчастный друг, Данзас.  
Оброка отдан долг, завершена морока.  
Громоздкому труду лишь точка удалась.  
Но роза — вот, скорей возьми её, читатель.  
Покорно у себя я розу отберу.  
Всё то, на что мой лоб свой хладный жар истратил,  
известно лишь ему, бумаге и перу.  
На мысли, от каких не знала отвлеченья  
для роздыха и сна, ушёл полудекабрь.  
Лоб чтение претерпел с восторгом отвращенья.  
К тому ж вблизи бубнил экран-политикан.  
Свершённые грехи с возможными стихами  
не только рифмовать, их совместить нельзя.  
Мороз повенчан с той, столь розовой, в стакане

живущей, как она разлуку с ним снесла?  
Мой опустел талант. Так — то, что было роцей,  
погубят и спешат игорный дом возвесть.  
Пусть я поэт плохой, читатель я — хороший,  
и смею утверждать: на свете счастье есть.  
«На свѣтъ счастья нѣтъ...» — прочтёшь, уже ты счастлив.  
И роза и мороз друг в друга влюблены.  
В два голоса поют стихи Марина с Асей.  
Вперяется слеза в три четверти луны.  
Сама читатель свой и свой же собеседник,  
коль смерклось, зажило под чёлкою тавро,  
покуда жив твой век, усердьем сил последних  
попробуй объяснить: в чём счастье твоё?  
Я лишь к утру пойму, в чём смысл его сокрытый.  
Простёрт перед зрачком мой беззащитный текст.  
В сравнении со мной — подобострастен критик,  
любой, как ни суров, — лишь боязливый льстец.  
Мне помысел про смерть был полночью нашёптан.  
Живые имена пусть поцелует смех.  
Вот — Пущин, вот — Плетнёв, вот — домик, что Нащокин  
так чудно сочинил, вот — Дельвиг, прежде всех.  
В сплошной густой ночи — такая мощь оттенков  
и всякая важна подробность тишины.  
В больнице, что воздвиг для бедных Солдатёнков,  
то стоны мне слышны, то вздохи, то шаги.  
Кто Солдатёнков был? По имени — Кондратий,  
издатель книг, делец, по батюшке — Кузьмич.

Не счастье ль знать, что с ним не встретился каратель  
и не успел за то, что — добродей, казнить?  
Одиннадцатый год. Освящена больница.  
Быть бедного бедней, остаться в том году!  
Весёлая Москва гордится, не боится.

Ей некогда предзнать грядущую беду.  
Меж тем — давно пора. Вдруг автор мне наскучил.  
По прихоти его мне дела нет до сна.  
О счастье разговор, докучный и насыщенный,  
пускай он завершит, дожив до Рождества.  
Со стороны смотрю: сей бедный сочинитель  
притворствует иль впрямь юродив и убог?  
Меж небом и землёй каких незримых нитей  
распутывает он таинственный клубок?  
Зачем он возлюбил больничные уголья?  
Дозволено гулять: до замкнутых ворот.  
Как хвойно пахнет двор кануном новогодья!  
Кто врачевать спешит, а кто перо берёт.  
Кто в руки взял перо — пусть что-нибудь напишет.  
Пред белизной страниц он был всегда несмел.  
Он близко созерцал затменьё звёздных вспышек.  
Он алчности не знал, имуществ не имел.  
Пусть по земле бредёт — опрятно пусторукий,  
склонившись по пути пред скорбною старухой,  
пусть слушает наказ: миг бытия воспой.  
Он плачет, услыхав: — Храни тебя Господь.  
Утешен ли ему благой присмотр небесный?  
Как был он изнурён — не в эти дни, а в те —  
предчувствием больших неотвратимых бедствий.  
Что сбудется оно, узнают вскоре все.

*Декабрь 1999 года, август 2000 года*



## ГЛУБОКИЙ ОБМОРОК

### I. В Боткинской больнице

Как если бы добрейший доктор Боткин  
и обо мне заранее сожалел,  
предавшись Солдатёнка заботам,  
очнулся жизни новичок-жилец.

Занёсся мозг в неизвестных потёмках.  
Его надменный, замкнутый тайник  
вернул великосердый Солдатёнков  
в свои уголья — из своих иных.

Всё тот же он: доукою почёта,  
тщетою хвалы поныне не влеком,  
коль так же он о бедняках печётся,  
душе его есть воздыхать о ком.

Как, впрочем, знать? В тех нетях, где была я,  
на что семь суток извели врачи,  
нет никого. Там не было Булата.  
Повелевает тайна тайн: молчи!

Пульт вен и пульсов всё смешал, всё спутал.  
В двух полушарий холм или проём  
пытался вникнуть грамотей-компьютер —  
двугорбие дурачилось при нём.

Возглавье плоти, гость загадки вечной,  
живёт вблизи, как нелюдим-сосед,  
многоучёный, вежливый с невеждой,  
в заочье глядя, словно мне вослед.

Его попытка затесаться в луны —  
примерка? примирения пример?  
Ему вторженья в глушь небес не любы.  
Он выше был. Он изучил предмет.

Не ровня мы. Он истязаньем занят:  
внушать вискам неравновесья крен.  
Он прав. На грех делиться крайним знаньем  
запрет наложен, страшно молвить: Кем.

Мозг — не сообщник помыслов о мозге.  
Ниспосланную покидать кровать —  
чрезмерно, как вздыматься на подмостки  
иль в браконьерах Марса пребывать.

Заняты уст — то пища, то зевота.  
Но им неймётся, им препона есть  
обмолвиться, как высший миг зовётся:  
стерпеть придётся, но нельзя воспеть.

Бел белый свет. Бела моя палата.  
Темнеет лоб, пустынен и угрюм.  
Чтоб написать: «...должна быть глуповата»,  
как должен быть здоров и строен ум.

Мой — не таков. Неодолимой порче  
подверг мой разум сглаз ворожей.  
Но слышится: а ты пиши попроще.  
...И дух смиренья в сердце оживи...

## II. Отступление о Битове

Когда о Битове... (в строку вступает флейта)  
я помышляю... (контрабас) — когда...  
Здесь пауза: оставлена для Фета  
отверстого рояля нагота...

Когда мне Битов, стало быть, всё время...  
(возбредил Бриттен, чей возбранен ритм  
строке, взят до-диез неверно,  
но прав) — когда мне Битов говорит

о Пушкине... (не надобно органа,  
он Битову обмолвиться не даст  
тем словом, чья опека и охрана  
надёжней, чем Жуковский и Данзас) —

Сам Пушкин... (полюбовная беседа  
двух скрипок) весел, в узкий круг вошед.  
Над первой скрипкой реет прядь Башмета,  
удел второй пусть предрешит Башмет.

Когда со мной... (двоится ран избыток:  
вонзилась в слух и в пол виолончель) —  
когда со мной застолье делит Битов,  
весь Пушкин — наш, и более ничей.

Нет, Битов, нет, достанет всем ревнивцам  
щедрот, добытых алчностью ума.  
Стенает альт. Неможется ресницам.  
Лик бледен, как (вновь пауза) луна.

Младой и дерзкий опущу эпитет.  
Сверг выюгу звуков гений «динь-динь-динь».  
Согласье слёз и вымысла опишет  
(всё стихло) Битов. Только он один.

### III. Послесловие к I

Прочла я бредни об отлучке мозга.  
(Исподтишка мозг осмеял листок.)  
Где бы моё отсутствие ни мёрзло,  
вновь бытия порозовел восток.

Никчемн мой исповедальный опус:  
и слог соврал, и почерк косолап.  
Что он проник в запретной бездны пропасть —  
пусть полагает храбрый космонавт.

Какого знания мой взлёт набрался,  
где мертвенность каникул проводил, —  
сокрыто. Не прощают панибратства  
обочины созвездий и светил.

Добытое заумственным усилием  
надзору высших сил не угодит.  
Словам, какими преподобный Сирин  
молился Богу, внял ещё один —

любви всепоцелуйная идея,  
зачем он так развязно не забыт?  
Как страшно близок день его рожденья!  
Что оскорблён — ужасней, чем: убит.

«Пустынники и девы непорочны»  
не отверзают попусту уста.  
Их устыдясь, хочу писать попроще,  
предслыша, как поимка не проста.

В больничной койке, как в кроватке детской,  
проснуться поздно, поглядеть в окно,  
«Мороз и солнце, — молвить, — день чудесный»,  
и засмеяться: съединил их кто —

не ведает девчонка-санитарка,  
сама свежа, как солнце и мороз,  
которые так щедро, так недавно  
ей суждены надолго, но поврозь.

Солнцеморозным личиком любуюсь,  
читаю в нём доверье и вопрос.  
Что плох мой стих — забуду, в нём забудусь,  
как девочка, он беззащитно прост.

Лишь гению звериному не в новость  
ничто не принимать за простоту:  
и краткое забвение должно быть  
настороже, на страже, на посту.

В целебном охранительном постое  
жизнь тайно длит и нежит свой недуг.  
Писать и знать: всё прочее — пустое,  
не спать в ночи, снотворный яд надув.

Ещё меня ласкала белостенность,  
сновал на белых крыльях п е р с о н а л.  
Как мне безгрешной радости хотелось!  
Мне — долгий грех унынья предстоял.

В отлучке бывший — здесь он или там он,  
зачем он мне? Скончанье дня отбив,  
мороз — стал холод, солнце смерклось в траур.  
Сердцебиенья и строки обрыв.

#### IV. Посвящение вослед

*Галине Васильевне Старовойтовой*

Вот так всё было: как в поля и рощи  
в больничный двор я отсылала взор,  
писать желая простодушно проще,  
но затрудненье заключалось в том,

что разум истерзало измышление  
о нём же — он иначе не умел.  
Затылка сгусток, тягостный для шеи,  
пустым трудом свой усложнял удел.

И слабый дар — сородственник провидцев.  
Мой — изнемог и вовсе стал незряч.  
Над пропастью заманчивой повиснув,  
как он посмел узнать, а не предзнать?

Нет, был в нём, был опаски быстрый промельк —  
догадок подсознания поверх.  
Мой организм — родня собакам — понял,  
почуял знак, но нюх чутья отверг.

Отверг — и мысль не утенила вечер,  
когда висками стиснутый мотив  
наружу рвался, понуканьем вещим  
мой лоб не запрокинув для молитв.



Вдруг — сосланный в опалу телевизор  
в стекле возжёт потугосторонний свет.  
В нём — Петербург, подъезд, бесшумный выстрел.  
Безмолвна смерть и громогласна весть.

Зрачков и мглы пустыня двуедина,  
их засухе обычай слёз претит.  
Дитя и рыцарь мне была родима.  
Сквозил меж нами нежности пунктир.

Мы виделись. Последний раз — в июне.  
От многословья, от обилья лиц  
мы, словно гимназистки, увильнули,  
к досаде классной дамы — обнялись.

Рукопожатье и объятие — ошупь  
добра и зла. Не спрошенный ответ  
встревожит кожу, чей диагноз точен:  
прозрачно-беззащитен человек.

Как близко то, что вдалеке искомо:  
ладонь приветить и плечо задеть.  
(Сколь часто обольстительна истома:  
податель длани — не вполне злодей.)

Там, сторонясь лукавств и лакомств зала,  
где обречённость праздновала власть,  
она мне так по-девичьи сказала:  
— Я вышла замуж... — Поздравляю Вас! —

Никчёмной обойдясь скороговоркой,  
пригубила заздравное питьё.  
А надо бы вскричать: — Святой Георгий  
(он там витал), оборони её! —

По-девичьи сказала и смутилась.  
С таким лицом идут в куртины, в сад.  
В ней юная застенчивость светилась,  
был робко ласков и доверчив взгляд.

Разросся миг: незвано и нехитро  
глухой мне возмерещился уезд:  
шаль потеплей и потемней накидка,  
и поскорее — прочь из этих мест!

Тогда ли промельк над-сознания понял,  
что страшно вживе зреть бессмертный дух?  
Ещё страшней, что счастье и подвиг —  
и встретятся, да вместе не пойдут.

Подсказке упомянутой опаски  
заране проболтаться было жаль.  
С колечком обручальным — в лютой пасти  
возможно ль долго ручку продержать?

Срок предрешённый загодя сосчитан.  
Заманивать обжору калачом  
иль охранять сверканьем беззащитность —  
мишень зазывна, промах исключён.

Что с отомщеньем разминётся нечисть —  
мне скушно знать, не интересно знать.  
Занятие и служба сердца — нежность,  
ей недосуг возмездье призывать.

Июньский день любовью глаз окину  
из пустоты моих декабрьских дней.  
Услышит ли, когда её окликну?  
До сей поры я льну и лащусь к ней.

Смерть — торжеству собратна, соволшебна.  
Избранника судьба не истекла.  
Сюжет исполнен стройно, совершенно,  
и завершён — как гения строка.

## V. Сюжет

В году родившись роковым,  
не ведает младенец скромный,  
что у рожденья приговор —  
близнец и спутник даты скорбной.

Не все ли сделались мертвы,  
не все ли разом овдовели,  
пока справлял разбой молвы  
столетний юбилей Дуэли?

Едва зрачок возголубел  
дитяти розных одиночеств,  
кто населяет колыбель —  
уже разглядывал доносчик.

Сей дружелюбный душегуб —  
всей жизни страж и раб послушный,  
коль самого не пришибут  
за леность иль на всякий случай.

Растёт, глядит на белый свет  
избранник ласки коммунальной.  
Редее теснота соседств —  
их поглощает мрак фатальный.

Гнушаясь дребезгом кастрюль,  
в ту комнату, где жил покойник,  
внедряет скрытный свой костюм  
почти или уже полковник.

Война. Под вой сирены — бег  
в аид убежища. Отлучка —  
не навсегда ли? В новость бед  
влачится хладная теплушка.

Дитя умрёт. Его польют  
живой водой, вернут обратно.  
Над Красной площадью — салют.  
Победа: слёзы и объятия.

Всё хорошо. Но пионер  
измучен измышлённым знаньем  
о том лишь, как страдает негр,  
хлыстом плантатора терзаем.

Подросток впущен в комсомол.  
Его созвездье — кроткий Овен,  
но физкультурник-костолом  
его к Бэ-Гэ-Тэ-О готовит.

Он не готов. Во тьме ночей  
он призрак Вия видит в окнах.  
Вот избиение врачей  
на школьниц пало чернооких.

Всё гуще, всё мрачней сюжет,  
его герой иль сочинитель —  
должно быть, родом из существ,  
кто иль злодей, иль небожитель?

Иль некто третий — кто он есть?  
Его душа вздохнуть способна,  
и высшей милостью небес  
он уцелеет, он спасётся.

Он помышляет об одном:  
сокрывшись в тайных упоеньях,  
как долго он живёт в родном  
краю убийц и убиенных.

Как много он извёл свечей  
тщетой полночного раденья,  
с опаскою предзная: Чей  
грядёт двухсотый День рожденья.

Но сердце изнурять тоской  
неутолимой, ежеденной —  
зачем? Всё сказано строкой,  
воспевшей д у б у е д и н е н н ы й...

## VI. Мгновенье бытия

*На свете счастья нет...*

Нет счастья одного — бывает счастлиих много.  
Неграмотный, — вдруг прав туманный афоризм?  
Что означаешь ты, беспечных уст обмолвка?  
Открой свой тайный смысл, продлись, проговорись.

Опять, перо моё, темным-темно ты пишешь,  
морочишь и гневишь безгрешную тетрадь.  
В угодиях ночей мой разум дик и вспылчив,  
и дважды изнурён: сам жертва и тиран.

Пусть выведет строка, как чуткий конь сквозь вьюгу,  
не стану понукать, поводья опущу.  
Конь — гением ноздри и мышц влеком к уюту  
заветному. Куда усидчиво спешу?

Нет, это ночь спешит. Обмолвкой, увёрткой  
неужто обойдусь, воззрившись на свечу?  
Вот — полночь. Вот — стремглав — час наступил  
четвёртый.  
В шестом часу пишу: довольно! спать хочу.

Сподвижник-кофеин мне шлёт привет намёка:  
он презирает тех, кто завсегдатай снов.  
...Нет счастья одного — бывает счастлиих много:  
не лучшее ль из них сбывалось в шесть часов?

В Куоккале моей, где мой залив плескался  
иль бледно леденел похолодания в честь,  
был у меня сосед — зелёная пластмасса —  
он кротко спал всю ночь и пробуждался в шесть.

В шесть без пяти минут включала я пригодность  
предмета — в дружбе быть. Спросонок поворчав,  
он исполнял свой долг, и Ленинграда голос:  
что — ровно шесть часов — меня оповещал.

Возглавие стола — возлюбленная лампа —  
вновь припекала лоб и черновик ночной.  
Кот глаз приоткрывал. И не было разлада  
меж лампой и душой, меж счастьем и мной.

За пристальным окном — темно, безлюдно, лунно,  
непрочной белизной очнуться мрак готов.  
Уж вдосталь, через край, — но счастье к счастью  
льнуло,  
и завтракать мы шли, сквозь сад, вдвоём с Котом.

Пригожа и свежа, нас привечала Нина.  
Съев кашу, хлеб и сыр я прятала в карман.  
Припасливість моя мелка, но объяснима:  
залив внимал моим карманным закромам.



Хоть знают, что приду, — во взбалмошной тревоге  
все чайки надо мной взреют, воскричат.  
Направо от меня — чуть брезжут Териоки,  
и прямо предо мной, через залив, — Кронштадт.

Я чайкам хлеб скормлю, смущаясь, что виновна  
пред ненасытной их и дерзкой белизной.  
Скосив зрачок ума, за мной следит ворона —  
ей не впервой следить и следовать за мной.

Встреч ритуал таков: вот-вот от смеха сникну..  
— Вороне как-то Бог... — нет, не могу, смеюсь,  
но продолжаю: — Бог послал кусочек сыру —  
и достигает сыр вороньих острых уст.

Налюбовавшись властью её громоздкой статью,  
но властью не угостив, скольжу домой по льду.  
Есть в доме телефон. Прибавив счастье к счастью,  
я говорю: — Люблю! — тому, кого люблю.

Уже роялей всех развеялась дремота.  
Весь побережный дом — прилежный музыкант.  
Сплошного — не дано, а кратких счастлих — много,  
того, что — навсегда, не смею возалкать.

Так помышляла я на милом сердцу свете.  
Согласно жили врозь настольный огонь и тьма.  
Пока настороже живая мысль о смерти,  
спешу благословить мгновенье бытия.

## VII. Отступление о Носиде

В Элладе рождена, в Калабрии жила,  
где citrusовых кущ не ведают соцветья,  
что значит: флёрдоранж? Афин ворожея  
изгнаннице Афин не смела дать совета:

свечу души задуть, светильник не возжечь,  
не искушать жрецов, проклятий не накликачь.  
Не Носидэ ль свечой очнулась вдруг вот здесь,  
где принято ссылать в смерть иль в смертельный климат?

Тысячелетий срок для Носидэ моей  
не слишком ли велик? Теплыни и чужбины  
на хладном берегу двоюродных морей  
легко ль тоску сносить? — О, лучше бы убили! —

так Носидэ грустит и видит ход ладей,  
как весть Эгейских вод, вдали белеет парус.  
В папируса тайник, сокрытый от людей,  
свирепых любопытств заглядывает праздность.

В убежище своём так тщательный моллюск  
вотще спасает жизнь, столь нужную ему лишь.  
Как жемчуга ловец, не я ль сейчас ломлюсь  
в сокровища чужих и лакомых имуществ?

Долг Носидэ — иметь лишь песнопенье уст.  
Мотив всегда один: — О, где моя Эллада!  
Где тот, кто мной любим! Зачем мой чёлн так утл! —  
Стенанье продолжать не смею, и не надо.

Мой простодушный грех свечою не прощён.  
Склонив её к воде, я пристально гадала:  
в честь Носидэ зачем меня ласкал почёт  
в прельстительном краю, где Носидэ страдала.

Меж рознями времён мерцает связь родства:  
и властелин гневлив, и пифии злорадны.  
В Москве я родилась, в Москве произросла,  
но бредит ум ночной, что изгнан из Эллады.

На родине моей я родину зову,  
к её былому льну неуголимым взором.  
Там сорок сороков приветствуют зарю,  
народ благочестив, и храм ещё не взорван.

Как Носидэ во сне родную видит даль,  
так я люблю гостить в открытке стародавней,  
где нежиться дано моей до-жизни дням  
в соседях с голубком над кружевной дамой:

уклончивой руки и влюбчивых усов  
сусальная давно поблекла позолота.  
Здесь неуместна весть Эгейских парусов,  
и Носидэ моей свече не отзовется.

Что умыслом своим ваяет стеарин,  
как Фидий повелел и возбранил Овидий?  
Свеча, а не строка, иссякнув, сотворит  
ей заданный урок, чей смысл не очевиден...

## VIII—IX. Прощание с капельницей

Помышление о Кимрах

Была звана в Милан или в Париж —  
уже не помню. Краткий Баден-Баден  
мне предстоял. — Эй, что ты говоришь? —  
вскричал далёкий отрицатель басен.

Не взыщут пусть гордыни казино.  
Обитель, что затеял Солдатёнков, —  
с азартом измышлений заодно.  
Мой выигрыш — трофей кровоподтёков.

Что делать, если вены таковы.  
Стан капельницы — строен и забавен.  
Вдали от суеты и толкотни  
я пребываю. Чем не Баден-Баден?

Приют мой, впрочем, Боткинским зовут.  
Его уклад навряд ли схож с курортом,  
не знающим: как сладостно зевнуть  
устам усталым в отдыхе коротком.

На воле жить — тяжеле и больней.  
Вот — капельница надо мной склонилась.  
Я возлежу и думаю о ней,  
превозмогая лень и сонливость.

Она легко и ладно сложена.  
(Издалека на ум приходит Эйфель.)  
Отведав смерти, внове я жива,  
хоть смущена запретной тайны эхом.

О капельнице речь. Её капель,  
длясь, орошает слабые запястья.  
Её прохладе свойственно кипеть.  
Чу! чем-то чуждым организм запасся.

Так, прибыли заздравной не узнав,  
я в строй сооружения вникала:  
то мне оно казалось при усах,  
то в белокурых локонах металла.

В Тарусе я дружила со столбом —  
давно воспет и назван: «мой Пачёвский».  
Теперь воззрилась слабоумным лбом  
на механизм с усами иль причёской.

Болезнь — для вольных вымыслов предлог.  
Я с капельницей накрепко сдружилась.  
Приму её, когда она придёт,  
за существо, за родственную живность.

Одушевив предписанный прибор,  
забыв пиров объятия и козни,  
пьёт плоть моя медлительный прибор  
чего — не знаю, кажется — глюкозы.

Я прожила былые времена,  
как обречённый гонщик мотоцикла.  
Догнав меня, смиренную меня  
прощает и лелеет медицина.

Любуясь апельсином, налитым  
Италии теплом, затылок вспомнил:  
чтоб ублажить целебную латынь,  
плод, ей в угоду, не назвать ли: romum?

Помпезным словом плод за то хвалим,  
что он питает зренья ненасытность.  
Помнилось мне, что помыслам моим  
откликнулся — и засмеялся цитрус.

Люблю мою со всем, что есть, игру  
за тайный смысл, за кроткие приветы  
намереню вонзить в меня иглу —  
пусть нехотя ей поддаются вены.

Бег бодрой лени шаловлив и быстр.  
Пока источник капель серебрится,  
как просто: всех и поровну любить,  
в чём много выгод и немало риска...

...Но вот что странно: умыслом каким  
все сёстры, все сиделки, санитарки,  
как сговорившись, прибыли из Кимр.  
Приятно, но загадочно, не так ли?

Старинный, досточтимый городок,  
прилежный прихожанин и сапожник,  
привнёс сюда особый говорок  
и с милосердьем белизны сомножил.

Восславить Кимры мне давно пора.  
Что я! — иные люди город знали:  
он посещаем со времён Петра  
царями и великими князьями.

Ещё имевший звание села,  
привык он к почитанию, к поклонам.  
И вся Россия шла, плыла сюда,  
и двигался из дальних стран паломник.

Две Тани, Надя, Лена — все из Кимр.  
Вздор — помышлять о Крыме иль  
о Кипре.

Мы целый день о Кимрах говорим.  
Столицей сердца воссияли Кимры.

Но ныне Кимры — Кимрам не чета.  
Не благостны над Волгою закаты,  
и кимрских жён послала нищета  
в Москву, на ловлю нищенской  
зарплаты.

Безгрешный град был обречён грехам  
нашествия, что разорит святыни.  
Урод и хам взорвёт Покровский храм,  
и люто сгинет праведник в пустыне.

О капельнице речь. Я отвлеклась.  
Знакомы с ней две Тани, Надя, Лена.  
В подательницах пищи и лекарств  
пригожесть Кимр спаслась и уцелела.

Я позабыть хотела, что больна,  
но скорбь о Кимрах трудно в сердце  
прятать.

Кладбищенская церковь там была  
и называлась: «Все скорбящих радость».

В том месте — танцплощадка и горпарк,  
ларёк с гостинцем ядовитой смеси.  
Топочущих на дедовских гробах  
минуют ли проклятье и возмездье?

Начав за здравье, вдруг за упокой  
строка строке перечит, вдаль ведома:  
смешать в сусеке рифмы запасной  
рододендрон с наитьем радедорма.

Незванный отошлю рододендрон  
краям, изъятым из моих мечтаний.  
На тумбочку положен радедорм  
тайком меня перекрестившей Таней.

Больничная свобода велика:  
как захочу — смеюсь или печалюсь.  
Зачем я Кимры в бредни вовлекла?  
Я с капельницей плачущей прощаюсь.

Сестёр усталых светятся посты.  
Прощание созвучно полонезу.  
Я напоследок говорю: — Прости! —  
постели, табуретке, полотенцу,

подушке мыслей и дремотных нег,  
пустой тарелке с ротиm'а огрызком.  
В мотиве слов двусмысленности нет,  
они не виноваты пред Огиньским.

В ночи мой почерк прихотлив, заядл.  
Но всё-таки — какая одинокость:  
«Скорбященским» кладбищем ум занять  
и капельницы славить одноноготь.



Привыкнув жить внутри, а не вовне,  
страшусь изведать обитаний разность.  
Я засыпаю. Сплю уже. Во сне  
ко мне нисходит «Всех скорбящих радость»...

## Х. Больничные шутки и развлечения

Судьба моя, за то всегда  
благодарю твой добрый гений,  
что смеха детская звезда  
живёт во мгле твоих трагедий...

БА

Я дорожу моим уединеньем,  
к бумаге чаще, чем к подушке, льну,  
улаждена визитом ежедневным,  
который я так молодо люблю.

Мне вчуже посетители иные,  
все — вестники застенной суеты.  
Скучает овощ, и цветы изныли,  
хоть я прилежно пестую цветы.

Зачем дитя, корреспондент, малютка  
с утра звонит: — Я нынче к вам приду?—  
Так рвётся гость в укрытие моллюска —  
свежо и остро пахнет он во льду.

Виновна пред избранницей небесной  
незваность шутки, стольких болей средь.  
Но чужаку не след якшаться с бездной,  
где в пристальных соседях — жизнь и смерть.

Дик, в нетях сущих, помысел о славе.  
Я прихожусь лишь Кимрам знатоком,  
и жизнь сестёр, что мне родимы стали,  
бесслёзно я оплакала тайком.

Всем искренним упрёкам и наёмным  
заране внемлю и не возражу.  
Я, сострадав бедствиям народным,  
в сторонней благодати возлежу.

Стыжусь, приемля милость, пищу, ласку,  
пока невзгод события бурлят.  
Но волоку ниспосланную лямку —  
в незримость груза впрягшийся бурлак.

Пусть ноша бесполезна и ничтожна,  
натружен ей радивый горб спины.  
Кровать и жар светильника ночного  
помещены среди большой страны.

Нужна ли Кимрам блажь ночных приветствий?  
Негоже мне возмыть в чужую высь:  
в палате, как в Карабихе прелестной,  
вослед страдальцу: «Выйди на Волгу», — взвыть.

Смысл — тише, чем объявленная мука,  
мятежных дней двоякий беспросвет,  
заманчив звук, недомоганье мутно —  
того, чей адрес: Лиговский проспект.

Не затаясь в посмертии укромном,  
в учебниках уныло уцелев,  
он подлежит укорам, я — уколам,  
покорный и смешливый пациент.

Что боязлива, непрочна и смертна  
родная плоть, — осмыслен мной вердикт,  
но прибыль, прихоть, или придурь смеха  
взбредает в ум и почерку вредит.

Я возлюбила санитарку Таню.  
К восьми часам успев прибыть из Кимр,  
она всегда мне поверяет тайну:  
всё — вдребезги в дому, всё — вкось и вкривь.

То — грохнулось приданое сервиза,  
своею волей быть не пожелав.  
Супруг Татьяны не посмел сердиться:  
им повреждён фарфоровый жираф.

Красавец пришлый, свадебный подарок,  
он в Кимрах шею упасти не смог.  
Мне жаль его, но образ мужа ярок:  
добр и пригож сапожник без сапог.

Сегодня — дети дедовскую чашу  
раскокали о мыльный водоём.  
Я говорю ей: — Таня, это к счастью!—  
Вздыхаем и смеёмся с ней вдвоём.

И впрямь — очнётся Волга соловьями,  
в сад джинсы мини-юбку пригласят.  
(Степанов-дед учён был Соловками,  
но в Кимрах принял крайний час услад.)

Бумаги кроткой понимаю просьбу:  
остановись! Остановлюсь вот-вот,  
но как мне скрыть, что Таня кошку Фросю,  
для форсу, Табуреткиной зовёт.

В раздолье вздора, с лампою совместно,  
взгрустну по Волге, по снегам, по льду.  
Все Кимры, и Степановых семейство,  
и кошку именитую люблю.

Но тот, чьего так жадно жду визита,  
хоть приголубит, всё же укорит:  
с такую чужью мыслимо ль водиться?—  
Как быть! Проказлив пересмешник рифм.

Недельной смерти я сдала экзамен,  
престиж велит искать утех простых.  
Поэт, что второгодниками знаем  
и скрытен столь, вдруг шуток не простит?

Дней, что — вовне, опаскою терзаюсь.  
Прощай, мой Боткин, устали не знай.  
Отряхиваюсь, как спасённый заяц.  
Спасибо, сердобольный друг Мазай.

## XI. Возвращение

Прощаюсь я с белеющей больницей.  
Мне трудно тело отодрать и жаль  
от вмятины постели, соблазлившей  
меня почётным правом возлежать.

Ужель нырну, покинув прочный берег,  
плохим пловцом в громокипенье волн?  
Меня качает. Ум плывёт и бредит:  
где цель моя? Мне объясняют: вот.

Я узнаю инкогнито проспекта:  
оно опровергает Петербург  
и допевает песенку, что спета,  
пространность к Ленинграду протянув.

Неопытную поступью нетвёрдой  
дом нагоню, чей номер: двадцать шесть.  
Лифт опознаю и этаж четвёртый.  
Осталось вспомнить: для чего я здесь?

Я озираю, после шторма улиц,  
квартиры чужеродный континент.  
К окну синицы сразу потянулись —  
сердечкам их не дам окоченеть.

На стул вздымаюсь, опасаясь выси,  
подсолнечный им насыпаю корм.  
Предметы вчуже спрашивают: — Вы ли  
когда-то населяли этот кров?

Пожалуй, я, и, кажется, недавно.  
Как быстро стёрся мой прозрачный след  
в столь близком прошлом, в будущем — по давню  
остаться тенью помысел нелеп.

Не признана беспамятством халата,  
надела не взаимный холодок.  
То ль я ему казалась плоховата,  
то ль он, в шкафу сиротствуя, продрог.

Все вещи существуют самовольно,  
смирить их супротивность нелегко.  
Не почитать ли книжку Сименона?  
Нет, даже это слишком велико.

Окликнула журнальная красotka —  
владычица, должно быть, многих снов.  
Вникая слабоумьем в суть кроссворда,  
узнала: вовсе я не знаю слов.

Уж смерклось к ночи. Я — ещё младенец,  
что не освоил новость леденца.  
Моей бумаги листья разлетелись.  
Но как мне быть? Мне дела нет до сна.

Нет мне спасенья, нет мне воскрешенья,  
греховно стынет немота души.  
Но слышу осторожность возраженья:  
покаялась — и дале не грешу.

Утешусь властью ниспосланной годиной:  
читать окна морозную финифть,  
страшась пера опасною гордыней  
страницу ранить или осквернить.

Перо — самоуправно, самовластно,  
как страсть его к бумаге превозмочь?  
Покуда мозг страдал и сомневался,  
синела и ослабевала ночь.



## ХII. Ночь до утра

*Борису Мессереру*

Мои владенья — ночь. Она сильнее бывала  
в Тарусе неземных и кропотливых зим.  
Куоккалой моей пресыщена бумага,  
в ней Сортавалы дух черёмуховый зрим.

Мне родина — Москва, мне горько удаление  
от дома, от родной чужбины пустяков.  
Покинутость детей, и дружб разъединенье,  
и одиночеств скит — вот родина стихов.

В уют они нейдут, ни исподволь, ни явно,  
обычай — быть, как все, зло осмеяв обман —  
всегда настороже и поджидают Яго  
ревнивей и черней, чем простодушный Мавр.

Им стопор всех препон — лишь рытвина  
иль кочка,  
им надобен обрыв: над пропастью вздохнуть,  
на терниях пути оставив кожи ключья.  
Рассеян, нелюдим их путь, как Млечный путь.



### ХIII. Закръгтие тетради

Объявлена открытием тетради  
о т л у ч к а — лучше б угаить: чего.  
Луны наитъя длились и терзали  
чело, что слепо ей подчинено.

Признается последняя обмолвка:  
как ни таись, герой сюжета — мозг.  
Коль занят он лишь созерцаньем мозга,  
он должен быть иль гений, или монстр.

Он — нечто третье, но ему не спится.  
А тут ещё мне задали урок:  
продолжить миф об участи Нарцисса.  
Луна менялась. Приближался срок.

Я думала, что выручит повадка:  
поскрипывать пером о сём, о том,  
не помня, где Эллада, где палата,  
плеча одев в халат или в хитон.

Снега равнины сирые покрыли,  
Афин виденье — ярче и вольней.  
Перед луной равны больница, Кимры,  
строй пропилей, огни панафиней.

Пан искушает тростником свирели,  
и юноша не поднимает век:  
так Афродиты нежности свирепы,  
что нимфу Эхо грубо он отверг.

Не так ли мозг вникает в образ мозга?  
Ему внушаю: мученик Нарцисс,  
превысить одиночество возможно:  
забудь себя и сам себе не снись.

Он мне не внемлет. Боле — никого здесь.  
Не ведая — темно или светло,  
в себя он смотрит, как в глухой колодезь,  
пытает отражение своё.

Что знать он хочет — мне о том не скажет.  
Лишь намекнёт: как мне скушны вы все! —  
де, некогда мне объясняться с каждым.  
Меж тем мы с ним — пусть в дальнем, но в родстве.

Среди больничных греческих урочищ,  
измучив зреньем свой же водоём,  
красавец видит вдруг, что он — уродец,  
и вчуже сожалею я о нём.

Его юдоль ущербна и увечна:  
латыни нет в зиянии прорех,  
и греков речь не изучил невежда,  
хоть и похож на грецкий он орех.

Но почему моей ладонью алчной,  
коль попросту и попусту я лгу,  
утайку драгоценности невзрачной  
поглаживаю в утомлённом лбу?

Я завершу, поймав себя на слове,  
мои ли измышленья, иль ничьи.  
Цветов прохладных и прощальных слёзы  
как будто сами возросли в ночи.

Прискучило мне сочиненье это.  
В окне синее хрупкой вести рань.  
В угоду безутешной нимфе Эхо  
я затворяю долгую тетрадь.

#### **XIV. Невольные прегрешения в ночь на 25 декабря**

В честь Рождества затеплилась лампада  
пред Девой с Младенцем на руках.  
Я за столом пирую, это правда:  
стол празднества — в моих черновиках.

Крещусь в испуге: мысль моя греховна,  
в даль от ума неправедно ушла.  
В ночи блистая, как светла Европа!  
Как в эту ночь чужбина мне чужда!

Но не совсем, меж нами нет разлада.  
Прости, Младенец, Девы на руках.  
В сей час меня провела Эллада,  
мы с ней — в сторонних, до-Твоих веках.

Кошунствовать страшусь и каюсь снова:  
мне Пан явился (он же — римский Фавн).  
Но всё это — до Рождества Христова.  
Лампада, не внимай моим словам.

Тем более что до священнодействия  
мой край томим отдельною судьбой.  
Явленье осиянного Младенца  
восславит он в день января седьмой.

Перо моё, грехи, пиши пропало,  
пребудь ночного пиршества вождём.  
Мы думаем про странный облик Пана,  
что нимфою Дриопою рождён.

Отвергнут сын испуганной Дриопой:  
отпрянула — наотмашь, наотрез.  
Какое счастье, что отец дородный —  
Гермес — ребёнка на Олимп отнёс.

Узрев дитя, возликовали боги:  
нечасто появляются на свет  
дитяти, что прельстительно двуроги  
и козлоноги — ожиданий сверх.

Достанет и для греков, и для римлян  
улады дивной: любоваться им.  
Он вырастет весёлым, пышногривым,  
его возлюбят хороводы нимф.

Возглавившему свиту Диониса  
дано — дразнить, швырять дары щедрот.  
Дразнить — смешно, опасно — додразниться:  
ни там, ни здесь не спит Амур-Эрот.

Пан уязвлён стрелою, не сравнимой  
с другим оружием. Пан и впрямь пропал:  
он за прелестной нимфою Сирингой  
по легковесным гонится пятам.

Лишь ту! Ату! Плачевна жертвы участь:  
страшна ей страсть грядущих Казанов.  
Спасите, боги, нимфы детский ужас:  
её ловец — рогат и козлоног.

Несчастливая бежала и молилась,  
не ведая, как далеко грустит.  
Сбылась непрекаемая милость,  
бегунью обратившая в тростник.

Не горше ль это, чем объятья Пана,  
в которые — Олимп велик и прав! —  
растеньем целомудренным упала  
избранница? И — разрыдался Пан.

Как быть страдальцу? Лишь волшебным средством  
уймёт он боль — о, только бы скорей!  
Нож был при нём. Он нежный стебель срезал,  
и просверлил, и сотворил свирель.

Он чужд земным красавицам и свахам:  
при солнце утра и когда дождит,  
пьёт с Дионисом (если в Риме — с Вакхом),  
пасёт стада и в дудочку дудит.

И тот, и этот добрый долг исполнив,  
как будто не печалась ни о чём,  
Пан (он же Фавн) вкушает отдых в полдень,  
посмевший тронуть — гневу обречён.

Он мной любим — рогастый, козлопятый.  
Склонюсь перед невинным тростником.  
Всю ночь на день декабрьский двадцать пятый  
Пан в дудку дул и веял сквозняком.

Со снегопадом спелись невпады,  
стадами дум пестрела голова.  
Я верую в прощенье лампы:  
власть благодатной ночи такова.



Власть нагулявшись, засыпаю в полдень.  
Все отдыхи иные — на костре.  
Моих причуд судья суровый понял,  
что проще дать мне пребывать во сне.

Мой миф послеполуденный согрели  
то ль сами боги, то ли сонмы слуг.  
Всю жизнь я жду веления свирели:  
вдруг сжалится и мой окликнет слух...

## **XV. Жалобы пишущей ручки**

— Не хочу я писать про Нарцисса и Пана,  
краткость сил расточая на вздор небылиц.  
Без меня — где была ты? — Да так, выступала.  
— Это лишнее! — Знаю. Прости и не злись.

Что касается мной учиняемых вздоров —  
ты права, их приспешница, — их обвинив.  
Наипервый читатель, который мне дорог,  
так же думает. Что говорить о иных!

Вчуже — жаль беззащитно отверстой страницы:  
кто её осмеёт и упрёк повторит?

— Жаль меня! Про огни новогодней столицы  
сочини что-нибудь, это — твой панталык.

— Я бы рада, но крах изгоняемой ёлки  
помнишь ли? Я накликала горе строкой.

— Мне ль забыть, как зловещи писаний итоги,  
всё ты путаешь здравие и упокой.

— Кстати, вот что, подруга сидений понурых,  
я вспомнила вместо заздравных речей:  
гибель ёлки, и то, как один из Гонкуров  
описал распродажу в квартире Рашель.

Братом страшно покинут, он брёл по Парижу.  
Умерла, а была навсегда молода  
та, чьи вещи теперь предъявлял нуворишу  
выжидающе-скаредный стук молотка.

Сникли шлейфы усталые, перья поблёкли  
шляп её знаменитых и пышных боа —  
словно ёлки отверженной мёртвые блёстки  
на помойке, — давно ли прекрасна была?

— Вот опять, — продолжается ручки стенанье, —  
смысл уходит в окольную тёмную щель.  
Мой удел — поспешать и предстать письменами,  
но при чём здесь Гонкуры, при чём здесь Рашель?

— Я о них вспоминала во мгlistом Париже,  
где нездешне сияли огни Рождества.  
Но сейчас их значенье — роднее и ближе,  
меж сиротствами всеми есть тайна родства.

Вот и вздумалось: образ обобранной ели  
близок славе любой. Простаку невдомёк  
что — непрочный наш блеск, если прелесть Рашели  
осеняет печальный и бледный дымок?

Вновь увидеть, как ёлка нага, безоружна:  
отнят шар у неё, в стужу выкинут жар —  
не ужасно ль? — Не знаю, — отвечает ручка, —  
не моё это дело. Но мне тебя жаль.

## XVI. Предпроводы ёлки

Уходит год стремглав, и вместе — жизнь уходит.  
Что — лето! Лбом забыт припёк его жары.  
И вот, среди двора заснеженных угодий,  
декабрь, словно дитя, катится вниз с горы.

Снег достигает щёк утешно и целебно.  
Боязнь души спешит снежинки дар ценить.  
И ёлки Рождества мне грустно воцаренье:  
всевечен, кто рождён, недолог блеск цариц.

Ель в дом заточена, как вольный зверь в питомник.  
Меж тем её уже венчают на престол.  
Ей, в общем, всё равно: Орлов или Потёмкин,  
томит соблазн — на дверь им указать перстом.

Опять одна займусь её огней дрожаньем.  
Жаль — Дашкова горда, вдали, в опальной мгле.  
Где сладостный певец, строптивый где Державин?  
Не слишком ко двору? Но Тредьяковский где?

Ужели отслужу зловещему велению  
владычицу мою сопроводить во смерть?  
Заброшены дела, как и письмо к Вольтеру.  
Мне траура по ней не снести и не воспеть.

Есть Новый год второй, и есть другая ёлка —  
пока наследный принц, чей нелюдим чертог.  
Его звезда взойдёт, но лишь удушье шёлка  
со зла ему сулит крещенский вечерок.

Придворный лебезит припляс кордебалета,  
но замка тишина — опасна и пьяна.  
Сообщник мятежа, готовлюсь раболепно  
оплакать скорбный прах, когда придёт пора.

Румянит шоколад ребячьих щёк прыщавость.  
Затейник Дед-Мороз наряжен в зной прикрас.  
Я с древом-божеством, всерьёз скорбя, прощаюсь:  
а вдруг на этот раз прощусь в последний раз?

Но ель ещё в цвету, свежи её гирлянды,  
ещё резва игра гаданий и шарад.  
Глаз — фонари её допросит: впрямь горят ли,  
дознается: каков смысл, заданный шарам.

Грядущего вблизи, с предчувствием особым,  
я думаю о Том, кто уязвимо горд.  
Коль рождена в году Его посмертья сотом,  
двухсотый с чем придёт Его рожденья год?

Шум праздника страшит, и славословий клики  
ревниво слышу я: всё кажется, что врут.  
То ль поднесу цветок «Цветку», как прежде, или  
я с точностью замкну дней совершенный круг?

Накликать не хочу незнаемого часа,  
но вопрошающ взгляд, читающий луну.  
Как шар, округл объём ниспосланного счастья:  
я несомненно есмь, любима и люблю.

И тот, кто мной любим, ещё не внёс с мороза  
возлюбленную ель в пустынное жильё.  
Как будто с нею мы не существуем розно,  
заране трепещу о проводах её.

## XVII. Послание

Собрать любезный, пишете Вы плохо,  
спалив свечой всеобщные часы.  
В посланье нет ни прока, ни упрёка:  
Вы перед свечой погибшею чисты.

Заманчива бессонницы повадка  
безумствовать, пока свежа луна.  
Но сказано: «должна быть глуповата»,  
не сказано: должна быть не умна.

И ум излишен, вознесённый в заумь:  
предавшись ей, заблудший ученик  
не сможет зоркий обмануть экзамен,  
судьба вздохнёт и «неуд» причинит.

Пусть простоват и непонятлив «неуд»,  
не соразмерный с холодом спины  
и с бледным лбом, что поощряем небом, —  
свершенья неудачника смешны.

Ему смешон, быть может, кто удачлив,  
преуспеянья скушные чужды.  
Портфель с добычей он домой утащит,  
везёт: в кино родители ушли.

Один он снова при луне, при гнёте  
незримых сил, диктующих озноб.  
О ужас! Вдруг — не различимы: Гёте  
и вдохновенный мученик азов.

Забудем, впрочем, школьного страдальца,  
пусть второгодник встретит Новый год.  
Его не зря домашние стыдятся,  
вотще в ночи его прилежен горб.

Ответ не нужен. Но зачем Вам рифмы,  
унылые зияния меж строф?  
Другие разве Вам не говорили:  
их современник прихотлив и строг.

Вам надобен насыщенный, настоящий  
слов разнородных дерзновенный стык.  
Пример: по наущенью инсталляций  
освободите, растолкайте стих.

Ваш — словно спит в качалке устаревшей.  
Поверьте мне: Вам скоро надоест,  
что, обогнув ухабы ударений,  
во дни былые Вас влачит дормез.

Сама пекусь о сдвиге с места, срыве  
с откоса, хоть удобна для похвал  
ко мне привыкшей, поредевшей свиты.  
Мне не дано — пускай удастся Вам.

Галеры раб — сам по себе проворен,  
в морях ли мрачных, на пустой тропе ль,  
слог должен быть беспечен и приволен.  
Мысль, что умён, — читателя трофей.



Как сладко ладить с волей глуповатой!  
Но вольничать нельзя давать строке.  
И с Музой, и с Афиною Палладой —  
погиб, кто вздумал быть накоротке.

Всегда со мной соседствует ехидно  
не знаю — кто, но внемлю, не клянчу.  
Бубнит: — Побойся Зевса! Знай: эгида  
изменчива. Твоё письмо — кому? —

Оставь меня, докучный соглядатай.  
Твоя обитель — не в моём ли лбу?  
Дай насладиться белизной летящей,  
ни ей, ни стеарину я не лгу.

Всё — блажь ночей, причуда их, загадка.  
До слабого рассветного поздна  
творится, при мерцании огарка,  
печальное признание письма.

Со спорщиком я пререкаюсь неким:  
ты думаешь, с утра шлафрок надев,  
за кофею, рассеянный Онегин  
мой станет адресат и конфидент?

Иль, сдуру впав в учёность и надменность,  
впрямь пестую собрата по перу?  
Свечу измучив попусту, надеюсь  
другую жертву заманить в игру?

Нет, ни на чьё внимание не зарюсь.  
Уже прискучив несколько семье  
и назиданий осмеяв не-здравость,  
пишу себе... Верней: пишу — себе.

## **ХВОЙНАЯ ХВОРОБА**

*Борису Мессереру*

### **I**

Мы знаем: счастья — нет, но где покой, где воля?  
В рассудке бредит дрель, чей строен диссонанс:  
дизелю влюблён в бемоль. Младенческая хвоя,  
в Крещенский вечерок печётся ль кто о нас?  
Воск воду усложнил и капает на карты.  
Что ведомо свечам и зауми зеркал?  
Ворона под окном: — Карр! Поживаешь как ты? —  
Вороний сырый глад, знать, ласки возалкал.  
Давно возлюблен мной летатель законный,  
встречались и внизу: вот — лакомая сласть.  
Эзоп или Крылов, отрину слог окольный:  
кусочек сыра есть, да нет умения встать.  
Жить — и виновной быть в убийствах, войнах, ссорах  
всемирных? Зренья дар был возвращён очам.  
— Под мышкой у тебя вскипела цифра «сорок» —  
мне Цельсий, хоть молчал, любезно отвечал.  
Сколь мой возвышен сан в угодиях укромных!  
Кровать, дозвожь хворать, ни словом не солгав,  
не учинять ногам хождения уроков,  
лежать, словно стоять, как на посту солдат,

навытяжку. Ужель я на посту заснула?  
Вот — воля, вот — покой. Одну приемлю власть  
удельных двух князей недуга и досуга.  
Ворона, пёс и кот повелевают: встать.  
Встаю... едва иду... Иеронима Босха  
творений пред зрачком очнулся вариант.

Пав из хватки рук, посуда щедро бьётся.  
— Всё — к счастью, — говорю, как люди говорят.  
Озноба кисть дрожит, лунно-морозной вязи  
растит в уме узор озонной хвои в честь.  
Спектр в дребезгах расцвёл Гусе-Хрустальной вазы,  
как радужная мысль: мгновенье счастья — есть.

*20—21 января 2002*

## II

Опускаем полгода. Сочтём юбилеем  
мой апрель и тысячелетья июль.  
Многоопытно пренебрегает елеем  
всё, что знаю: Восток, Запад, Север и Юг.

Больше: всё, что меж ними, и всё, что над ними.  
Бесполезны укрытий и глубь, и навес.  
Сотрясенья земные ужель возомнили,  
что не равновесны остратке небес?

Новых бед ненасытная пагуба ищет,  
небоскрёбов не жаль, и лачут, и святынь.  
Уготовано Царствие Божие нищим,  
кротким духом, — куда возмывать остальным?

Я полуночи жду. День июня тридцатый  
иссякает, печалиться поздно по нём.  
Высший час вдохновений, мечтаний, терзаний  
телефон свысока называет «нолём».

Лишь минута у жизни июня осталась  
и у мысли: а вдруг... впрочем, нет, не скажу.  
Наготове свечи бездыханная статность.  
Как всегда, ровно в полночь свечу возожгу.

Телефон здесь при том, что часы — не педанты,  
как хотят — так идут, а свеча на столе —  
для потачки перу и уму для подачи  
измышлений, стене — для теней на стене.

Полусумраком письменность кухни насытив,  
ночь редеет, окна дуновенья свежи.  
Лбом искательным вперившись в пламя, мыслитель  
вспомогательных две возжигает свечи.

Подаяний уму долго ждёт попрошайка.  
Три свечи Триединую чтут ипостась  
(вместе с «ижицей»). С каждым мгновеньем прощанья  
тщатся неопишное описать.

Три свечи — это явь. В чём безгрешность гаданья, —  
иподьякон не скажет, смолчит пономарь.  
Буква «ижица» ныне — сокровище Даля,  
но зачем было «ять» у свѣчи отнимать?

Мысль метафоры: власть над ни с чем не сравнимым —  
в исподлобье замкнув, до утра донесу.  
Жаль свечи, освещённой Иерусалимом,  
тридцать три таковых — давний дар к Рождеству.

Добавляем полгода к двум тысячелетьям,  
сумма — возраст июльского первого дня.  
В поминанье сирени, жасмину, черешням  
две свечи догорели, осталась одна.

Показалось: свеча что-то важное знает,  
причиняя тревожную тень потолку,  
и внезапная, внятная ощупи, наледь  
позвоночника вспять подступила ко лбу.

Не страшись! Огонь свечи помышляет о роке,  
толком чувство с предчувствием не рассудив.  
Остро-быстрый озноб — плата хвойной хворобе,  
запоздалый, как врач бы сказал, рецидив.

Одинокой свече до моих недомыслий  
дела нет: к недомолвкам ли клонит, ко сну ль?  
Цвет небес уж не сам ли творит Дионисий,  
сєднавив с приозёрною охрой лазурь?

Всё — единожды и не появится снова.  
Два мгновения вечности — не близнецы.  
Ровня им — лишь единственность точного слова,  
не умеешь — забрось твою кисть и засни.

Лепту в дело привнёс некий новый работник:  
бледной зеленью разведена синева.  
Где сошлись и расстались Кирилл с Ферапонтом, —  
скрылся там Дионисий, и с ним сыновья.

Не поспеть созерцанию за небесами.  
Кобальт гуще, чем вялое месиво слов.  
Блёкло неопишемого описание,  
неуловимого — легковесен улов.

Дождалось законное небо соседа —  
очень издали. Сены привет — от кого?  
Хрупкость мглы безымянной — явление Сислея  
по прозрачно-неторному следу Коро.

Скудных копий подёнщик, должник ореолов,  
Петербурга приток, Ленинградский проспект, —  
твой шесток. — Но над ним Михаил Ларионов  
вполтумана, вполтона содеял рассвет.

Нежно зелено-розова глубь голубая.  
Устыдятся ль её прегрешенья земли?  
Жизнь свечи, вместе с жизнью моей убывая,  
уповает на общую прибыль зари.

Ночь прошла за уклончивым словом в охоте.  
Спи, охотник, один возымевший успех:  
и не спал, но проснулся Музей на Волхонке —  
в семь цветов возбелел обнажившийся спектр.

Не считая соцветий меж-цветий, при-цветий  
и ранимого мускула цвета внутри... —  
иероглифы всех стеаринных предвестий,  
не разгадывая, со стола убери.

Сердцу цвета не быть наречённым насильно.  
Западню всех эпитетов цвет обманул.  
— Сколько времени? — у телефона спросила.  
— Пять часов, — отвечал, — сорок девять минут.

Взять у времени отпуск десятиминутный.  
Голос чей населяет устройства гортань?  
Кто сподвижник всеведущий ночи минувшей?  
Есть ли способ здороваться с ним по уграм?

Столь услужливый, вкрадчивый и бестелесный,  
как в извилистых бодрствует он проводах?  
С этой мыслью, быть может, небезынтересной,  
в шесть часов ноль минут не могу совладать.

Как любовники вечные вечной Вероны,  
цвет и свет неразъёмно на миг обнялись.  
Изумрудные отсверки хвойной хворобы  
смерклись, канули. Воздуха чист аметист.

Спелость дня — обозрима, объёмна, весома.  
Эй, счастливец! Ночные добычи сочти.  
Но зачем? Мне зачтутся заслуга восхода  
и предчувствие бедствий — длиной в три свечи.

*30 июня — 2 июля 2002*

### III

Июля первый день живописатель цвета  
как дале проводил? Он до полудня спал.  
Но всё же не совсем бесцветно и бесцельно:  
чтоб завтрак был готов, меж сном и сном он встал.

Подсвечник — пустовал. Возрадовалась кухня,  
вернувшись в здравый смысл присущих ей хлопот.  
Четыре наострив ноздри, четыре уха,  
внимательно за ним следили пёс и кот.

Хозяин их сидел за трапезою скромной.  
Обыденной поры утешен ритуал.  
Приплод черновиков, пугающе огромный,  
взор едока смущал и локоть притеснял.

Пред тем, как чай подать, кухарка досмотрела  
цвет кружки — глубоко-коричнев? скрытно-жёлт?  
— Земли Сиены в честь есть «Терра-ди-Сиена»  
порода краски, — так сказал кто чая ждёт.

Вновь озадачен он: — Цвет еле-зелен, если  
схож с еле-голубым, — ему название есть?  
— Вождь неземных цветов — Паоло Веронезе.  
Потомки — краски высь зовут: «Поль Веронез».

Что с краской сей в родстве — скромнее изумруда,  
как мох иль, как стекло, где твой цветок стоит,  
как тины тишь и глушь в усадьбе, где запруда  
недвижность вод хранит, — таков «волконскоит».

Вгляделась в слова цвет — та, что порою — повар.  
Исток её зрачка — чердак на Поварской.  
Вот — новый помышлять о хвойной хвори повод.  
Коробку красок взял владелец Мастерской.

Собаке подошёл цвет «охры золотистой»,  
«тиоиндиго» цвет, разбавленный, — коту.  
«Лимонный кадмий» цвёл, и здешний, и латинский.  
Зной приторный — свежей, когда кислит во рту.

Сколь завтрака любви цветиста волокита,  
пускай не на траве — но в травяном мазке  
не знакомого мной досель «волконскоита».  
Ужель Мане с Моне увиделись в Москве?

Кроме кота и пса, и зоркости вороньей,  
когда бы у страниц чужак свидетель был,  
— Их связь, — спросил бы он, — в чём с хвойною  
хворобой?  
А Цельсий исчислял рассудка хлад и пыл?



Связь — косвенный пунктир. Скажу, коль речь о хвое:  
мы с ёлкой так в былом расстались феврале —  
её питал сугроб. И деревце, от хвори  
опомнившись, смогло прижиться во дворе.

Здесь — семиточья ряд и перерыв — в неделю.  
Коробка красок — вот, осталось сиротой  
название «Ленинград», но адресом владею,  
то — Чёрной речки близь, в два корня: Сердоболь.

Нет, улицу зовут иначе: Сердобольской.  
Сиротский дом её нарёк иль Вдовый дом?  
В грамматиках других подобных нет довольствий  
словесных, но не в них приют сирот и вдов.

Привыкшие менять на клички прозвищ рекло —  
в аду, иль где-нибудь, — теперь не всё равно ль?  
Доныне на Руси не часто и не редко  
встречаются места, чьё имя: Сердоболь.

Прощаюсь со свечой и с хвойною хворобой.  
Досужнему звонку не отворяю дверь.  
В июля день восьмой, всескорбный, похоронный,  
воспомню, как ушёл июля первый день.

Огарок той свечи, чей прозорливый гений  
мой ум превосходил, я горестно храню.  
Свеча внушала мне предвестие трагедий.  
Нет утешенья в том, что их конец — в раю.

Покуда я похвал искала небосклону  
и действия свечи казались мне умны,  
отличных от других полётом в Барселону,  
каков был сон детей под пологом Уфы?

Им завтракать пора. Их ненаглядны лица.  
Перекрестить, обнять, объятия раззять —  
постойте! Но уже нельзя остановиться,  
напрягся самолёт и сдан в багаж рюкзак.

Летят. Стемнело. Мир — собрание одиночеств,  
сильнее, чем: весьма, пишу, как встарь: зело.  
Ноль времени забыв, зажгла свечу. Давно уж  
полуночи сбылось зловещее зеро.

Не в тот ли миг огонь моей свечи качнулся?  
Стенал автомобиль, забытый у ворот.  
Остерегаюсь я невольного кощунства,  
но знаю: был тогда в исходе час второй.

Подслеповатый мозг под утро стал беспечен.  
День наступил, и так пульс меж висков устал,  
как будто это я — рассеянный диспетчер,  
что в небеса смотрел и смерти не узнал.

А дале — я спала. Мне Батюшков приснился.  
Игра с какой иглой — в обычае зрачков?  
И сыщет ли её выискиватель смысла?  
Стал непрогляден стог моих черновиков...

*1–16 июля 2002*

## ПАЦИЕНТ

*Елене Олимпиевне Саксоновой*

### I

Поутру, натравив кофеин на дремучесть  
дряблой праздности, ставшей заменой уму,  
пациент составляет реестр преимуществ  
перед всеми, кто здоров и не ровня ему.

Он привольно безволен, любых повелений  
исполнитель покорный, не свой и не сам,  
он возвышен прибытком благих привилегий.  
Лежебока беспечный — таков его сан.

Он мне вчуже знаком, да знавал его каждый,  
кто почитывал книжки. Оставшись один,  
он уста улаживает больничною кашей.  
Тот, быллой, знаменитый, мне скушен и дик.

Этот, новый, улучшен судьбы поворотом.  
Слабоумен на вид, он чему-то учён:  
он умеет уже поместить подбородок,  
как указано, пред прозорливым лучом.

Лазер смотрит в зрачок и становится сродствен  
тайнам лба, из него добывая слезу.  
Его под руку водят, и никнет он к сёстрам,  
те пасут ходока, как меньшую сестру.

Опираясь о детские плечи подмоги,  
он любит прелестью той худобы,  
чьей красой неказистого лиха потёмки  
ярко блещут, хоть майские дни холодны.

К пациенту добра мотыльковая стайка:  
де, чужой, непонятный, не так уж он плох.  
Рядом силится выжить, пока не иссякла,  
многоскорбная одутловатая плоть.

Он стыдится соседей, не смея усесться  
возле боли, прикрывшей слезинку платком.  
Эти сжатия и упадания сердца  
кардиолог усталый изучит потом.

Пусть простят его: с буквами смерклась таблица  
пробы зренья, без букв он, взаправду, — никто.  
В телевизоре челядь своя же толпится,  
пялясь в робкую цель, как разбойник в окно.

Пациент привечает гостей неучтиво.  
Шумный короб — ловушка. Смеясь в полщеки,  
он в узилище их запирать научился:  
тронет клавиш — и сгнули все пошляки.

Он утешен: словесности свет не заочен,  
с чтеньем в нищей разлуке горя сперва,  
держит книги в уме, и прозревшая оцупь  
понукает и множит занятия пера.

Труд письма недозволен, им врач недоволен.  
Всё же кашу он ест не совсем задарма:  
то старательно рослые буквы выводит,  
то листает ума своего закрома.

Он о том наслаждается мыслью нелепой,  
что его, как бы он ни слабел, ни болел,  
не изыметь из этого места вселенной  
и безропотной очереди в кабинет.

Вот успех! — он постели достиг постепенно.  
Поцелуем любви с ним прощается шприц.  
На вершине судьбы сладок сон пациента.  
Я о нём сожалею, покуда он спит.

*18—22 мая, 1 июня 2002 года*

## II

Где поле зренья просит просветленья,  
кто сей гордец, чей пьедестал — кровать?  
Уборщица жалела пациента:  
Чего лечить! Ведь он придурковат.

Герой молвы не стал бы с нею спорить.  
Убогих черт для всех отверст секрет.  
Зачем в ночи искать «м у с о р о с б о р н и к»  
и обнимать увядшую сирень?

А он — искал, он озирался, крался,  
прощенья у растения просил  
и вместе с тою, что была прекрасна,  
он в пропасть опустил убыток сил.

И прозвище, и громогласность зева  
его страшат, а в цветниках весны  
другая гибель нежилась и зрела:  
вдруг ирисы ему преподнесли.

Недолго он благоговел пред ними.  
Подачки флоры ржавый ждёт рычаг.  
Винясь пред сострадателем, поникли  
все ирисы. Лиловый сад, прощай.

Так он сказал, но ирисы остались.  
В трубу послал созвучий вариант.  
Вновь крался — неприметен, неосанист,  
как будто не дарил, а воровал.

Что за дары! Не тяжело тащить их.  
Меж тем, и день, и ночь, и утро — в них.  
Не удивится строчек расточитель,  
коль эти тоже шумно прянут вниз.

Как явь свежа! Он только что оттуда.  
У здешних труб — озноб или невроз.  
В его палате бодрствует остуда.  
Гость и соперник духоты — норд-ост.

Как парус в бурю, занавеска дышит.  
Штормит — должно быть, баллов пять иль шесть.  
Прилежный неподвижный передвижник  
воспроизводит точно то, что есть.

С постели, словно с палубы обрыва,  
вот-вот слетит Борея фаворит.  
— Вы позабыли, что окно открыто, —  
сестрица Вера робко говорит.

Простая мысль ему не удавалась  
и прежде, до затмения меж век.  
Чтоб подтвердить уборщицы диагноз,  
я опишу вчерашний день — четверг.

*23—24 мая 2002 года*

### III

Спит дармояд, спят чашка и тарелка,  
а в небе схватка туч и мглы со мглой  
величественна, как ГРОЗА В ТОЛЕДО.  
Страшись, Эль-Греко, поспешай домой.

Пейзаж угрюм, в него соавтор смога  
с лихвой привнёс ультрамарин дымов.  
Пред взором боязливом осмотра  
дома стоят, как призраки домов.

Округи вид вполне необитаем.  
Вернувшийся оттуда, где витал,  
узрел цветы чувствительный ботаник:  
их мёртвый остов — памятник цветам.

Отринув образ, пациент проснётся,  
уже бледнеет сумрачный восток.  
Ну, что ж, посмотрим на того при солнце,  
кто счёл своей добычею восход.

Да он резов! Возмыл из недр спросонья,  
как будто младость — содержанье мышц.  
Благоразумно и благопристойно  
он входит в душ, как в море сквозь самшит.



При чём самшит — останется загадкой,  
иль просто хвоей пахнет мыльный нимб.  
Правей окна явился огонь заглавный —  
всеземный грех потупился пред ним.

Пылало справа, слева посинела  
сокрытая необозримость звёзд.  
Не в лад толклись все пульсы пациента,  
тёк вразнобой их кровеносный взвод.

Стройней предстала зданий многостенность.  
Бел белый свет, мир не совсем жесток.  
Дома упрочить зрителю хотелось  
и всех обнять и возлюбить жильцов.

Позвякивала завтрака телега,  
рты приоткрылись подопечных чад.  
В окне, быть может, всё-таки Толедо  
в его погожий лучезарный час?

А дале, волей собственной цензуры,  
я опускаю капельницы труд,  
укусы шприцев, лазер, процедуры  
и те, и эти, и под мышкой ртуть.

Заботливых вмешательств получатель  
приемлет их как ласки благодать.  
В Крещение — в май он вторгнуться не чаял,  
пустившись воском по воде гадать.

Ошибся воск. В день мая двадцать третий,  
в четверг, после полудня, в пять часов,  
он в коридоре никого не встретил,  
куда-то делся хворый люд честной.

Дивился путник своему поступку.  
Решив, что стал небесным протезе,  
он дерзко вздумал совершить покупку:  
есть магазин на первом этаже.

Робея всех, а лифта и подавно,  
он выбрал кнопку, избранно не ту,  
и канул в преисподнюю подвала,  
в сплошную белизну, как в темноту.

Злорадный лифт его покинул сразу,  
давно он слыл чинителем коварств.  
Доверившийся лазерному сглазу  
безумен стал, кто был придурковат.

Уж лучше б он пришёл сюда с этапом,  
не сам, ему досталось поделом.  
Люминесцентным северным сияньем  
бледнил черты пришельца потолок.

Он думал: ты, заметивший мгновенно,  
что в нетях я, забудь меня, покинь.  
Не знавший страха Амундсен — Мальмгрена  
летел искать и, не найдя, погиб.

Он вспомнил ирис, сохнувший в тенётах  
его измыслий, свежих лилий средь.  
Ошибок нет в голландских натюрмортах:  
цветок увядший означает смерть.

Была б нема загробная картина,  
где прозябал заблудший пациент,  
но прыткая его тахикардия  
озвучивала кафель и цемент.

С ней совладав, возгрезил он: допустим,  
что я обрёл последний мой успех.  
Тогда пустыню надо счесть за пустынь,  
нижайшим стать. Уже я ниже всех.

Пусть кротости безвыходную смелость  
помянет чей-то престарелый внук.  
Живу, чтоб в беззащитную посмертность  
пытливо не проник Виталий Вульф.

От этой мысли ожил он внезапно.  
Гуляя в мироздании ничьём,  
к подвалу он привык и привязался,  
и потому лифт сам его нашёл.

Конечно, хитроумная машина  
затеяла не помощь, а шантаж.  
Лифт вёз его лукаво и фальшиво  
и выплюнул в двенадцатый этаж.

Он вниз пошёл пешком. За ним охотно  
лифт следовал, игрив, но незлобив.  
Возможно, он скитальца пешехода  
скорее полюбил, чем невзлюбил.

Полз рядом, то поскрипывал, то ухал,  
устал, отстал, соскучился, нагнал.  
С ногой идущей разминулся туфель —  
как догонять на розных двух ногах?

Курильщикова отверженные братства  
миную, странник наискось ступал.  
Хромец уже не покупать собрался,  
а разума изъяны испугать.

Влачились полы байки и ватина,  
с бедой перекликалась болтовня,  
и лестницы длины ему хватило,  
чтоб растянуть мгновенье бытия.

Он помышлял: кто приобрести намерен  
ненужность, — ловец худых корыт,  
затем узнал на этаже на первом:  
закат — отверст, а магазин — закрыт.

Шёл без поклажи на этаж десятый,  
с курильщиками курево делил,  
не поумнел, но вылазкой десантной  
себя не утомил, а уголил.

Уборщица спросила: — Где ты шастал? —  
когда своей палаты он достиг.  
Он промолчал, но как же был он счастлив!  
Он мне наскучил. Я прощаюсь с ним.

*24–25 мая 2002 года*

## IV

Я с ним простилась. Он — не стал прощаться.  
Силён и смел зрачок в укрытье век.  
Покой и волю — только прибыль счастья  
смущает как нарушенный завет.

Не верю я в утешных снов избыток  
того, кто спит, улыбке вопреки.  
Тайн сокровенных я — свидетель. Битов  
так в Пушкина глядит черновики.

Не так, не так! Неописуем почерк,  
чей бег — мысль промедленья и прыжок.  
Путь зачернённых строк, от зрений прочих  
сокрытый, Битов заново прошёл.

Но в чём то, что зачёркнуто, ошиблось,  
один лишь знает ум, одна рука.  
Чем каторжней черновика обширность,  
тем праведней желанная строка.

Не упаслись от вечного помина  
сокровища: и плод, и кожура.  
Сбывается искомых слов поимка,  
как взрыв в конце бикфордова шнура.

Иль так: из формул абсолютных если  
изъять пустяк, строй знаков изменить, —  
колеблется вселенной равновесье.  
Вотще турист межзвёздный знаменит.

Космического прихвостень подвала  
бесславно спит. Я думаю о нём  
и о словах: «...должна быть глуповата».  
Добавлю: автор должен быть умён.

В рассудке спящем закипает заушь  
и осеняет облаком кровать.  
Про пациента соглядатай знает,  
что он — не глуп, хотя придурковат.

Я — знаю. Я хочу писать попроще.  
Рацеи смысл всегда стремглав старел.  
Ум упасу от ядовитой порчи  
и опишу палаты интерьер.

Здесь есть постель, которая пустует,  
в ней прежний постоялец обитал,  
Брезглив, припаслив и многопосуден,  
он ел своё, казну не объедал.

О нём, чьи очи, исцелясь, прозрели,  
я знаю по уборщицы словам.  
Возвидев буквы, он читал газеты:  
в одну плевал, другую целовал.

Искала обновлённая зеница  
в обличьях всех черты чужих отчизн.  
Коль что не так, врачей изгнать грозился.  
Смеялась врач: — Кто будет Вас лечить?

Кичился он пижамы одеяньем:  
полос — осанист и лампасен чин.  
Суровым и унылым идеалам  
он в коридоре неслухов учил.

Давно он восвояси удалился,  
покинув смертных рядовую жизнь,  
но призрак гордеца-идеалиста  
в пустой постели грузно возлежит.

Постель по нём, иль он по ней скучает, —  
в пред-синюю ему неймётся рань,  
и колыбель метафоры качает,  
баюкает — то всхлип, то храп, то брань.

(Замечу в скобках — по каким резонам  
далось перу разлучное тире.  
Нет буквы «ерь» в обобранном разбоем  
и попоранном невеждой букваре.

Смолчу про «ять», чьи прихоти прелестны,  
звук избранный она в букварь внесла,  
грустят по ней леса и перелески,  
и свет, и снег, и осень, и весна.)

Палаты вождь — подаренный утилем,  
в Саранске, страшной Потьмы неведали,  
румянцем алым пышущий будильник,  
его в столетье прошлом завели.

Он — непробудно спит уже полвека,  
и сон его лелеет пациент.  
Он — или злоумышленник побега,  
иль обыском изъят и уцелел.

Остановившись в полночь или в полдень,  
со временем прервал он разговор.  
Что талисман одушевлённый помнит  
про час былой, недвижно роковой?

Будильнику — соцветная гвоздика  
владельцем новым преподнесена.  
Но из пустой постели невидимка  
в два их досье вникает оком сна.

Ещё есть чайник, бурь воды сподвижник,  
чья плодородна и пригожа стать,  
и в кофеине сочинитель ищет  
напутствия: как чайник описать.

Он внове здесь, он родом не отсюда,  
хоть самоварен кипятка настой,  
всем не чета, чьё звание — посуда,  
он — знатный вестник рыбки золотой.

Проситель молвит: — Государь мой, чайник,  
будь милостив, я головой поник.  
Ему немедля чайник отвечает  
и попрошайку кофею поит.

Сам возбурлит и сам угомонится  
ручной вулкан, послушный добродей.  
Проснулась телевизора темница,  
в ней, взаперти, шумит раздор идей.

Наружу рвётся чрез стекло, бранится  
постылый вздор — как он сюда проник?  
В больнице быть! Быть дале, чем больница!  
Лишь бы опрятно быть вдали от них!



Меж тем, земные бедствия — кровавы.  
На праведников должно уповать.  
Молящемуся грешнику — в кровати  
дано лежать и чайник воспевать.

Он молится, но обойдён прощеньем,  
не потому ли стих н е глуповат,  
став разума извилин и расщелин  
издельем, — так и хочется порвать.

Незнаемый со мной заступник спорит:  
нет, мозга полу-шар и полу-шар  
вдвоём — щедрь. В «м у с о р о с б о р н и к» — сборник  
несбывшийся печально прошуршал.

Наживой прорвы стал изгнанник шелест,  
легко прилгнуть, что унесён шедевр,  
но прах немой и любопытства тщетность  
поврозны, как историк и шумер.

На клинопись бумагу переводит  
тот, речь о ком. Я шифр не разберу.  
Смысл чёрного на белом — приворотен,  
как до-дизел, как чернь по серебру.

Теперь — всё ясно, проще не бывает,  
и второгодник, завсегда парт,  
поймёт: букварь не может быть буквален,  
брат буквы — нотный знак, ленивец прав.

Слова — созвучий сладостная сумма,  
и гаммы строк проиграны сто раз.  
Связь музыки и слова безрассудна.  
Коль это так, уйми перо, схоласт.

Унять перо — вот истинная доблесть,  
но прежде, чем унять, нельзя ль воспеть?  
Всю жизнь мою пера возглавил образ,  
всю азбуку судьбы длиной в «азь есмь».

Перо попало человеку в лапы:  
и модница желает, и тетрадь  
то страуса ощипывать для шляпы,  
то гуся оперенье обдирать.

Да, шляпа есть. Пусть страусы смеются:  
им не в ущерб пера нарядный прок,  
булавки перл — не собственность моллюска.  
Так следует ответить на упрёк.

Пред гусем — нет вины: перо — фломастер,  
ботву словес взрастивший корешок.  
От яств, под стать красавицам фламандским,  
стал пациент округл и краснощёк.

Вот — сила каш и удаль витаминов,  
даруемых и в радость, и силком.  
Он числится пока что в анонимах,  
вдруг станет именитым толстяком?

Я с ним незамедлительно расстанусь,  
да и пора, уже рассвет почти,  
пять без пяти минут. Но что за странность:  
будильник звон издал, часы пошли.

С меня довольно! Исповедь истошной  
не смеет быть. Мой изнемог висок.  
Всё обошлось, совпали точка с точкой:  
закат страницы и зари восход.

*26 мая — в ночь на 7 июня 2002 года*

## V

Сочинитель — не спячки, а скачки наездник,  
опершись о подушку, он мнимость коня  
понукает, склонившись к пюпитру. О, если б  
кто-то видел невиданное никогда.

Но зачем же? Насмешку над ним предрешили  
те, кто делают ставку на здоровый пробег.  
Впереди — только Николоз Бараташвили,  
не искавший ни славы, ни прочих побед.

Пусть несётся Мерани, пусть кевври в Марани  
пренаполнит услада молодого вина.  
Пульсов то полыхание, то обмиранье —  
цель не-выигрыша издалёка видна.

Так ездок составляет громоздкие буквы,  
их узор принимая за чернь серебра.  
Что-то есть в письменах от папахи и бурки,  
и податливы шлёпанцы, как стремяна.

То ль грузинские ангелы так захотели,  
то ли капельницы остроумна оса,  
прокусивши запястье, — вдруг входит Этери,  
чей отец — соимённый Булата отца.

Хорошо, что любовь незнакомки мешала  
не предвиденной мной новостройке поэм.  
Но поврозь упокоены Шалва и Шалва.  
Я надеюсь, что не был второй убиен.

Обнимает меня калбатони Этери,  
дарит цитрус. Вновь встретились нюх и самшит,  
мною воспетый, — да в пропасть стихи улетели,  
память, ноздри печалю, вослед не спешит.

Вспоминать — что отжившую обувь починкой  
исцелять. Это было в обители нег,  
в том раю, где воюет Пицунда с Бичвинтой,  
а Бичвинта с Пицундой, и промаха нет.

Коль предастся стрелок остановке внезапной,  
это — шёпот молитв, изречённый вчерне.  
Тот, кто верил в былую обнимку названий,  
если тронется вверх, — возгруснит о Чечне.

Я до двери не провожаю Этери:  
я — на привязи, кормит запястье капель.  
Зябнет градусник мая — в обмен на потери  
той теплыни, что с ходу растратил апрель.

Жалко неженки юга, ему — холоднее,  
там и след мой простыл, и растерзан самшит.  
Но довольно об этом, в ночи ли, во дне ли,  
без причины смеяться хочу и смешить.

*7, 8 июня 2002 года*

## VI

Смех без причины... — знаем, знаем!  
По усилению зрачков  
вновь пациент сдавал экзамен,  
ему поставили зачёт.

Вот было как: врач кажет палец,  
издалека, потом вблизи.  
— Что видите? — на палец пялясь,  
ответом, ученик, блесни!

Ответчику вредит помеха,  
но блеск молчанья объясним:  
он задыхается от смеха,  
и все хохочут вместе с ним.

Смеётся врач, смеются сёстры,  
всех пуще — зрящий мглу препон,  
и утирает смеха слёзы  
уборщица, забыв про пол.

Всеобщий смех, неждан-негадан,  
утехой стал больничных стен.  
В игре с пособием наглядным  
учёный школьник преуспел.

Пусть возликует, множась, ширясь,  
во дне, а день едва почат,  
то ли печальных уст смешливость,  
то ль уст смеющихся печаль.

Зрачок ещё гостит в Тбилиси —  
таков был пациента сон,  
но снова к буквенной таблице  
неграмотно подходит он.

Двоится результат проверки:  
букв «эм» и «ша» велик размер,  
но видит он, сомкнувши веки,  
лишь букву «ять» и букву «ерь».

Врачи — добры, я знаю: жаль им  
того, кто въявь, а не во сне,  
разглядывает с обожаньем  
«фиту» и — «ижицу» в конце.

В конце — чего? С «азь», «буки», «вьди»  
Фома не состоит в родстве —  
не тот, который Вия вЪки  
разъял и был учён в бурсе.

Сколь были прозорливы хамы,  
сказавши грамоте: — Изыдь!  
Так — веселее рушить храмы  
и осквернять не их язык.

Но некто есть, пригож, осанист,  
глаз быстроумна синева,  
хмель — памятьлив: для них остались  
слова, не нужно словаря.

Кто он такой? Да уж не ты ли,  
кто бедствует в чужом углу,  
то плотничает, то бутылки  
собирает? Я тебя люблю.

Спасёшься ль, на войне ль погибнешь,  
иль в шахте, — едок, да не пошл  
твой ум. Ты, может быть, один лишь  
не втуне что-то ешь и пьёшь.

Сносились телогрейки ватность  
и матушкина медь креста.  
Речей моих витиеватость  
лишь при тебе всегда проста.

Смех сякнет — в пользу дел обычных,  
отправлюсь вдоль его следов.  
Но пятистопный ямб-любимчик  
добавки клянчит двух слогов.

*9 — в ночь на 11 июля 2002 года*

## VII

Вы думаете: пациенту не с кем шутить? Хочу, чтоб мнения сошлись: не всем дано смеяться со Жванецким, тем более — Жванецкого смешить.

Так, Михаил Михайлович, случилось, что, под приглядом влюбчивых зевак, Вас поджидал избранник и счастливец и простодушно Мишей называл.

Говаривал: лишь здрав пребудь, идеи другой не иму. Сразу признаюсь: чем всем смешней, тем ярче мне виднее твой чудный дар возвысившая грусть.

Я вот о чём: с утра по коридору писатель шёл. Народ оцепенел: обнявши знаменитость, недотрогу, нимало не смущался пациент.

Он лепетал, он радовался встрече, при этом путал: выдох где и вдох, как нынешнее вспльчивое вече, — нет, не совсем, его безгрешен вздор.



Речь шла о бедных малостях насущных.  
Не то мне в диво, что болтал болтун, —  
дивлюсь: его великодушно слушал  
тот слушатель, чей многославен ум.

Мне нравятся два этих человека,  
суровость дней при них родней, милей,  
уж полночь, для созвучий фейерверка  
лоб тесен в час, благой для пустомель.

Но чем развлёк мыслителя рассказчик?  
Смогу ль воспроизвести его слова,  
Их и не зачернив и не раскрасив, —  
не знаю, знает новая глава.

*11 — в ночь на 13 июня 2002 года*

## VIII

В больнице есть заманчиво бесплатный  
настенный телефонный аппарат,  
принявший многоликий, многопятный  
халатов, маек, лыжных брюк парад.

Намёки тайн, загадки недомолвок  
он выслушал, он от людей устал.  
Его целует — кто влюблён и молод,  
в него всплакнёт — кто одинок и стар.

Звонящих он постиг и абонентов,  
едва друг друга голоса нашли,  
он знал однообразие ответов:  
«Что принести?» и «Не приду, не жди».

Как пациенту быть — не очень ясно.  
Он очереди почитал рапид  
и ожидать её конца стеснялся,  
дабы невольно не поторопить.

Уйдёт, вернётся, видит: обновилась  
приветствий, просьб, упрёков череда.  
Переговоров — возросла невинность,  
когда? Он вспомнил: после четверга.

Да, в пятницу, уже в двадцать четвёртый  
день мая, был приток больных велик.  
Лишь милосердной сестринской увёрткой  
стал коридор просторной спальней их.

Поэтому был рано свет погашен.  
Герой стихов, в раздумье деловом,  
вдыхая мельком о дыханье каждом,  
решил в ночи проведать телефон.

Открытие позапрошлого столетья  
не отдыхало. Пациент — робел:  
во тьме он стал подобием скелета,  
чью призрачность со скукой зрит рентген.

Не худобую — белую пижамой  
в потёмках он мистически мерцал.  
Но собеседник трубки был, пожалуй,  
не трус, зато — поговорить мастак.

Он был невидим за стеклянной дверью,  
но перечень раздумий и забот  
был слышим. Тут бы скрыться привиденью,  
а не вникать в секретный разговор.

Оно пути обратного боялось:  
приют постоя — близко ль? Далеко ль?  
И брезжила фигуры небывалость,  
подслушивая полудиалог.

— Не стыдно, Мань? Ты, Маня, позабыла,  
что ты — не вековуха, не вдова.  
Вся речь твоя — заминка и запинка.  
Дела? Известны мне твои дела.

Не с Витькой ли? Что спрашивал? Отлично,  
вот я вернусь — я вам решу кроссворд.  
Не пьёт? Да потому, что — коротышка,  
всё врёт он про повышенность кислот.  
Чего, чего? Какой ещё аллергик?  
Расхвастался! Подумаешь — доцент.  
Гордилась бы: муж у тебя — электрик.  
Мне даже здесь отбою нет от всех.  
А батя как? Я знаю, что болеет.  
Уважь его, он — правильный старик.

Шепчу? Тут кто-то за стеклом белеет.  
Не врач. Не знаю. Так, назло стоит.  
При чём сестра? У них свои оглядки.  
Кольнут — и всё, не дашься — так силком.  
Куда ж ещё? Суют им шоколадки,  
небось, и этот, белый за стеклом.  
Ты, Мань, остришь, где я возьму горячку?  
А я простыл, то холодно, то пот.  
Ты, кстати, Мань, найди мою заначку.  
Как это — нет? А говоришь — не пьёт.  
Сама? Ну, с Клавкой можно для порядка.  
Да не нужна мне Клавка, не видна.  
Возьми гостинца у её прилавка.  
В долг не отпустит? Попроси Витька.  
Нет, Мань, не то, две маленьких — сподручней,  
я — по чуть-чуть, в палате все свои.  
Ты уж прости, что обошли получкой.  
У матери в комодке посмотри.  
Ой, горе-лихо: веником задела.  
Ты б не дразнила шерстяной колпак,  
он — от мигрени. А твоя — злодейка.  
Кому сказал: не смей на мать клепать.

Слышь, Мань, а Мань, я — не вредитель тёщи,  
скучаю даже от неё вдали.  
За пироги — спасибо, стал потолще.  
Да кто белеет? Видно — довели.  
Люблю я, Маня, быть с тобой совместно.  
Вот выпишусь — пойдём смотреть балет.  
Я б нашептал тебе в ушко словечко,  
если б никто за дверью не белел.

Наверное, палаты одиночной  
(плюс-минус образ призрака) жилец  
способен лишь на перевод неточный:  
в нём есть любовь, и призывок фальши — есть.

Подслушиватель пал лицом в ладони.  
Плутая непроглядным прямиком,  
вдруг так затосковал он по Володе,  
что объяснять, понятно — по каком.

Казалось, что душа пред ним виновна.  
Уж близился закат ночных светил,  
когда, над спящим сжалившись, Володя  
заплаканные очи навестил.

*13 — в ночь на 16 июня 2002 года*

## IX

Был майский день, шестнадцатый по счёту  
(педант зрачок в даль даты посмотрел).  
С припасом слёз и поцелуя в щёку  
в больницу прибыл некий пациент.

Он лёг в постель, сперва задвинув штору,  
и вдруг — курорта блажью счёл болезнь.  
В июньский день, шестнадцатый по счёту,  
он отмечает скромный юбилей.

Кто возомнил, что нет вершины ниже  
больничной койки, — гордецы иль врут.  
Цветок в теплице иль купальщик в Ницце  
боится, что прогонят иль сорвут.

Но нет, его прибором ласки тешат,  
подкармливают скудных вен цветник.  
Судьбы то понуканий, то затрещин  
отсутствие — как можно не ценить?

Страсть к жалобам, попрёкам болетворным  
у абонента дальнего — в цене ль?  
Лишь издали с бесплатным телефоном  
безмолвно сообщался пациент.

Как и предзнал, с курорта он уволен,  
и тот, кто ждал его звонка в ночи,  
в сей миг ему болельщиком футбольным  
приходится и говорит: — Нишкни!

Вернувшийся — не свыкся с новосельем.  
Рассеян, незадачлив, бестолков,  
как равный им — он осудить не смеет  
отечественной сборной игроков.

(В укромных скобках затаиться легче ль  
тому, что схимник скобок сам предрёк? —  
его судья, защитник и болельщик  
зачтёт ему промашку этих строк.

Пусть поживут недолго на странице,  
сестрицы чьи в изгнанье утекли.  
Пустой глагол не стоит ностальгии.  
Рональдо гол — вот идеал строки.)

Сколь бывший пациент понижен в чине!  
В миру он стал капризен и сварлив:  
зачем его есть кашу приучили  
и разучился он её варить?

Зато все — с ним: бел чайник, ал будильник,  
кот — мглист, и, дни разлуки претерпев,  
волнующий умы обличьем дивным  
с ним — обожанья баловень, шарпей.

Но всё ему неможется, неймётся:  
не ушёл рассудок, почерк неуклюж.  
Он щедрых подаяний ждёт от мозга,  
но мозг — прижимист или неимущ.

Его творений ворох неогляден:  
фломастер, под навязчивый диктант,  
чертит, корпит, макет больницы ладит,  
где он — лишь заурядная деталь.

Возводит что, покуда не прервали?  
Руины замка? Крепость? Монастырь?  
Засов за ним задвинуть не пора ли?  
Когда-нибудь его мы навестим.

Вот — час удобный, вот — счастливый случай,  
Он — взаперти, есть выход из дилемм —  
не повторить слова: он мне наскучил,  
а возгласить: нет мочи! надоел!

Он — жалкий узник своего же вздора.  
Но как изгнать измыслий произвол?  
Да так — Агафье Тихоновне вторя,  
им попросту сказать: — Подите вон!

Уйдут — но сколько не-гусиных перьев,  
чьих тщаний заваль трудно разгрести,  
он погубил, в прок пагубы поверив!  
Воображенья птичий двор, прости!

Восход свечи ознаменует полночь —  
привычки прихоть, ритуала власть.  
Будильник — вечный полуночник, он лишь  
зенит мгновенья волен продлевать.

Изловленного времени хозяин  
времён поспешность не берёт в расчёт.  
Рассвет свой срок без циферблата знает —  
зелёной розой он в окне расцвёл.



Стал круглый месяц возрастом загадки:  
день мая восемнадцатый взошёл,  
когда больной, с кого и взятки гладки,  
дымам зари свой посвятил зрачок.

Июня день осьмнадцатый в начале.  
Уже ничей не разгадает сыск:  
что дней и слов созвучья означали.  
Но скрытый звук важней, чем явный смысл.

Докучных бдений вымысел, не сетуй,  
гуляй вовне, оставь меня, забудь.  
Пора дневник закончить кругосветный,  
поставить точку и свечу задуть.

*16–18 июня 2002 года*

## Х. Путешествие

Длится численник — как этот жанр именуем,  
летописец не знает: грядущим летам  
не завещан, закончившись вместе с июнем,  
испещрённых листов отрывной календарь.

Должность даты — свиданье с преемницей датой.  
Лишь июня расцвёл девятнадцатый день,  
пристально насторожился двадцатый —  
за холмами, за промельками деревень.

Двое спорщиков, возле условной калитки,  
пререкаются. День застаёт их врасплох.  
Сочинитель выслушивает укоризны  
измышленья, обретшего норы и плоть.

Безымянный герой, тот подвальный пустынный,  
что и лифта строптивости не одолел,  
говорит: — Я наскучил тебе, опостылел,  
но, признаться, и ты мне весьма надоел.

Разминёмся! Ты сам — персонаж заменимый.  
Укорять и неволить меня перестань.  
Я немедля съезжаю во град знаменитый.  
— Но в какой же? — Не скрою: во град Ярославль.

Что творится! За ним прибывает машина.  
Кто учтивых гонцов спозаранку послал?  
Это — явь? Или зренье чарует ошибка?  
Чётко Троице-Сергиев виден посад.

Пронеслись! Осенённые звоном и блеском,  
робко перекрестились на все купола.  
Чуть помедлили пред Переславлем-Залесским.  
Плыл в Плещеевом озере ботик Петра.

Город — зов и приманка возлюбленной цели.  
Остановка: как всей горемыке земле  
поклонились страдальце Троицкой церкви,  
воскрешённой в Даниловом монастыре.

Долго Пуришева восхваляли Ивана.  
Он — ревнитель, воитель, защитник страны  
от солдат, что в стрельбе упражнялись недавно;  
кротки очи Спасителя, метки стрелки.

Богосписцев и зодчих — Святых именами  
помянуть и восславить нет знания у нас.  
Церковь здравствует. Благодетельны монахи.  
Лик Спасителя — Пуришев Ваня упас.

Сочинитель смущён: путь и длинен, и дивен,  
кто он сам? домосед? верхогляд пассажир?  
Он затеял стремительный путеводитель  
иль медлительный опус, что непостижим?

Взор окольно простился с Ростовом Великим.  
К многоглавому великолепию вдали  
прилепилось селенье, учёное лихом,  
с величавым, влиятельным титулом: Львы.

Львы — давно завсегда таи русских мечтаний,  
в корабельной резьбе, в изразцах и лубках,  
в древнем гербе Владимира — гость не случайный  
гордый Лев. Лев на прялке — смешлив и лукав.

Жаль со Львами расстаться. В народной копилке  
много сладостных прозвищ. Дорога быстра,  
в половине её есть деревня Любилки:  
тайны, шёпоты, вздохи, ночевья без сна.

Взгляд пытливый обзором Карабихи занят.  
Благоденствия стройный и прибранный вид  
сродствен мысли: имения последний хозяин  
был несчастен не менее, чем знаменит.

Совпадения незнаемы счастья и славы.  
Безымянный ездок, рассуждения оставь:  
ты всезнаемой славы минуешь заставы  
и въезжаешь во счастье: во град Ярославль.

Так-то так, да не надвое бабушка скажет:  
— На моём на веку — только горе вдомёк.  
Всё косила разбоя плечистая сажень:  
и хоромы, и храмы, и души, милок.

— Ну, а раньше? — вдруг юной улыбкой старинной  
озарилась, вспомнив о днях старины.

— Раньше — свадьба была. Был жених сторонистый.

— Это как? — Очень просто: с моей стороны.

А до стовора — сваталось к девке Заволжье  
наших глаз супротив — постороннее нам.  
Глянешь — матушка: ох! Тятя — сразу за вожжи,  
мне в показ, а сватов неприветливо гнал.

Очень был норовист. С лихолетья и года  
не прошло — потерпел по своей же вине:  
церковь оборонял. Так уж Богу угодно:  
тятя в каторге сгинул, а муж — на войне.

Грустный слушатель думой одной утешался:  
зодчих труд — прозорлив и припаслив стократ,  
сбор мирской и в семнадцатом веке несчастья  
будто ждал, щедро строил — и храмы стоят.

О, не все! Не раздумчива взрывов управа.  
Мать Божья безгневна. Успенья Собор —  
ныне с ней. Не спросить у Петра и у Павла:  
лучше ль выжить — с тюрьмой поменявшись судьбой?

Толгский знает о том монастырь благолепный.  
Точно знает местечко вблизи — Толгоболь.  
Здесь томился преступниц народ малолетний.  
Говорят, был начальник не злой, деловой.

Может быть, коль сравнить с Иоанном Четвёртым.  
Но не Грозным запомнил его монастырь:  
плакал, каялся, двигался шагом нетвёрдым  
царь, когда целовал предалтарный настил.

Те, что были при нём, живы мощные кедры.  
Скромно зорок монахинь взыскующий взгляд.  
Толгоболь — оглашает названье секреты  
речки Толга, послушниц, возделавших сад.

Пред паломником — храм Иоанна Предтечи.  
Дух, настойный и внятный, живеи, чем архив.  
Надышали его и содеяли свечи  
поминаний, венчаний, крестин, панихид.

Мысль души, строгий хлад осязая, звучала:  
почему так родимы ей эти места?  
Уж не здесь ли она рождена изначально  
и потом лишь — Иван Калита и Москва?

Столь ничтожен пред невидалью-колокольней,  
он к себе обратил многохвальную лесть;  
сторонистый я здесь человек, не окольный,  
во своей стороне — недосужий пришлец.

Возвышаемый знаньем: откуда он родом,  
путник в церковь вступил, куда многие шли,  
Видно, был он примечен Ильёю Пророком:  
полыхнул — громыхнул глас Пророка Ильи.

Совпадением был потрясён прихожанин.  
Утомлённые веки клонило ко сну.  
День июня двадцатый очнулся и жарок.  
Путешественник стал собираться в Москву.

Соглядатай его, верный осведомитель,  
вчуже смотрит из вымышленной темноты,  
как заблудший искатель спасительных истин  
уезжает, и все ему дарят цветы.

Вот он дома. Зовётся проспект Ленинградским.  
Через Клин, через Тверь он течёт в Петербург.  
Тот, кем все и вскользь упомянут Некрасов,  
вдруг вздыхает, чураясь построенных букв.

Почему он не пишет, что рожь колосится?  
Непосильную тянет зачем бечеву?  
Вновь Пророка Ильи пронеслась колесница  
над извечной тщетою: зачем? почему?

С Громовержцем всевластным не вступит он в распря:  
наспех точку поставить! Свечу погасить!  
Кто всё это прочтёт и прочтёт ли — ни разу  
он не думал. Пред кем же прощенья просить?

Всё же — просит. Нет просьб о прощении лишних.  
Затворилось оконце последней главы.  
Расписной и резной возглавляют наличник  
златогривые и синеглазые Львы.

*21—28 июня 2002 года*

## **СТИХИ К ФИЛЬМАМ**



## СТИХИ К ФИЛЬМУ «ВЕНОК СОНЕТОВ»

### Вступление

#### 1. Чёрная плёнка

Где ныне те, которых нет нигде?  
Зачем душа не расстаётся с ними,  
читая в давнем невредимом дне  
их чудный смех на довоенном снимке?

Вдруг снегопад — это привет от них,  
и лунный свет исполнен их советов?  
Им шлёт Земля ответ цветов земных,  
и замкнут круг, словно венок сонетов.

#### 2. Полустанок

Так началось. Рассеянно листая  
былое время, мы вернёмся в день,  
где брезжит безымянный полустанок  
и лиц детей уже коснулась тень

судьбы грядущей. И, покуда поезд  
на миг замедлил резвый ход колёс,  
берёт разбег бесхитростная повесть,  
нас призывая в путь. Так началось.

### 3. Памятник Пушкину

#### Сонет первый

Кем ты приходишься душе,  
истерзанной войной и мукой, —  
пленительный, чугунно-смуглый,  
с кудрями в давешнем дожде,

ещё смеющийся, уже  
терзаемый тоскою смутной,  
всё победивший и всемудрый,  
кем ты приходишься душе,

что нет такой войны и муки,  
чтоб нам с тобою быть в разлуке  
и не идти по той тропе.

А этот мальчик неизвестный,  
причастный музыке небесной, —  
кем он приходится тебе?

### 4. Парк культуры

#### Сонет второй

Мы оттуда, где кроток оркестр,  
где кружит и пылит танцплощадка.  
Разве малая есть неполадка  
в милой жизни, цветущей окрест?

Воздух пылкою медью согрет,  
ничего, что война беспощадна,  
чтобы стала душа беспечальна,  
танцплощадка, ты знаешь секрет.

Блещут звёзды фольги и латуни.  
Называется парком культуры,  
а не парком печали наш парк.

И пока не кончается танго,  
осеняют нас нежность и тайна,  
и надежда, и смех невпопад.

## 5. Урок ботаники

### Сонет третий

Что соотносит жизнь мою  
с лицом, с цветком, с любым предметом,  
о чём-то просит и с ответом  
торопит и зовёт «ау»?

Как будто я всегда в долгу  
пред всем, что хочет стать воспетым.  
Твой облик, сотворённый светом,  
я тайно слову предаю.

Смогу ли отслужить природе,  
растенья, рощи и пригорки,  
и прелесть твоего лица?

Всё то, что принял я в подарок  
из слёз, обмолвок и помарок,  
очнётся в белизне листа.

## 6. «Три сестры»

### Сонет четвёртый

Казалось бы, что нам до вас,  
три грустных барышни уездных,  
зачем в кровопролитных безднах  
гостит ваш старомодный вальс?

Что нам до вас, до ваших глаз,  
всегда в слезах, всегда прелестных  
и совершенно неуместных  
в наш грозный час. Но в этот час

плач вашей муки стародавней  
нам ближе собственных страданий,  
и тот, чьё измышление вы,

нерасторжим с землёй родимой,  
и взор его неотвратимый  
печали полон и любви.

## **7. Велосипеды на берегу моря**

### **Сонет пятый**

Для ненависти и смертей  
нет места в мире бесконечном.  
Пронесутся в пространстве вечном  
велосипеды двух детей.

По берегу живая тень  
летит вослед крылам беспечным,  
и в дне прозрачном и неспешном  
ненадобно иных затей.

И рифма к морю — уж не горе,  
другое что-то. С речью Гёте  
играет Пушкинская речь.

Возможно ль детям и поэтам  
не расставаться в мире этом,  
чтоб нас от бедствий уберечь?

## 8. Смерть Артёма

### Сонет шестой

О, как бел упоительный свет,  
как проста этой жизни основа!  
У полей и дождя проливного  
много дел, и удач, и побед.

И пятнадцатый будет сонет  
украшением венка золотого,  
близко главное слово...

Ни слова  
он не вымолвит больше, о нет.

Пусто, тихо и травы по пояс.  
Так кончается краткая повесть.  
Жизнь давно разминулась с войной,

Но, стараньем детей и поэтов,  
неизбывных цветов и сонетов  
на Земле нескончаем венки.

1976

## СТИХИ К ФИЛЬМУ «ЛУГ ЗЕЛЕНЬЙ»

### Вступление

Еще не рассвело во мгле экрана.  
Как чистый холст, он ждет поры своей.  
Пустой экран увидеть так же странно,  
как услышать безмолвную свирель:

Но в честь того, что есть луга с росой,  
экран зажжется, расцветут холсты.  
Вся наша жизнь — свиданье с красотой  
и бесконечный поиск красоты.

### Город

О зритель, ты бывал в Тбилиси?  
Там в пору наших холодов  
цветут растения в теплице  
проспектов, улиц и садов.

Там ты найдешь друзей надежных,  
Пусть дружба их тебя хранит.  
Там жил да был один Художник...

Впрочем, дорифмовать мне придется потом, сейчас некогда. потому что Художник — вот он, перед Вами, вон тот, который разговаривает с Девушкой. Потом он пойдет по улице, встретит знакомых, поговорит с ними о том, о сем. Но я знаю, что он все время думает о своей работе и, если заснет, он увидит ее во сне. Это бывает с каждым из нас, только у нас с вами своя работа, а у Художника — своя.

Все, что он видит, так или иначе связано с холстом, который еще не начат. Давайте посмотрим, что происходит с Художником, или в Художнике, пока он не взял в руки кисть...

Девушка уходит, но, разумеется, она скоро вернется. Она очень много значит для нашего Художника, но он пока этого не знает...

Взгляните на этого незнакомца. Еще раз взгляните. Хорошо, что Вы познакомились, — Вам еще предстоит встретиться...

Этого человека с цветами вы тоже скоро увидите...

Хочу предупредить Вас, что при следующей встрече эти милые, почтенные и вполне реальные тбилисские жители могут показаться Вам несколько странными и причудливыми. Дело в том, что в следующий раз Вы увидите их такими, какими увидит их Художник. Кто знает, какими видят нас художники? А ведь они нас непременно видят, иначе бы мы не узнавали себя или что-то свое в их полотнах, книгах или в кино...

Ну что ж, художники всегда видят нас, а мы на этот раз будем подглядывать за Художником...

## Мастерская

Понаблюдаем за экраном,  
а холст пусть ждет своей поры,  
как будто мы в игру играем,  
и вот вам правила игры.

Поверьте мне, как я Вам верю,  
и следуйте за мной теперь.  
Есть тайна за запретной дверью,  
а мы откроем эту дверь.

Войдем в простор чужих владений!  
Художник наш вот-вот заснет.  
Вы – зрители его видений,  
а я в них – Ваш экскурсовод.

Заснул Художник. Холст не начат,  
меж тем идет куда-то он.  
Что это значит? Это значит,  
что наш Художник входит в сон.

А нам, по волшебству кино,  
увидеть сон его дано.

### **Зелёный луг**

Зеленый луг – всему начало,  
он – всех, кто есть, и все ж – ничей.  
И, музыку обозначая,  
растет цветок – виолончель.

Смотрите, глаз не отрывая!  
Трамвай – по лугу? Вздор какой!  
Наверно, слышит звон трамвая  
Художник, спящий в мастерской?

Все это – не на самом деле.  
У сновидений свой закон.  
Но по проспекту Руставели  
Вам этот человек знаком.



Зачем он здесь — для нас загадка.  
Мы разгадаем этот кадр.  
Нет музыки без музыканта  
и, значит, это — музыкант.

Пусть он не видит в этом смысла.  
Он странен и чудаковат.  
Он так Художнику приснился  
и в этом он не виноват.

Художник то стоит, то ходит,  
коль он не хочет рисовать,  
а музыкант играть не хочет,  
я перестану рифмовать.

Но в чем же смысл, и выход где же?  
Не верьте! Это пустяки.  
Рука поэтов пишет реже,  
чем их душа творит стихи.

Порой искусство — это доблесть  
до времени не взять смычка  
иль ждать, пока созреет образ,  
сокрытый в глубине зрачка.

### **Девушка**

Художник смотрит в даль пространства,  
А истина — близка, проста.  
Ее лицо вовек прекрасно.  
В ней — весть любви, в ней — суть холста.

Взгляните, сколько красок дивных  
таит в себе обычный день.  
Вершат свой вечный поединок  
Художник и его модель.

Их заверченный холст рассудит,  
мне этот труд не по плечу.  
Играет этот, тот рисует,  
Вы смотрите, а я — молчу.

Зачем часы? Затем, наверно,  
что даже в забытьи своем  
мы все по времени живем  
и слышим: к нам зовет время.

Любой — его должник и должен  
долг времени отдать трудом,  
и наше назначенье в том,  
и ты рисуй, рисуй, художник!

Уже струна от натяженья  
устала. Музыкант, играй!  
Прилежный маленький трамвай,  
трудись, не прерывай движенья!

Расчетом суетного жеста  
не вникнуть в тайну красоты.  
Неисчислимо совершенство.  
Художник, опрометчив ты.

Ты зря моим речам не внемлешь.  
Взгляни на девушку. Она —  
твое прозрение, и в ней лишь  
гармония воплощена.

Постигло истину простую  
тех древних зодчих мастерство.  
Ну, что же, чем сложнее раздумье,  
тем проще вывод из него.

Вот наш знакомый. Он, во-первых, —  
Садовник, во-вторых, влюблен,  
и, значит, в-третьих, он — соперник  
того, кому приснился он.

Не знает он, что это — Муза.  
Художник ждет ее давно.  
В расторжимость их союза  
нам всем вмешаться не дано.

Как бескорыстная копилка,  
вбирает сон события дня.  
Но в шутке этого конфликта  
Вы разберетесь без меня.

И без меня героям тесно  
на этом маленьком лугу.  
Вам не наскучил автор текста?  
Вот он умолк — и ни гу-гу.

## Город

Привет Вам! Снова все мы в сборе,  
но нет ни луга, ни травы.  
Художник и Садовник в ссоре,  
зато не в ссоре я и Вы.

Надеюсь, Вас не раздражает,  
что луг сменился мостовой?  
Любой исконный горожанин  
во сне вернется в город свой.

Чужие сны мы редко смотрим.  
Пусть это спорно и смешно —  
мы посмеемся и поспорим,  
когда окончится кино.

А это кто еще со стулом?  
Пока Художник не заснул,  
он видел стул. Потом заснул он  
и вновь увидел тот же стул.

И наши с Вами сновиденья  
порой запутаны, сложны,  
а сны Художника цветнее,  
диковинней, чем наши сны.

Поэтому, без колебания,  
Вас заклинаю, как друзей:  
завидев в кадре надпись «Баня»,  
Вы ни на миг не верьте ей.

Как эпизод ни странен, я бы  
сказала: суть его проста!  
Здесь только вывеска — от яви,  
все остальное — прихоть сна.

Когда Художник холст затеял,  
он видел струны и смычок.  
Был в памяти его затерян  
оркестр, печальный, как сверчок.

Приснился он совсем не к месту —  
сверчок, забывший свой шесток.  
Оплошность мы простим оркестру  
за то, что музыку исторг.

Сомненья лишние отбросьте,  
не так загадка мудрена, —  
мы в сне чужом всего лишь гости  
и наше дело сторона.

Лик. А Художник ищет блика.  
Бывало ль с Вами то, что с ним?  
Порой прекрасное так близко,  
а мы зачем-то вдаль глядим.

## Море

Погрезим о морском просторе!  
Там синь, сиянье, там весна.  
Хоть в сне чужом увидеть море —  
и то заманчиво весьма.

А вот и добрый друг растений,  
жарой полуденной томим.  
Он, кажется, и сам растерян,  
что снится именно таким.

Зачем он согласился сниться?  
Ах, беспокойство, маета!  
Причем здесь лошадь и возница?  
И форм античных чистота?

## Скульптура

Друзья, победа и блаженство!  
О сновиденья произвол!  
Художник ищет совершенства —  
неужто он его нашел?

Удел художника, поэта  
наверно именно таков:  
у классика просить совета,  
ответа ждать от мастеров.

Разъятая на части цельность —  
лишь символ творческих невзгод.  
Художник ищет драгоценность  
гармонии — и он найдет.

Прекрасный, цельный образ мира  
взойдет пред ним когда-нибудь.  
Боюсь, что я вас утомила.  
Позвольте мне передохнуть.

### **Зелёный луг**

Луг зеленый, чистый дождик...  
Может, в этом выход твой?  
Что же ты, наш друг Художник,  
поникаешь головой?

Песенка еще не спета,  
не закончены труды.  
Не послушать ли совета  
неба, дерева, травы?

Ты дошел до поворота,  
от сомнений изнемог.  
Слушай — вечная природа  
подает тебе намек.

Вникни взглядом просветленным  
в прелесть женского лица  
и прочти в листе зеленом  
тайну нотного листа.

### **Художник**

Вы скажете, что неразумен  
мой довод, но сдастся мне,  
что тот, кто наяву рисует,  
порой рисует и во сне.

Вся эта маленькая повесть —  
попытка догадаться, как  
вершит Художник тяжкий поиск  
и что живет в его зрачках.

И вы не будьте слишком строги  
к тому, что на экран легло.  
Тем более, что эти строки  
мне доставались нелегко.

Смотрите, если интересно,  
побудьте без меня сейчас.  
Не думал вовсе автор текста,  
что он догадливее Вас.

### **Монолог художника**

Художник медлит, дело к полдню.  
Срок сна его почти истек.  
Я голосом моим наполню  
его безмолвный монолог.

«Я мучался, искал, я страдал  
собою стать, и все ж не стал.  
Я спал, но напряженьем страшным  
я был объят, покуда спал.

Отчаявшись и снова веря,  
я видел луг, и на лугу  
меня не отпускало время,  
и я был перед ним в долгу.

Хотел я стать светлей и выше  
всего, чем я недавно был.  
И снова ничего не вышло.  
Я холст напрасно погубил»

Он самому себе экзамен  
не сдал. Но все это смешно.  
Он спит и потому не знает,  
что это — сон или кино.

Он выхода пока не видит.  
Лежит, упав лицом в траву.  
Во сне — не вышло. Может, выйдет  
немного позже, наяву.

## Девушка

Мы рассуждаем про искусство.  
Но речь пойдет и о любви.  
Иначе было б очень скучно  
Следить за этими людьми.



Взгляни внимательней, пристрастней:  
холсты, луга, стихи, леса —  
все ж не бессмертней, не прекрасней  
живого юного лица.

Не знаем мы, что будет дальше,  
что здесь всерьез, а что игра.  
Но пожелаем им удачи,  
любви, искусства и добра.

## Город

Кажется, на этот раз Художник обрел то, что искал. А что будет с ним в следующий раз, — мы не узнаем, разве что приедем в Тбилиси и придем к нему в мастерскую. Не взыщите, если эта история показалась Вам замысловатой. Так или иначе — она кончается. Но помните — я задолжала Вам одну рифму.

О зритель, ты бывал в Тбилиси?  
Там в пору наших холодов  
цветут растения в теплице  
проспектов, улиц и садов.  
Там ты найдешь друзей надежных.  
Пусть дружба их тебя хранит.  
Там жил да был один Художник,  
который всех благодарит  
за благосклонное внимание...

**СТИХИ К ФИЛЬМУ  
«СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ...»**

\* \* \*

Вот человек, который начал бег  
давно, когда светало во вселенной —  
не вычислить, какой по счету век  
бежит он вверх и вдаль  
к благословенной и важной цели...  
Что за торжество манит его  
Превозмогать пространство?  
Вот человек. Смотрите на него —  
во мгле веков его лицо прекрасно!  
Он был рабом египетских пустынь,  
изгоем смуглым, что задохся в беге  
и умер бы, когда бы не постиг,  
что суть судьбы есть вечный бег к победе.  
Все прочее — недвижно и мертво,  
а в нем живут азарт и напряженье,  
и золотыми мышцами его  
все человечество вершит движенье.  
Беги, бегун! Беги, мой брат, мой друг,  
усильем духа ты минуешь финиш,  
но вновь затеешь свой победный круг,  
и в день грядущий острый профиль вдвинешь!  
Беги, бегун!

\* \* \*

Ты — человек, ты — баловень природы,  
Ты в ней возник, в ее добре, тепле.  
Возьми себе урок ее свободы,  
Не обмани ее любовь к тебе.

Страдает и желает совершенства  
Души твоей таинственная суть,  
Так, совпадением муки и блаженства,  
Вершит Земля свой непреложный путь.

Ты созидаете сам себя и лепишь,  
И никому невидимым резцом  
Ты форму от бесформенности лечишь,  
И сам себе приходишься творцом.

Твори и впредь, верши заботу эту.  
Повержен ты, твоя печаль темна.  
Но, побежденный, ты вкусил победу  
Над ленью мышц, над скудостью ума.

**ПОСВЯЩЕНИЯ  
И ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ**

## О ТОМ, ЧЬЁ ИМЯ...

*Андрею Битову*

Где Битов мой, с кем стану говорить  
о Том, чьё имя... я сокрою имя  
Того, кто сносит и нестройность рифм,  
и спор с глупцом, и раболепье гимна.  
Он одинок. Он Дельвига любил,  
чью, дни назад, сиротскую могилу  
я видела среди других могил,  
той невдали... вздох обращаю в молитву,  
вспомнив облик девочки-вдовы.  
О ней судачить — сколько появилось  
ревнивиц! Мне и Битову видны  
черт совершенных кротость и невинность,  
и Вяземской. Она — вернее друг,  
чем друг-супруг. Что слава, что учёность!  
Княгини Веры прозорливый дух  
блеск оценил и понял обречённость.  
С ним Пущин был. Он и поныне с ним.  
Я — не о том. Слух о себе хлопочет.  
Мой скудный двор ничей не огласит  
нежданный дружелюбный колокольчик.  
Прилгнула я: не скуден и не мой  
двор, что охоч до сплетен и до мнений  
о том, о сём. Двор оснащён скамьей.



\* \* \*

Мной столько раз восславлен Битов,  
что будет речь моя проста.  
Не слов напыщенность — напиток  
пусть наши усладит уста.

Андрей, тебе не быть богатым.  
Мы вместе — суть, ты — есть, аз есмь.  
Укрась твой стол моим бокалом  
и пой вакхическую песнь.

Тебя корили и карали,  
зато даров полным-полно.  
Прошу тебя: пошарь в кармане  
преподнесённого пальто.

Ах нет, ты юбилеем занят,  
Мой — сбылся, миновал, ушёл.  
Сама, ведомая предзнаньем,  
проникну я в карман чужой.

Андрей, молением ежедневным  
тебе желаю тишины  
и во дворе уединенном,  
и средь поклонниц толчеи.

Ты знаешь сам, что делать дале.  
Прими души моей восторг,  
А также передай Наталье  
не безуханный сей цветок.

2002



## АНДРЕЮ БИТОВУ

*Посвящение в прозе*

*Белла Ахмадулина*

*Борис Мессерер*

Жарким майским вечером сидим мы вдвоем, вернее втроем с собакой, давно уже сидим, если бы незнаемый созерцатель увидел эту тихую, освещенную лампой сцену, он подумал бы, что это согласные друг с другом люди, ничем не занятые, беспечно предаются досугу.

Между тем, это совершенно не так. Их трудное и важное занятие — есть мысль любви к человеку, равно для них драгоценному. Каков же предмет их размышлений и равного обожания? Занятые этим тяжким трудом, они вдруг с печалью замечают, что образ, столь их занимающий, столь им близкий, словно с насмешкой, игриво удаляется от описания, а им так хотелось бы восхвалить и восславить его стройный ум, того особенного свойства, когда он ярко соотнесен с талантом и сумма эта обширна и грациозна. Так они долго сидят, а милая неуловимость уклоняется от погоны их ласк и похвал, и тогда оба неудачливых почитателя говорят: тот кто не поддался ловушке их дифирамба — это Андрей Георгиевич Битов, он прекрасен, у него день рожде-

ния, и у всех нас есть причины ликовать по этому счастливому поводу.

*Белла*

*Борис*

*4 марта 2003*

## НОЧНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Столь хрупкая, что боязно дышать,  
как при свече. Нет, груб и толст эпитет.  
Я Леночкой зову Елену Шварц,  
как град её все называют Питер.

Есть снимок, где вдвоем она и дождь.  
Печаль и ум —  
черт главная подробность.  
И вся она — отверстых пульсов дрожь,  
гордыни скромность и отваги робость.

Уж мая день двадцать восьмой настал,  
не приукрасив смыслом сочиненье.  
Мы встретились всего лишь век назад —  
в столетье прошлом и тысячелетье.

Один ли век иль тысяча веков —  
величина разлук неисчислима,  
ей не перечат почта и вагон.  
Но вот стихи, вот ненаглядность снимка.

Четвёртый час. Ход майской ночи быстр.  
Младенец день — уже юнец пригожий.  
Мне дан талант — её талант любить:  
капризный, вольный, с прочими не схожий.

И мысль о ней, прозрачно непростой,  
свежа, как весть от Финского залива.  
Быть ей никем, ни другом, ни сестрой.  
Родства такого праведность взаимна.

*В ночь на 28 мая 2000 года*

## НАДПИСЬ НА КНИГЕ

*Виктору Конецкому*

В Санкт-Петербург пишу. Звучит неплохо.  
Но так играет в шахматы эпоха,  
чья сложность вкратце — наши жизнь и смерть,  
что улица: «им. Ленина» — как прежде  
зовётся. Нумер дома — двадцать шесть,  
квартира нумер двадцать. Стала реже  
я навещать причал или подъезд  
(по-питерски: парадная). Парада  
в подъезде нет, да и подъезда нет,  
но сам подъезд, жюльверностью пиратства  
въезжает в заумь. Эта пристань есть,  
чтоб адресат пристанище имел  
в уме и в доме.  
Странен Крузенштерну  
сей пишущий, страшась морей?  
Пишу тебе, к столу склоняя шею.  
Прими привет души морской моей.

*Март 1997*

\* \* \*

*Анатолию Жигулину*

Причудливый бродит меж лип господин,  
покинув тайком клавишины салона:  
он бархату предпочитает сатин,  
седин венценосность венчает солома —  
здесь некому грех тавтологий прощать:  
с затычкой в ушах для поимки мелодий,  
со жвачкой в устах и с загадкой в очах  
брезгливо косится юнец мимолетный  
на шляпу, чьи злаки — теперь иммортель,  
я вижу, и шляпы носитель бессмертен.  
Алмазный мой глаз помертвел и смотрел:  
чей был он соратник и чей собеседник.  
С балкона за ним надзирает жена.  
Изделье французов — её ароматы,  
брюссельские носит она кружева,  
отечества сносит она диаманты.  
Кто сей господин? Он — хозяин иль гость  
среди прочих, наехавших и набежавших?  
Что шляпа! Зато какова его трость!  
Аргентума слиток — её набалдашник.  
И аурумом его перст окольцован,  
добытым рабами из северных толщ.

(Я в сумерках парк посвящу Воронцовым,  
которые — черточка — Дашковы тож.  
Я вскорости этой займусь оговоркой,  
но лацкан сатина под правым плечом  
украшен значком, достославный Георгий  
Святой, разумеется, здесь ни при чём.)  
Завидев того, кто под липами парка  
гуляет, надменно я прочь поспешу.

Ему неприятна страннейшая пара,  
ему, но не мне, я её опишу.

Другая мне видится странная пара:  
вот дама — вся в белом, и шляпы вуаль  
лицо затеняет. Я — автор и право  
моё — написать: ты таких не видал  
ходящих в обнимку, любезный читатель.  
Да, дамочка в белом. Наряд полосат  
её собеседника. Автор — бестактен  
иль безрассуден. Нельзя описать,  
как вдоль аллеи проходят те двое:  
в белом одна, в полосатом другой.  
Всё говорят о неволе и воле.  
Каждого помнят, кто мёртв, кто — изгой.  
Ежели жив, будь сохранен, кто изгнан  
из... из всего. Я гляжу из темна  
в тайну. Больницы белеющий призрак,  
двое бредущих — Жигулин и я.

*Июль 1998*

\* \* \*

*В.П. Аксёнову*

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

*А. Пушкин*

Мы — в доме, что воздвигли ЗЕКи,  
чей вещий дар нам нагадал:  
пребудут помыслы надземны,  
но душ возглавье — Магадан.

Печальный школьник магаданский,  
живи: страдай и мысли, здравствуй:  
зэ-ка — всевечный аноним —  
стилом воспет — стеклом храним  
его автограф в кабинете  
твоём. Везувию иль Этне  
что — мир оливковых равнин?

Высокородное собранье —  
превыше, чем высотный дом.  
Жаль: две отсутствуют собаки.  
Твой, знаешь кто, и мой Гвидон.



Мы — должники лишь мыслей высших  
и небу возвращаем долг.  
Твой опечалится завистник:  
дарю тебе старинный дом.

Не ведаю: хулой, молвой ли  
вспомнят... Дар — необъясним,  
как маленькие самолёты  
иль из Марокко апельсин.

Всяк век мучителен и долог,  
лишь нежность дружества свежа.  
Сад мной подарен. Вот и домик,  
да не иссякнет в нём свеча!

*29 ноября 2002*

**ЭКСПРОМТ  
В ЧЕСТЬ ВЕЧЕРА ВАСИЛИЯ АКСЁНОВА  
11 ЯНВАРЯ 1999 ГОДА**

Друзья, коль спросит дерзость ваша:  
мила ль мне жизнь? — вскричу: о да!  
Явился Новый год и Вася —  
один, а Новых года — два.

Единственное и свежее,  
чем нам ниспосланная ель,  
он — хвойно-сумрачен. Ужели  
мне вновь прощаться с ним и с ней?

Ученой горечи достачей,  
мне ль горевать в году другом,  
коль я снесла восьмидесятый,  
разлучный и смертельный год?

Семь лет на душераздиранье  
ушло, за горизонт зашло.  
Гнушаясь высшими дарами,  
я вопрошала их: за что?

Ответ небесный обоснован:  
расплаты справедлив отсчёт.  
Не сам ли возвестил Аксёнов,  
что опыт наших душ — ожог?

Рукой беспечной наспех создан,  
мой не забудет мадригал,  
что мальчика билетом звёздным  
снабдил наставник — Магадан.

Все беды я сочту за малость,  
сюжета преступлю порог,  
когда вспомню нашу младость,  
пир размышлений, мысль пиров.

Словес *таинственный* астролог,  
добытчик неизвестных лун,  
джинсовый, джазовый Аксёнов  
дразнил всеобщий спящий ум.

Все дети новых дней — лишь дети  
пред ним, хоть мил их прыткий стан.  
Он был одет, как вольный денди —  
с иголки враждебных стран.

Был силуэт его фатален,  
и комсомола костолом  
не знал, что дух его витает  
меж Колымой и Костромой.

Войдёт, плащ длиннополый скинет:  
— Привет! — и ликовать пора.  
При этом был он резвый схимник  
суровой лампы и пера.

Итог парений самовольных:  
журнал хвостатый не простил  
и маленький мой самолётик,  
и марокканский апельсин.

Понять и ныне не по силам:  
чем прогневили всю печать  
безгрешность наших апельсинов  
и самолётиков печаль.

За что невинный плод ощипан,  
летатель вымыслов сгорел?  
Но чем отверстей беззащитность,  
тем пристальный прицел свиреп.

Мы — чистой радости искали,  
рос расточительный запас.  
Мы мало думали о славе,  
но слава вглядывалась в нас.

Ловил нас гость иноплеменный,  
пеняла на ошибки власть,  
но нас любил народ в пельменной,  
что «ахмадуловкой» звалась.

Рискуя рифмой неисправной  
экспромт покинуть на весу,  
я уточню: мы вместе с Прагой  
свою покинули весну.

Как раз был Васин день рожденья.  
Уж августа двадцатый день  
истёк — в поступки и решенья  
вмешалась роковая тень.

С воспоминанием зловещим,  
о слушатель, повремени!  
Не завтра ли Васильев Вечер?  
Васильевы — все дни мои.

Смысл в том, что осенён Аксёнов  
неиссякаемой звездой,  
и спорит с этой аксиомой  
лишь второгодник молодой.

\* \* \*

«Расположились мы нагло и вольно  
в лучшей гостинице города Кёльна».

*В. Высоцкий (из письма к Б. Ахмадулиной)*

Продолжить повелел... быть по сему, Володя.  
Мне страшно преступить незнаемый рубеж  
меж вечностью и днём, где поступь новогодья  
в честь поросли молодой уже взяла разбег.  
Мысль о тебе ясна. Созвучья слов окольны.  
Мороз, а солнца нет... всё смерклось в буре-мгле.  
Но был чудесный день. Ты и Марина — в Кёльне.  
Так я пишу тебе вне правил б у р и м е,  
вне правил общих всех, вне зауми решенья  
тебе воздать хвалу, что, как хула, скушна.  
Солнце-морозен день твоего рожденья.  
Чу — благодать небес к нам, сирым, снизошла...

1999

\* \* \*

*Владимиру Высоцкому*

Всё чаще голос твой... —  
из чаш каких? из куш? —  
приходит в сны мои,  
прощая... окликающая...  
Куда меня зовёшь? О, знаю: не могу  
твой голос звать меня туда, где ты...  
Но скушно там, где я и нет тебя. И сущ  
вопрос небес ко мне: а ты — какая?

Так мучусь, брат мой, друг.  
Свидания во снах — таинственная участь.  
Но даже сны мои — твой неусыпный труд,  
упасший жизнь мою. Позволь сказать: живучесть.

*Январь 1987*

\* \* \*

*С.В. Шервинскому*

Я возжигала в полночь две свечи.  
Лоб занимался помысла ростком.  
Вблизи смиренно теплилась лампада.  
Дни февраля мы бережно сочли,  
сплочённые бесхитростным родством,  
как снег и двор, как дворник и лопата.

Март наступил, не повредив зиме.  
Событий всех важнее их канун, —  
так думали мои огни и гасли.  
Лоб предавался черноплодной тьме.  
Но иногда Шервинский и Катулл  
являлись мне в созвучье и согласье.

Не стану странной тайны объяснять.  
Возбрел лоб, приняв в часу шестом  
за свой успех поспешность кофеина.  
Поэт с Поэтом виделись во снах.  
Но мне казался римлян божеством  
тот, с кем я лишь однажды говорила.

Уж дворника с лопатой пример  
стал явью, хлопотавшею внизу.  
Бранилось с ним водителей собрание.  
Брело дитя, влачившее портфель,  
и, внюхиваясь в близкую весну,  
гуляли меж сугробами собаки.

Я лоб спросила: высоко ль возрос  
прозрачный стебель в призрачном саду?  
на что извёл он двух свечей раденье?  
Не пожелал ответить на вопрос  
садовник-лоб, имеющий в виду  
вот этих строк невзрачное растение.

*В ночь на 13 марта 1999 года*



\* \* \*

Все знают, что великий Плучек —  
главней, чем всякий властелин.  
Пред ним — единственным и лучшим  
мы все навытяжку стоим.

Что всех нас ждёт? Укор? Награда  
улыбки? Бог меня упас:  
я — не артист и мне не надо  
почтительно страшиться вас.

Угодья Боткина — целебны.  
Мне ведомо: кто я, кто Вы,  
но здесь мы оба пациенты,  
и в этой должности равны.

Меж нами быть не может прений.  
Примите добрый мой привет.  
Я Вас хочу поздравить первой,  
поскольку — дама и поэт.

Я дерзость моего решенья  
дарую Вам не в первый раз:  
в ночи, в начале дня рожденья  
с любовью поздравляю Вас.

3 сентября 1999

\* \* \*

*Эдуарду Жилко*

Мой Дэдик! Всё же имя: Дэльви́г —  
в моём присутствует уме,  
когда приходишь ты ко мне.  
Не надо почестей и денег  
и ничего не надо, Дэдик,  
лишь протяни твою мне руку,  
обнимемся, поднимем рюмку —  
и станет так светло во мгле.

*10 апреля 1999*

**ШУТКА ДЛЯ МИЛОГО ДЭДИКА  
В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ  
(Дарственная надпись на книге  
«Три века русской поэзии»)**

*Эдуарду Жилко*

Как щедр сей фолиант, о Боже!  
Три века в нём — и всяк суров.  
Здесь в западне одной обложки  
томятся Дельвиг и Сурков.

Сурков, замечу между делом,  
мои возглавил времена.  
Мне жаль тебя, любезный Дельвиг,  
но пожалей и ты меня.

Среди пиитов и поэтов  
меня, читатель, не ищи.  
В столетье том, в столетье этом  
нет места для моей свечи.

Есть выход! Есть лазейка входа!  
Насильно втиснусь в гордый том.  
Мне быть пронырливой охота —  
один лишь раз есть в этом толк.

Хочу из книги молвить: — Дэдик!  
В день тридцать первый октября,  
среди печалей тех и этих,  
дай нам благословить тебя.

Ты — друг друзей, родитель деток,  
ты — завсегда́тай всех пиров,  
но ты — и заседатель, Дэдик!  
Будь справедлив и будь здоров.

Стишок бесхитростный рисуя,  
скажу: коль был бы, Дэдик, ты  
один вершитель правосудья, —  
достало б миру правоты.

Но есть другие в мире лютном,  
привыкшем бить и убивать.  
И ныне на тебя лишь людям  
осталось, Дэдик, уповать.

О Дэдик, будь отцом и дедом,  
а мне всегда ты будешь — брат.  
Как я люблю в тебе, о Дэдик,  
что ты влюблён, и пьян, и прав.

*1 ноября 1980*

## ЮРИЮ РОСТУ

**«Мой пѐрвый другъ, мой другъ бѣзцѣнный» —  
люблю строки печаль и блеск.  
Всѣ, что пишу, не есть «Bestseller»,  
лишь для тебя азъ ѣсмь «the Best».**  
Ты — друг мой, ныне наипервый,  
не потому, что вдалеке  
друзья другие ...Премий, прений  
вдали пребудем... Налегке  
претерпим высоту сиротства.  
Кого воспеть в сей первый день?  
«Читатель ждетъ ужъ рифмы»... Роста  
хваляю... (но роза — есть и здесь).

*1 февраля 2003 года*

\* \* \*

*Ю.П. Любимову*

Пишу — весь день, всю ночь, всё утро,  
от света мглы не отличив.  
Длинноты — прихвостни рассудка,  
чей пылкий слог велеречив.

Где краткость? Я хочу Театра  
восславить неземные сны.  
Но — то ли нет во мне таланта,  
то ль не имеет он сестры.

О да! «должна быть глуповата»  
та, чей прельстителен азарт!  
Но не учла пера повадка,  
кто это и кому сказал.

Вернее — написал беспечно.  
Мои же рифмы осмеют  
меня, коль помяну поспешно  
ума утрюмый абсолют.

В словесных я тону лавинах  
Окольный путь витиеват.  
Героем помысла — Любимов.  
Смысл посвящения: виват!

При том и слова не проронишь,  
кому прискучил гул похвал.  
Позвольте мне, Юрий Петрович,  
нижайше поклониться Вам.

Прямик указывают к цели  
и повеленье, и совет:  
жить так — как на отверстой сцене,  
на страже совести своей.

\* \* \*

*Володе Васильеву  
и Кате Максимовой*

Считать я стала до восьми  
в семь лет. Вёл путь высокородный  
дитятю, сквозь разор весны,  
в театр — большой, восьмиколонный.

Напялить бант и ветхий шёлк, —  
но и зазорные калоши, —  
в бинокль слезы меж глаз и щёк  
узреть колонны, люстры, ложи...

Потом — считать до четырёх.  
Невежда возлюбил галёрку.  
Его ума чертополох  
питал чертог, где тесно локтю.

Четвёрки — свет во дне плохом.  
Он во всеобщей рос квартире,  
где знал один: кем Аполлон  
коней приходится квадриге.



Учиться счёту не горазд,  
в театре, в плюше, в позолоте  
он сиживал... Но сколько раз  
он думал: ждёт ли? позовёт ли?

Балета маниаком став,  
роднѣй и ровнею народа  
очнулся он и всем устам  
всех ярусом он вторил громко.

Как мне взлетать и падать где?  
Я — старой грамоты виола  
Моё с Борисом па-де-де,  
примите, Катя и Володя.

## ПОСВЯЩЕНИЕ

Как второгодник-тугодум  
вотще решающий задачу —  
ответа жду от солнц, от лун:  
что я на этой сцене значу?

Не мучь, о музыка, не снись!  
Мы все вины не искупили.  
Мы все пред музыкаю — ниц,  
все — должники её скупые.

Уста от слов не уберечь,  
уста к словам не приневолить.  
Сначала — музыка, но речь  
вольна о музыке глаголить.

Ум изнемог и ослабел —  
желанья праведного ради:  
воспеть Башмета силуэт,  
восславить упаданье пряди.

Хвала артисту надоест.  
Гортань — оркестрик самоволья:  
до-до-докучлив до-диез  
с оскоминою си-бемоля.

Мне нот знакомы имена.  
Возрос мой голос и напрягся:  
учили музыке меня.  
Но каркает бекар: напрасно!

Покуда школьный бал шумел,  
невзрачных дел кружа наряды,  
благоволил ко мне Шопен,  
но Гедике простил навряд ли.

За музыкантом по пятам  
брести бы в маске анонима.  
Он — не гордец и не педант.  
Его величье — шаловливо.

Улада службу отстоять —  
одним, других терзают звуки.  
Мой признаётся диссонанс,  
что музыка — сообщник муки.

Согласье розных мук — талант.  
Но эту грациозность жеста,  
и эту прядь, и этот альт  
спроста мы примем за блаженство.

Рассудок бытия смещён.  
Душа свежа и плодородна.  
Пусть ей потворствует смычок  
и альт в ловушке подбородка.

Веселье рифм на нет сошло.  
Остался мне поклон прощанья.  
Хотелось говорить смешно.  
Простите. Вышло, что — печально.

Всего, что есть, иссякнет срок.  
Пребудет музыка бессмертна,  
знать не желая — кто экспромт  
в ночи содеял для Башмета.

(А это была я: Белла Ахмадулина)  
*январь 2008*

\* \* \*

В реанимации туманной,  
где шприц свирепствует гуманный,  
я вчуже за собой слежу:  
куда лечу и где летала.  
А напоследок я скажу:  
Люблю Рязанова Эльдара!

Не зря великодушный Боткин  
приют больным и сирым дал.  
Мы в сборе. Хором, пусть не бойким,  
согласно шепчем: о, Эльдар!

Средь бед и боли бездн разъятых  
в сей день душа — легка, чиста:  
Опять Эльдар, опять Рязанов  
утешил зябкие уста.

*18 ноября 1997*

## **НЕЖЕСТОКИЙ РОМАНС**

*Эльдару Рязанову*

А на последок я скажу:  
мысль сердца не вотще летала.  
Главу склоню, дары сложу  
к стопам Рязанова Эльдара.  
Романса знаменит мотив.  
Влюблённой в общий праздник дланью  
стишки, свечу и аметист  
дарю Рязанову Эльдару.  
Среди разъединенных дружб,  
всемирных бедствий и разладов,  
есть утешитель дум и душ,  
избранник муз — Эльдар Рязанов.

*7 января 2003 года*

\* \* \*

*Зое и Павлу Антокольским*

Люблю, люблю! — при снегопаде,  
угодном нынче январю,  
дарю себе листок тетради,  
которую я Вам дарю.

Я к Вам бреду сквозь сад — и рада,  
что между нами лишь одна  
преграда: слабая ограда  
вкруг сада, снег и тишина.

В родимом доме, в зябком зное  
обмолвок, ямбов и вина  
душе моей влюблённой — Зои  
и Павла светят имена.

С глубокой нежностью и болью  
целую Вас и говорю:  
Пусть служит Вам моей любовью  
тетрадь, которую дарю.

*1 января (13 января) 1967*

\* \* \*

*Зое и Павлу Антокольским*

Ход вам навстречу так плавлен,  
и зова вашего звук —  
это добрая весть.  
Вот уже: — «Здравствуйте,  
Павел и Зоя» — я говорю,  
и покуда я есмь,  
кроме тишайшего звона —  
я правил знать не умею.  
Всё сказано. И недосказано.  
Зоя и Павел — вот я.  
Но Зоино прозвище «Эльф»  
вряд ли подходит для паники зоба.  
О, не накликать! Но что это?  
Смерть. Разве мне боязно — Павел и Зоя —  
свидеться с вами  
туманности средь.

1985



\* \* \*

Любовь моя, Ваш день рождения  
я ныне начала, когда,  
в свой срок, сокрытая от зренья,  
взошла полночная звезда.

На чердаке, в ночной свободе,  
о Вас молился бред строки.  
Но прибыль света в небосводе  
опережала бег руки.

Всё, что меж мной и Вами было,  
возможно ли предать словам?  
В ответ на мой вопрос — светило  
сбылось и относилось к Вам.

Став соучастником восхода,  
я, ничего не написав,  
спокойна стала, как природа,  
здесь на земле и в небесах.

Рассвет июльских первых суток,  
безумная, я приняла  
за Ваш триумф, за мой поступок  
во славу Вашего числа.

О чём писать? Я самозванка,  
я — Ваша выдумка, я вздор.  
Так длилась наша перебранка,  
любви извечный разговор...

И раздаётся смех небесный,  
и знаю: день житья-бытья  
что значит по сравнению с бездной,  
где неразлучны Вы и я?

## **АЛЕКСАНДРУ МОИСЕЕВИЧУ ЭСКИНУ в день Торжества 27 апреля 1976 года**

Хитёр поэт, коль он пришёл под видом дамы.  
Что с дамы взять? Всегда виновен лишь поэт.  
Вот новость про меня: открыть уста в честь даты  
(коль дата мне мила) — я не стыжусь, о нет!

Где речь о Вас, мой друг, — там помысел о сцене,  
о таинстве кулис, о пышности тирад.  
Какие имена! И нет священной цели,  
чем детскою душой боготворить Театр.

Где о Театре речь — там нет моей гордыни.  
Я — чёрный раб его белейших фонарей.  
Какой бы небеса звездой ни наградили —  
всё милостыни жду у сих святых дверей.

Опять Театр возжёт возвышенные свечи,  
и мы при них — в слезах, как сотни лет назад,  
и надобен губам прилив старинной речи,  
и бескорыстный свет затеплился в глазах.

Но речь о Вас, мой друг. Бессмысленно и скушно  
сбираться для тщеты, для совершенья зла.  
Мы собрались вокруг Вас — в честь Вас и в честь  
искусства,  
и смеем полагать, что собрались не зря.

Хоть некогда ко мне благоволила Муза,  
я всё ж из тех, кто глуп и в зеркало глядит.  
Позвольте Вас хвалить и за осанку мужа,  
чей грациозен дух и благороден вид.

Ах, просто день таков, что хочется добра лишь!  
Я Вас благодарю за эту благодать.  
Слукавишь невзначай — вовеки не поправишь.  
А нынче день таков, что нет причины лгать.

Поверьте, что пиит, терзаемый глаголом,  
Вас искренне любил и чувству доверял.  
По праву тех, чей сан зовётся слабым полом,  
смирненно Вас прошу принять сей дифирамб.

*Апрель 1976*

\* \* \*

*Александрю Левину*

Благодарю тебя, мой Левин,  
за то, что был великолепен  
странноприимный странный дом  
(сей адрес; «Кировский, шестнадцать»,  
по свету белому шататься  
установ, — туда с собой возьмём).

Благодарю тебя, профессор,  
за то, что ветрен ты и весел  
(сквозняк меж морем и Невой  
не столько ветреник, сколь твой  
нрав непреклонный и живой).

Благодарю тебя, мой Алик,  
за дружбу, за любовь (и шкалик  
мы упомянем, чёрт возьми),  
за лёгкость мысли, за отраду  
ходить с тобой по Ленинграду  
зимой — но в близости весны...

1978

*Ленинград*

## ПОСВЯЩЕНИЯ НАНИ

### 1

Так я жила-была: не зная,  
какой была, пока жила.  
Но знаю: я была не злая.  
Теснила сердце мне сквозная  
с метелью схожая жара.

Холодной бедственной зимою  
мой голос так я берегла,  
что если он ещё со мною,  
то не меж грудью и спиною  
берёт исток его река.

Знать, не во мне его начало:  
вовне и выше, где — звезда.  
Я пела, если я молчала,  
не взявши маленького часа  
для передышки — никогда.

Пусть длится шутка небосвода  
без вас такая ж, как при вас,  
вчера такая ж, как сегодня,  
душа добра, душа свободна,  
угодно ей воспеть романс.

Звезда потворствует и мучит.  
Что вечность мне? Мне жизни жаль.  
Я упусти — звезда получит.  
Я не о том. Ты, мой голубчик,  
повремени, не уезжай.

Голубчик мой, голубчик чей-то,  
какой великий чудный вздор.  
Сколь тщетны все мои мученья,  
коль звук, в котором нет значенья,  
слезами застилает взор.

## 2

Не довольно ли нам пререкаться,  
не пора ли предаться любви?  
Чем старинней наивность романса,  
тем живее его соловьи.

То ль в расцвете судьбы, то ль на склоне,  
что я знаю про век и про дни?  
Отвори мне калитку в былое  
и былым мое время продли.

Наше «ныне» нас нежит и рушит,  
но туманы сирени висят  
и в мантилье из сумрачных кружев  
кто-то вечно спускается в сад.

Как влюблён он, и нежен, и статен.  
О, накинь, отвори, поспеши.  
Можно всё расточить и растратить,  
но любви не отнять у души.

Отражён иль исторгнут роялем  
свет луны — это тайна для глаз.  
Но поющий всегда отворяет  
то, что было закрыто для нас.

Сколь старинны, а не постарели  
звуки пенья и липы аллей.  
Отвори! Помяни поскорее  
ту накидку и слёзы пролей.

Блик рассвета касается лика.  
Мне спасительны песни твои.  
И куда б ни вела та калитка —  
подари! не томи! отвори!

### 3

Из высшего мрака, из вечности грозной  
кто смотрит так пристально вниз?  
Дитя! Не тянись весною за розой!  
Дитя! Ни за чем не гонись!

Вовек не тянись! Но зимою и летом  
пред всем, что увидишь, склонись.  
Земными цветами, заоблачным светом  
воздастся тебе. Не тянись!

Что можно добыть — всё пустое, всё мелочь.  
Безмерно — что можно отдать.  
Отдай все цветы. Всё отдай, что имеешь.  
Ликуй, отдавая опять.



Пусть тянутся алые розы за нами,  
фиалки к ногам упадут.  
Дары нас настигнут, как песенка Нани,  
что выпорхнет скоро из уст!

## 4

Дали жизни, прекрасно короткой,  
и ещё, чтоб не вовсе ушли,  
дали душу и голос, который  
равен смыслу и свету души.

И пока небеса не отняли  
то, что дали, — сама расточу.  
Эта песнь посвящается Нани.  
Это — песнь, если я захочу.

Мне неведомо: может быть, скоро  
разминёмся. Но если хоть миг  
мне остался, то всё ж для экспромта  
он достаточно долгод и тих.

Предадимся любви и влеченью —  
взять на время и на времена  
голос Нани: серебряный с чернью,  
мрачно-алый, как старость вина.

О, нажива: прожить и потратить,  
песни петь, словно перстни ронять.  
Труд поющего горла — подарок.  
Нам осталась забота: принять.

Зорок свет небосвода над нами.  
Тень грядущего — в бледности лиц.  
Но какая свобода, о Нани, —  
обольщать, обожать и шалить.

Так наш дух к расточительству жаден:  
мы возносимся, падая ниц,  
чтоб взглянуть на певца с обожаньем  
и к ногам его лоб уронить.

1978

## КОЗЛЁНОК

*Анатолию Львовичу Каплану*

Раз месяца нет над дорогой, —  
дорогу не сразу найдёшь.  
Но, к счастью, козлёнок двурогий  
на месяц двурогий похож.

Восьмой и счастливый козлёнок,  
во тьме излучает он свет.  
И семеро братьев казнённых  
не умерли вовсе, о, нет!

Когда в чисто поле он выйдет,  
он глазом так мило косит.  
Козлёнка никто не обидит!  
Козлёнка никто не казнит!

Не ест он капусты казнённой.  
Средь жёлтых цветов и травы  
белеет-гуляет козлёнок.  
Спасибо ему за труды!

Как смех его тонок, как звонок!  
— Всё грустно! — вы скажете, но —  
смеется печальный козлёнок,  
поскольку всё это смешно.

Живет наш козлёнок на свете.  
И — тысячелетье подряд —  
вослед ему люди и дети  
с любовью и верой глядят.

Во тьме, средь созвездий зеленых,  
всё ж — пусто, куда ни взгляну.  
Но, к счастью, подросший козлёнок  
немного похож на луну...

1979

\* \* \*

*Виктору Ерофееву*

Крепнет и множится вихрь, обрывающий  
лист от растения, душу от плоти.  
Но от меня не отъявший товарищей, —  
нищ он и жалок, дела его плохи.

Бедный простак, объедатель отечества,  
дланями узников шарящий в недрах,  
други его — его крахом утешатся.  
Я? — Я бы выбрала мыкаться в ненях.

Жалко подслеповатой змеиности,  
лучше б съюлила с пути рокового.  
Грустный удел: у собак быть в немилости  
и привлекать к себе гнев граммофона.

Мы-то любимцы созвездий, мы — баловни  
беды дарующей, пристальной силы.  
Други мои, словно прочего мало мне,  
как вы красивы, о, как вы красивы.

Виктор, вот ручка из края Рокфеллера.  
Роскошь судьбы ещё не оскудела.  
Пьём за Попова, за Ерофеева.  
Выпьем за Битова, за Искандера.

Ваша навек, а сегодня особенно.  
Пиршество — вот наша участь и право.  
Если учесть благосклонность Аксёнова,  
это — виктория, а не опала.

1979

\* \* \*

Не состязались. Но реванш —  
не мой. Мой проигрыш — в охоте  
за мыслью: как сказать, что — Ваш  
одиннадцатый в Новогодье

мой день. Ночь перед днём и день  
пред ночью. Дни и ночи — сколько? —  
Бог весть. Для счёта дней, недель  
у вечности нет микроскопа.

Ваш день я провожу как свой.  
Снег, слякоть, толчея людская.  
Покупки, вздоры, жизнь. А стон —  
есть тайна. И не допуская

глаза — к слезам, уста — к словам,  
прохожих бедных — к тайне стона,  
я в чём-то присягаю Вам.  
Когда не сплю и сонно-сонно

я вижу Вас. Тот чёлн, ладью,  
иль катер. Озеро. Истоки  
грядущего. Я то люблю,  
что Вы красавица и строги.

Но в Вашей строгости изъян  
есть несомненный: слабость, минус.  
Мы — все. Меня из всех из нас  
Вы выбрали, чтоб только милость

мне выпала. Был кроток жест  
ко мне и не повинен в силе.  
Так Вы за то, что здесь и есмь,  
меня заведомо простите.



\* \* \*

*Арону Буху*

Любезный друг, мой милый Бух!  
Пишу не второпях, но вкратце,  
не потому, что жалко букв,  
а потому, что чаю вкрасться  
в первопрестольный град Москву.  
Я, впрочем, новостей не иму.  
Семнадцать дней цветёт в мозгу  
лишь дань черёмухову игу.  
Увы, черёмухи моей  
соцветья бледные сгорели.  
Я б не снесла печали сей,  
когда бы не прилив сирени.  
Сирень вселилась в интерьер,  
тебе, как никому, известный.  
Прочти посланье — и скорей  
супруге кланяйся прелестной.  
Я твой передала привет  
обрадованной им Наталье  
Ивановне. Прощай, мой свет.  
Трудись и благоденствуй дале.

*17 мая 1983**Таруса*

\* \* \*

*Асафу Михайловичу Мессереру*

И волос бел, и голос побелел,  
и лебедята лебедю на смену  
уже летят. Но чем душе балет  
приходится? — уразуметь не смею.

А кто я есмь? Одиллий и Одетт  
влюбленный созерцатель обречённый.  
Быть может, среди предсмертных лебедей  
я — самый чёрно-белый, бело-чёрный.

С чего начать? Не с детства ли начать?  
Вот — я дитя. Мне колыбель — Варварка.  
Недр коммунальных чадо я, где чад  
и сыро так, как в сырости оврага.

И вдруг наряд из банта и калош.  
Театр, клянусь, я не умру, покуда  
не отслужу твоих восьми колонн  
стройнейший строй вблизи любви и чуда.

Театр, но что меня с тобой свело?  
Твой нищий гость, твой тугодум младенец,  
я — бархата, и злата, и всего  
сверканья расточительный владелец.

Мой нищий дух в твой вовлечён полёт.  
Парит душа и небу не перечит.  
Ты — Божество, целующее лоб.  
И плачу я, твой безутешный грешник.

Во мне — уж смерклось, а тебе — блеснуть  
без убыли. Пусть высоко и плавно  
парит балет — соперник и близнец  
души, пока душа высокопарна.

1983

\* \* \*

*Марлену Хуццеву*

Мне ль помышлять о примиренье  
вражды, содеянной людьми?  
Не лучше ль думать о Марлене,  
о дружбе душ и о любви?

Творцы и жертвы синема,  
все — пасынки иль сыновья  
твоих ста лет, кинематограф.  
Блажь сердца, зренья синева  
в которых мучима конторах, —  
забуди! Воспомним о любви,  
о дружбе душ и о Марлене.  
Неплавный ход его лады  
ходов иных — родней, милее.  
В уме ленивом — мало лени  
дабы не думать о Марлене  
и скрыть, что мной любим Марлен.  
Вот — подношение Марлену.  
Давненько мне не двадцать лет.  
Но кланяться — ещё умею.

20 ноября 1995

\* \* \*

Восславим дам, как Пушкин нам велел.  
Все — ниц пред обаяньем их целебным.  
Галантно ль быть их вялым пациентом?  
Ни-ни! Я — их певец и кавалер.

Какой тебе ни уготован пол,  
коль петь рождён — пой женщин несравненных.  
Отличен от возлюбленных неверных,  
всегда о них печётся мой глагол.

Итак, турнир красавиц, умниц, тех,  
в чьей белизне нет тёмного пробела.  
Пред Клавдией Степановной робея,  
ей подношу мой раболепный текст.

Экспромт — не скор, и неуклюж сюрприз.  
Но как мне быть? Пристало ли пииту  
вот так встречать прелестную Лолиту,  
как я, в себя её вбирая шприц?

Замечу: так нежна её рука,  
что но-шпа мне — любезней прочих лакомств.  
Чтобы Лолите не случилось плакать,  
моя рука — вдруг станет ей нужна?

Я возлюбила этот дом и сад,  
двух львов в саду. Сквозь димедрол и но-шпу,  
мне кажется прозрачной этой ночью:  
я вижу свой, к Вам устремлённый, взгляд.

Войду ль сестрой в белейший круг семьи,  
трепещущей, чтоб чьи-то пульсы жили?  
Здесь были мне страдания чужие  
родимее, чем горести мои.

Как мой привет, примите сей рассвет.  
Какую мысль ловлю во лбу ладонью?  
Пусть за любовь воздастся Вам любовью.  
Пусть белый свет к Вам будет милосерд.

1984

*Ленинград*

\* \* \*

*Булату Окуджаве*

Средь роз в халате и в палате  
я не по чину возлежу.  
И всё тоскую о Булате,  
всё в сторону его гляжу.

Когда б не димедрол и но-шпа,  
я знала, что заря всенощна.

Здесь вдоль гранита тени бродят,  
здесь на ночь все мосты разводят —  
один забыт и не разъят  
меж мною и тобой, Булат.

1984

*Ленинград*

**Дарственная надпись  
на книге «Гряды камней»**

*Булату Окуджаве*

Булат — суров, на ласку скуп.  
Несмело я звоню Булату.  
Читатель ждёт уж рифмы: «слух».  
У рифмы я в гостях бываю,  
звоню; Булат: — «Варю я суп», —  
варить? дарить коня улану?  
Но по Тверскому по бульвару  
когда я, крадучись, иду,  
лицо у многих глаз краду:  
лицо посвящено Булату.  
И знаю: выше есть любовь  
любви. Читатель ужаснётся.  
Но только пусть твоя ладонь,  
твоя, а не моя ладонь  
лба охладевшего коснётся.

*31 августа 1995*



**ЭКСПРОМТ К ОТКРЫТИЮ ВЫСТАВКИ,  
ПОСВЯЩЁННОЙ «Евгению Онегину»  
в Музее изобразительных искусств  
имени А.С. Пушкина**

Вспять времени прыжок окольный  
стремглав свершив во дне ль, во сне ль,  
воспомню я, как праздник школьный  
желал Онегина воспеть.

Судим указкою уроков  
за то, что чужд ему прогресс,  
Он слыл вместилищем пороков —  
и свежих душ мужал протест.

И все ленивицы тетради,  
и все, в чьих лбах блистал надрыв  
учёности, — письмо Татьяны  
читали, как своё, навзрыд.

Лишь младшей девочке иная  
досталась роли западня:  
морщинами чернела няня  
в лохмотьях как бы зипуна.

Моей учительницы козырь  
таился до поры во мне.  
Она не знала, как злокознен  
был замысел в младом уме.

Отвергнув бант и фартук белый, —  
увы, тот миг невозвратим, —  
что «трусоват был Ваня бедный»,  
мой голос мрачно возвестил.

Кладбище, склонность вурдалака  
кровавить лакомством уста...  
Но слово милое «собака»  
я с нежностью произнесла.

Учительницы упованье  
сбылось угрозою невзгод,  
и вышел прочь бледнее Вани,  
из районо прибывший гость.

Служа грядущему обычью  
не вымогать аплодисмент,  
я шла домой, как по кладбищу.  
На щёк пыланье падал снег.

Мне предстояло упоений  
так много в будущего мгле,  
где здрав и бодр смешливый гений,  
сей вздор не возбранивший мне.

*3 декабря 1998 года*

\* \* \*

*Борису Толоклову*

На Эйфеля был зол Золя.  
Парижа дерзкая новинка  
ему претила. Но — наивна  
суть поединка такого.  
над башней Бори Толокнова  
уж воздымается заря.  
Дымы, и думы, и дома,  
и здание, где я, — есть знанье  
несовершенного ума  
о том, как много жизнь дала,  
но взывает долг: любя, терзая  
мой лоб. Как всё старо, как ново.  
Кто разрешит извечный спор?  
Прошу Бориса Толокнова  
принять предутренный экспромт.

*В начале 7-го часа  
5 ноября 1995*

\* \* \*

*Татьяне и Зинивию Гердт*

Как я люблю Вас, Таня, Зяма!  
Душа устала и озябла:  
давно не видела я Вас.  
Примите обожання власть  
мою и многих... Знаю: завтра —  
уже сегодня — я тебе  
преподнесу книжонку прозы.  
О Зяма! Нет иного знанья,  
в твоём согреюсь я тепле,  
спрошу: что возраст? Мы не взрослые,  
возросши с мыслью о тайге,  
«Читатель ждёт...», но вот и розы.  
Предслышу, ты ответишь мне:  
Меж нами разницы и розни,  
разлуки нет, нисколько нет.  
Живём, как небеса велели,  
И Снежной королевы гнев  
растопит нежность Герды...

Гердт!

горжусь: мы в замкнутом вольере —  
вольнее поднебесных птиц.

Прости посланья робкий грех.  
Люблю предутреннюю тишь.  
Писала, уж рассвет синел,  
и всё нежнее и сильней  
твои мы: Боря Мессерер  
и Белла.

*21–22 сентября 1996*

\* \* \*

*Семёну Кирсанову*

Не надо! Никогда! — ни дома и ни сада,  
и гостя не зови в былое, в дом и сад,  
здесь кто-то жив другой, кто он ни есть, — отрада,  
что есть и жив, дай Бог, — но всё-таки... ограда  
другая... как войду? и для каких услад?

Не надо! Не владей ни садом и ни домом  
и гостя не зови в былое, в летний день.  
Владенье есть одно — с недолгим и знакомым  
виденьем совпадёшь, со светом законным  
былого дня — то я. Прости, люблю, владей.

*18 сентября 1986*

\* \* \*

*Михаилу Чехову*

Ночью подъехала к дому.  
Кротко сказала вознице:  
— Я здесь пробуду недолго.  
Впрочем, заранее возьмите  
и подождите. —  
Резвилась  
мысль про цветы, ибо цены  
меньше на них в Таганроге.  
«Кружка для кваса разбилась.  
Лампа и стёкла к ней целы».

Огнь на мысу, весть о роке.  
Как веселит и пленяет,  
словно на сцене и в роли,  
мальчик в прихожей, племянник.

Дома проведать родимость  
ночью без знаемой цели.  
«Кружка для кваса разбилась.  
Лампа и стёкла к ней целы».

*Декабрь 1991*

\* \* \*

В саду дрозды перекликались,  
влажнел и стыл туман любви.  
И плыли мимо Элбе-Хаус  
кораблики и корабли.

Рододендрон в дождливых топях  
свой утверждал лиловый всплеск.  
Я возлюбила, Альфред Тёпфер,  
Ваш образ: доблесть, дерзость, блеск.

Быть может, днём унылым, зимним  
в родимо-горькой стороне  
воспомню благодатный Зиггер —  
и сразу полегчает мне.

«Дождя золотого» позолота  
очнётся там, где зябнет ртуть.  
Прощайте, Хельмут, Лизелотта.  
Светло стесняет сердце грусть.

*6 июня (День рождения Пушкина) 1995  
в Элбе-Хаус*



\* \* \*

*А. Вознесенскому*

Что — слова? Что — докучность премий?  
Тщеславен и корыстен долг:  
в одном хочу быть наипервой —  
тебя с твоим поздравить днём.

Китайская разбилась чашка,  
но млад китайский пёс — шарпей.  
Пора усладе уст в честь счастья  
и возыграть, и восшипеть.

Будь милостив и не досадуй!  
Я — наших дней календарю  
служу: в День Августа двадцатый  
Тебе — твоё стремглав дарю.

*2 июля 2002 г.*

## В НОЧЬ НА 21 ДЕКАБРЯ 1980 ГОДА

*Владимиру Войновичу*

Войнович — в чём виновен? Он — в одном лишь  
виновен. Очень. В том, что он — Войнович.  
За это — в даль, куда Макар телят  
не ганивал. (За малость, за талант  
быть — лишь Войновичем.)  
Российская словесность  
всё знает. И в уме зачем-то замелькал  
Макар — мой дед по матери.  
И не мелка ли местность,  
где нам, Володя, в разных быть местах  
назначено, не знаю — кем. Мы — так  
не разминёмся, что: словесность, вечность —  
всё пустяки, там — всё старо!  
Вот новость:  
Войнович  
и я —  
не разрываемы  
тщетою житья-бытья  
и всем, что — после.

1980

\* \* \*

*В. Войновичу*

Войнович в том, что он — Войнович  
не так давно виновен был.  
Вот новость: торжества виновник,  
он — многославен, он любим.  
Лишь в нас ничто не изменилось.  
Но до чего дела дошли:  
герой, художник, знаменитость  
родимый брат моей души.  
Вот — кружка, нашей кружки боле,  
сей пуст сосуд да взору мил.  
Вот — поросёнок (тёзка Бори),  
Он — Нюркин, да и мой кумир.

*20 октября 2002 года*

## **ЕЩЁ ОДНО ПОСВЯЩЕНИЕ ВЛАДИМИРУ ВОЙНОВИЧУ**

Я пишу эти слова — и улыбаюсь...

В окне обитает нежная, хрупкая неочевидность недавней белизны неба и снега. Неуловимый, искушающий цвет сумерек обретает условную плоть темноты.

Благо тому, кто умеет описать неопишуемое, счастлив тот, кто волен несказанность нарисовать.

Смыкаю веки и лелею в зрачках угодные им, любимые ими картины: художественные творения Владимира Войновича, в сей час — не литературные, живописные.

Я улыбаюсь — от радости, кто-нибудь вправе усмехнуться. Прочность и пылкость моего дружеского пристрастия и обожания к знаменитому коллеге испытаны временем. Ни перед многославным автором, ни перед временем, ни перед кем-нибудь иным — у меня нет причин лукавить.

Напишу попросту: по моему усмотрению, с которым не могу не считаться, Войнович, сначала для своего утешения, для утolenия души, а затем — для многих созерцателей и почитателей невольнo и своевольнo стал или предстал перед нами истинным художником (я живопись имею в виду)...

Да, художником, как и подобает Художнику, — чистым, загадочно простодушным, заманчиво бесхитростным и чутко проницательным, как малое, может быть, не для лёгкой участи избранное дитя.

Его изначально наивное мастерство ярко взрослеет на наших глазах, оставаясь свежим, бескорыстным и не тщеславным. Впрочем, корысть и тщеславие, даже совпадающие с многоопытным профессиональным умением, никак не соотносятся с предметом и темой моего посвящения.

Мне остаётся пожелать кисти и перу Владимира Войновича многих успехов и свершений и возблагодарить всех, кто совпадает со мною во мнении о художнике Войновиче, и сочувствует, и содействует его драгоценному творчеству.

\* \* \*

*Памяти Алеся Адамовича*

«Глаза затравленной газели...»  
Над нами — общий рок и сглаз.  
Глазели, спорили, галдели,  
уста усталые хотели...  
Что — глас? Меж этими и теми  
Вы — выше. Жизнь — не в хрупком теле,  
Вам тайна правды удалась.  
Что Вам, надземному, затеи  
земные, низкие, всё те же?  
За Вас я боле не боюсь,  
я не борец, я не борюсь,  
борьба — тщета, но нежность уст:  
О Беларусь! — желает молвить.

*Сентябрь 1996*

*Минск*

## ПОСВЯЩЕНИЕ ВАНЕЧКЕ АКСЁНОВУ

Непрочный сон прозрачен и не мрачен.  
Его усладу пробуждает страх.  
Всё снится мне летящий в небе мальчик,  
но дети во своих летают снах.

И впрямь ли он — всего лишь сновиденье,  
Живущее в моём ночном уме?  
Всё мирозданье — мальчика владенье,  
его полёт принадлежит не мне.

Он не сумеет возыметь убытка.  
Звезды небес избранник и жених,  
какого знания старшего улыбка  
жалует нас неграмотно живых?

Ещё готовясь к вечному летанию,  
чураясь истин ясных и простых,  
сколь важную хотел постичь он тайну —  
нам знать нельзя. Но он её постиг.

**ШУТОЧНОЕ ПОСЛАНИЕ**  
**к Галочке Емельяновой**  
**( и отчасти к ее брату Андрюше)**

Мои мечты — неодолимы,  
намеренья ума — строги.  
Галине, дочери Галины,  
хочу я посвятить стихи.

Стать кем-то старым и усталым —  
не мой удел, я не при чём.  
Вдруг Галя странным и пространным  
сочтет стишок, когда прочтет?

В чем смысл обмолвок и помарок?  
Нам всем какой-то дан талант,  
ниспосланная нам в подарок,  
большая жизнь — Большой театр.

Признаться Гале я не смею,  
желая Гале угодить,  
как страшно выходить на сцену,  
как жаль со сцены уходить.



Круг зорких зрителей — обширен,  
суров бывает их вердикт,  
что подтверждает Шура Ширвиндт,  
вернее — вскоре подтвердит.

Но даже школьный двор — арена,  
где всякий человек — артист.  
Нрав Емельянова Андрея  
таков: он выбрал блеск и риск.

Хоть, уваженья к старшим ради,  
мы чтим заслуги их седин, —  
должны быть многоцветны пряди!  
Скучны — шатен, брюнет, блондин.

Бесцветно их воображенье,  
не понят ими белый свет.  
Им неизвестно, неужели,  
что семь цветов скрывает спектр?

И кринолин, и юбку мини  
пусть воспоеет мое письмо,  
поскольку в этом сложном мире  
все — разноцветно, все пестро.

Не ошибиться бы в расчетах!  
Андрей стремглав решил вопрос.  
Но вот для Гали — шесть расчесок,  
хоть скромнен цвет ее волос.

Младому возрасту присущий,  
он свой имеет шарм и шик,  
но предусмотрен всякий случай  
моим подарком небольшим.

Заране возлюбивши Галю  
и завершая опус сей,  
письмо к подарку прилагаю.  
В честь спектра — сумма шуток: семь.

*14 сентября 1999 года*

## Носсиде

Ты, чужестранец,  
ты плывёшь, —  
твой парус вижу я, —  
ты доплывёшь, прошу,  
до той земли, где Сафо родилась  
и садоводство муз содеяла.  
Но и цветы у тех садов взяла.  
Я с берега чужого и родного  
смотрю на парус твой.  
Меня уж нет, не будет.  
Ты — пребудь.  
Вдруг кто-нибудь когда-нибудь  
вспомнит имя: Носсиде. Плыви!

## **РОМАНУ СОЛНЦЕВУ (Красноярск)**

Дорогой Роман!

Я всегда благодарю тебя за твою память обо мне, за твои книжные подарки. Ты знаешь счастливое совпадение: ближайšie друзья Евгений и Светлана Анатольевна, Женя и Света — ещё и ближайšie соседи мои и Бориса, что очень удобно сокращает расстояние между Москвой и Красноярском, и обратно, по усмотрению добрососедства меж нами и Вами, меж Москвой и Сибирью — в утоление всех печалей и разлук на белом свете.

Это — всего лишь дружеское письмо, не ожидающее публикации, но и не возбранённое для огласки, — как хочешь.

Когда я получила изданную в Красноярске прекрасно скромную книгу Марии Шкапской, я вспомнила и записала нечто, имеющее более человеческое, простодушное, нежели литературное или «литературоведческое» значение.

Переписала с листочка бумаги и попросила Женю Попова послать тебе.

Желаю тебе всех возможных и невозможных радостей и успехов.

## **ФАЗИЛЮ ИСКАНДЕРУ**

Сколько печали, невзгод, бедствий на белом свете, но хочется и должно радоваться, искать и обрести утешение.

Фазиль Искандер отраден, утешителен. Дар, полученный писателем, художником свыше, драгоценный подарок нам. Этот дар — прибыль нашего ума и сердца.

И мы, его счастливые читатели и современники, поздравляем друг друга с днём рождения Фазиля Искандера.

*в ночь на 1 марта 2002 года*

## **ПОСВЯЩЕНИЯ И ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ БОРИСУ МЕССЕРЕРУ**

### **1. Подарок Боре в минуту гнева (дарственная надпись на книге „Fever«)**

Подвержена дурной манере  
на Вас неистово сердчать,  
not always, нет, сейчас, сейчас  
(be careful, Воруа). I am angry.

Ваш дом — печальный рай и край  
судьбы моей, but what a reason,  
зачем — не знаю, я капризам  
здесь подлежу and want to cry.

Себя — ославлю, Вас — прославлю.  
Сержусь. Угомонюсь к утру.  
Но всё ж — be sure: it is the true,  
лишь в этом истина: I love You.

P.S. О, Стычкин, преуспевший в шике  
знать: что почём в иной земле,  
простите горемычной мне  
мои английские ошибки.

О, Гарри, странствуй и прости.  
Но как со стороны Колумба  
очаровательно и глупо  
столь чудный дар Вам поднести.

**2. Дарственная надпись на книге  
Анны Ахматовой „Poesie», Guanda,  
подаренной мне итальянцем Адриано  
(а я подарила Боре)**

*Боре —*

Сей том, подарок итальянца,  
ларцу подобен: отвори —  
в нём заточенный блеск таланта  
озолотит зрачки твои.  
Ведь я — не скряга огнеглазый,  
чтобы одной, в ночной тиши,  
считать и мучить алчной лаской  
сокровища чужой души.  
О, нет, и малостью предмета  
владеть мне лень и недосут!  
Пускай же драгоценность эта,  
как воздух, выпорхнет из рук.  
Любимый мой, когда неточный  
мой голос плакал в тишине,  
дарила я свой дар ничтожный  
тебе — на память обо мне.  
Всё переменится отныне!  
На память обо всём, что есть,  
тебе достанет этой книги.

Владей же! Окажи мне честь.  
Предавшись риску и капризу  
писать, я уверяю в том  
Бориса, что ему, Борису,  
всегда принадлежит сей том.  
Я — около, по доброй воле,  
пока ко мне благоволят  
холсты, шарманка, граммофоны  
и двух Вертинских взгляд и взгляд...

*5 февраля 1975*

### **3. Дарственная надпись на книге «Fever» (William Morrow & Co.)**

Сначала:

«And at the very end I'll say:

Good-by, don't commit yourself to love...»

*Боре*

Где в эту ночь душа витала?  
Как смела видеть города,  
которых я не повидала  
и не увижу никогда?

Какая дальняя свобода  
вознаградит мою судьбу  
и фей тридцать седьмого года  
прикосновение ко лбу?



Мои ночные сновиденья —  
каникулы души больной,  
и вся земля — мои владенья,  
нерасторжимые со мной.

Но, если у чужого моря  
нам не встречать чужой весны,  
когда наступит осень, Боря,  
ты в Бёхово меня возьми.

Искать пристанища иного —  
какая бедная тщета.  
Весь этот мир — не больше слова  
и не просторнее холста.

1976

#### **4. Подарок Боре (дарственная надпись на книге «Озноб»)**

Тихонею, скромницей и недотрогой  
прикинулась книга. Не верь ей! Она —  
изгой, еретик и ослушник, который  
отторгнут и проклят во все времена.

Скучает по книге костёр ненасытный.  
Пусть лакомства ждёт огнедышащий зев —  
не дам, да и только. Подарок насильный  
прими, мой любимый, покуда я здесь.

Что книга! Бог с книгой! Не в книге же дело!  
Спасибо за то, что страница пуста,  
что я так любила тебя и сидела  
прилежная, как на уроке письма.

В чём смысл промедленья судьбы между нами!  
Зачем так причудлив и долог зигзаг?  
Пока мы встречались и тайны не знали,  
кто пёлся о нас, улыбался и знал?

Неотвратимо, как двое на ринге,  
встречались же мы в том постылом дворе.  
Благодарю несравненного Рикки  
за соучастие в нашей игре.

Пока приближение дня рокового  
сбывалось и зрело в любом моём дне,  
как долго четыре твоих граммофона,  
тараша их зевы, взывали ко мне.

Я — с ними в родстве, я — из них, я — такая ж,  
я так же печально склоняю чело.  
Люблю, когда ты их звучать понукаешь.  
А если ты мельком меня приласкаешь, —  
не надо ни славы, ни книг, ничего...

**5. Борису Мессереру**  
**(дарственная надпись на книге**  
**«Tenerenza»)**

Чердаком, граммофонами, главным  
Граммфоном в семье четырёх

граммофонов, всем выпренным кланом  
граммофонов — (как ты уберёт  
от судьбы, проникающей в щели,  
словно бабочка, жрущая шерсть,  
грациозно-громоздкие шеи  
одиноких предметов-существ?), —  
чердаком, где в четыре раструба  
плачет хор, для кого-то немой,  
для меня громогласный, где стужа  
мироздания — единственный мой  
климат быта, где душам и формам  
всех вещей я — незванный близнец,  
граммофонами и Граммофоном,  
тем, любимым, — слезою блеснуть  
глазу легче, чем видеть, — не знаю,  
чем ещё: всей нескладицей уст  
я клянусь тебе и заклинаяю,  
заклинаю тебя и клянусь  
при окне непомерном, при иге  
нашей тайны, при всём, что в окне...  
Где б ты ни был — вот надпись на книге.  
Где ни есть я — вот весть обо мне.

*18 мая 1976*

*Ленинград*

## 6

Моих слепых движений поводырь,  
на зоркость к ним ты расточаешь зренье.  
Твоим зрачкам так жадно повредив,  
каким же быть должно стихотворенье?

И как начать — не знаю. Так начну.  
В год похорон, и проводов, и плача  
я жизнь свою за мёртвую, ничью  
уже считала — ничего не знача.

Я видела, что новый день настал,  
но мне в него не обещали входа.  
Так началось — ты знаешь — год назад  
на смерть влиянье жизни и Худфонда.

Твоя любовь одна пеклась о том,  
чтоб мне дожить до правильного срока,  
чтоб из Худфонда позвонили в дом,  
где снова я жива и одинока...

1982

## 7 Боре

Дарю тебе сию тетрадь.  
Но на бумаге благородной,  
о Боже, вдруг — не плодородной,  
что я сумею написать?

Стихи, что брезжат вдалеке, —  
неразличимы и любимы.  
Как говорят у нас в Ладыге,  
дарю тебе kota в мешке.

Прости! Ты к просторечью строг.  
В местах печальных и прелестных,  
в Тарусе и ее предместьях,  
вовсю мать-мачеха растёт.

На образ прянувшей травы  
простёрли тщанье и уменье  
все те, кто если не умнее,  
то и не злее детворы.

Соотношу мою луну  
с луной, известной на Арбате, —  
и получается объятье  
с тобою. Я тебя люблю.

*30 марта 1983*

*Таруса*

**ПРАЗДНОЕ УПРАЖНЕНИЕ**  
**31 августа — 3 сентября**

**БОРИСУ МЕССЕРЕРУ**

Вот августа послѣдній дѣнь насталь.  
Меня заранѣ осѣняетъ осень.  
У Даля нѣтъ отъ насъ сокрытыхъ тайнъ.  
Гдѣ «ять», где«е» — его школяръ не спросить.

Под сѣнью «ять» въ мой предъ-осенній дѣнь  
туманъ зари встрѣчаю на балконе.  
Лишь букву «ерь» прииму въ мой удѣль,  
«ять» отпускаю въ прошлое благое.

Какъ быть бѣзь «ерь»? Вотъ — маленькій примѣръ:  
съ сосѣдомъ милымъ свидѣться, съ собакой  
пройтись — уста свистять безъ буквы «ерь».  
(Собаку Астрахань умѣла звать сѣвлагой).

Всѣ кончено! Прощайте, «ерь» и «ять».  
«Фиту» самъ Даль давно сослалъ в былое.  
Но какъ бѣзь «ять» мнѣ Пушкина понять,  
когда рассвѣтъ встрѣчаю на балконе?

По-новому, безграмотно пишу,  
хоть ничего не знаю, звуков кроме.  
Что есть язык — я не спрошу Пашу  
какого-то, при съединенье крови,

кровей во мне: татарин не вполне,  
с добавкой позапрошлой итальянства,  
кто я такой, такая? На войне  
меня со мной вдруг сгинет дар скитальца.

# **СТИХИ ДЕТЯМ**



## ПЕСЕНКИ ДЛЯ АНИ И ДЛЯ ДРУГИХ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

Вот как это было. Это было давно, когда вы, девочки и мальчики, были совсем маленькие, а некоторых из вас ещё не было, но мы ждали вас и радовались, что скоро вас увидим.

Сейчас у меня две дочери: Аня и Лиза, а тогда была одна Аня. Ане восемь лет, а Лизе три года. А тогда Ане было столько лет, сколько сейчас Лизе. Вот и считайте: когда же всё это было?

А было вот что. Мне пришлось уехать и оставить Аню с бабушкой.

Вы сами понимаете, что Аня тогда не умела читать, и всё-таки я писала ей письма. Эти письма не потерялись, и вы сейчас их услышите и прочтёте, потому что в них нет никаких секретов. Наоборот: ведь, если уж человек пишет стихи, он не только для своих детей их пишет, а для всех детей на белом свете.

Да, я уехала и жила в доме около моря. Дом стоял на высокой горе, на которой росли прекрасные цветы и деревья. Каждое утро я выходила из дома и любовалась горою и морем. И каждое утро я встречала удода!

Я и раньше, и в детстве знала, что есть такая прекрасная птица, у меня и портрет даже этой птицы когда-то был.

Но одно дело портрет, а другое дело — увидеть живого удода. Все птицы стройны и красивы, но уверяю вас, что тот

удод был особенно и несказанно хорош собой. У него чёрно-белые перья и замечательный оранжевый хохол над головой. Всякий раз я смотрела на него с любовью, а удод не обращал на меня внимания; ведь я гуляла, а он трудился, он занимался важным делом — добывал корм для своего семейства, которое, наверное, у него было многочисленно.

Если вы ещё не видели удода, я от всей души желаю вам с ним встретиться — на зеленой горе, возле синего, голубого и серебряного моря или в другом чудесном месте.

### **Описание удода**

Анина мама, гуляя у дома,  
каждое утро встречает удода.

Длинному, длинному носу удода  
мошек вылавливать очень удобно.

Требуют пищи, любви и ухода  
малые, милые дети удода.

Ах, ненаглядная птица удод,  
я по сравненью с тобою — урод.

Короток нос мой, и чёлка убога,  
нет во мне стати и прыти удода.

Но не хочу утешенья иного —  
дайте мне только посмотреть на удода!

Только одна мне удача угодна —  
пусть процветает семейство удода!

Пусть говорит восхищённый народ:  
— Славься, прекрасная птица угод!

У меня в жизни было много удач. А однажды мне очень повезло: у меня был знакомый поросёнок. Он тоже жил на этой горе. Он был озорник и весельчак. Этот поросёнок был хорош собой, ещё он имел прелестный и странный характер. Дело в том, что ему пришлось воспитываться и жить среди собак, и он соблюдал все собачьи повадки. Вы сами знаете, как собака радуется, когда встречает человека, которого она любит. И вот так же и поросёнок — всегда бежал навстречу людям вместе с собаками и, как они, помахивал хвостиком, что не все поросята умеют делать. Единственное, что он не умел, — лаять. Вот я хочу, чтобы на память об этом распрекрасном поросёнке, который сейчас уже, наверное, вырос, вам осталась эта маленькая песенка.

### Поросёнок

Что такое поросёнок?  
Нос румяный — это раз,  
и вдобавок пара сонных,  
пара синих добрых глаз.

Я прощу тебя, проказник,  
безобразник молодой,  
потому что так прекрасен  
этот хвостик завитой.

Поросёнок молвил важно:  
— То ли будет, погоди.  
Я мой хвостик после ванны  
накручу на бигуди.

И вот у меня был знакомый поросёнок. Это как бы я похвалилась перед вами столь счастливым знакомством. Но сейчас речь пойдет о дождике. И хвалиться мне особенно нечем, потому что дождик наш всех общий знакомый. Просто однажды я заметила, что был тёплый дождик, из тех, что называют грибными, и всё-таки мамы, как они обычно это делают, уведили детей от дождя, от луж. И в этот момент мне показалось, что дождику было немножко грустно остаться одному.

### **Дождик**

Грустный дождик, бедный дождик,  
зря ты падаешь с небес:  
бабки внучек, мамы дочек  
забирают под навес.

Целый день на белом свете  
разливался плач дождя:  
— Где вы, маленькие дети?  
Я и сам ещё дитя.

Всех вас мама целовала,  
я остался сиротой.  
Вы в плащах из целлофана,  
я одет лишь наготой.

С кем играть? Куда мне деться?  
Ведь под именем дождя  
притаилось чье-то детство,  
чья-то чистая душа.

Аня дождь берёт в ладони:  
— Здравствуй, дождик голубой,  
погуляем на балконе  
и Фому возьмём с собой...

А однажды с безоблачного неба пошел дождь. Спрашивается, откуда он взялся и зачем?

Всё понятно: добрый дождик  
должен воду раздавать,  
должен кисти взять художник,  
чтобы дождик рисовать,  
синеглазый сторож должен,  
чтобы зря не рисковать,  
сторожить большие лужи,

чтобы свет в них не погас,  
чтоб они не стали хуже  
или уже в берегах.

Но скажите: почему же  
пёс гуляет в сапогах?

Отвечал обугтый пёс:

— Сапоги велел я сшить,  
чтобы Аню насмешить.

Вот и всё, конец посланью.

О моём узнав письме,  
все собаки просят Аню  
передать поклон Фоме.

Обо всём этом я и написала стихи для Ани и для вас, композитор Н. Починщиков придумал музыку, и получились песенки.

Вот вам эти песенки — на память об удоде, о поросёнке, о дождике.

# **ВОСПОМИНАНИЯ**

## ЖИВОЕ СЕМИЦВЕТЬЕ

Не помню, как мы познакомились. Да мы и не знакомились вовсе: мы учились вместе в Литературном институте, виделись мимоходом и часто на Тверском бульваре, в Переделкино, кивали друг другу с торопливой приветливостью, а сейчас редко встречаемся.

Но когда я вижу что-нибудь синее, оранжевое, золотое — любую милую яркость, которой одаряет нас мир, я вспоминаю юношу в блеклом лыжном костюме и свое нежное уважение к нему, к его восприимчивости к тем краскам, что украшают жизнь своим живым семицветьем. Вспоминаю, как однажды, давно уже, мы столкнулись с ним в долгом вечернем сумраке опустевшего институтского коридора, и я заметила, что он невелик ростом, а в скромном, тихом лице его есть второе, глубокое выражение: какой-то страстной сосредоточенности и доброй печали. Может быть, это остро-черные, пристально нацеленные в упор зрачки придавали его простым чертам многозначительность. Я знала о нем, что он — чуваш, из маленькой далекой деревни, и в Москве недавно.

— Ну, как дела? — спросила я на ходу.

Он быстро глянул своими, словно остроконечными, метко видящими зрачками, и, простив мне условность вопроса и радуясь собеседнику, рассказал мне о своей деревне, как он скучает по ней, как сильно окрашено все там: небо, яго-

ды, вода, глаза лошадей, и все такого прекрасного, всеобъемлюще синего цвета.

Впервые я услышала о его стихах от Михаила Аркадьевича Светлова: он всем нам причинил то или иное добро, но хвалил нас не так уж часто. Юношу в синем костюме он, не остерегаясь, хвалил.

Впоследствии я эти стихи слышала, читала, перечитывала. Они могут показаться сложными, несколько витиеватыми, но мне думается, что не нарочитость виной тому, а серьезная и подлинная сложность, которую ощущает в мире и в себе юный, наивно-проницательный человек, сильно, азартно устремивший в жизнь зрение, слух, руки. Он пристально смотрит вокруг, и нет такой малости, которая не показалась бы ему значительной, располагающей к раздумью. В будничном, привычном он отгадывает возвышенность и красоту, делает их предметом искусства. Многие чудеса поражают его: поезда, мелькнувший фонарь, такой таинственно-светлый, как будто маленький Пимен поместился в нем и завершает сказанье, белый архипелаг сада, дивный овал человеческого лица, человеческие выдумки и творенья и все, чего так много и из чего и возникает постепенно непростой и прекрасный мир, близко подступающий к глазам. И как щедро, буйно и родимо этот мир расцвечен: в нем и радуги, и Йиржи Волькер, и черный куст в розовом пространстве, и лиловые маляры.

Он — поэт. Вот в чем дело. Зовут его Геннадий Айги.



## ВОСПОМИНАНИЕ О ГРУЗИИ

Вероятно, у каждого человека есть на земле тайное и любимое пространство, которое он редко навещает, но помнит всегда и часто видит во сне. Человек живет дома, на родине, там, где ему следует жить; занимается своим делом, устает и ночью, перед тем как заснуть, улыбается в темноте и думает: «Сейчас это невозможно, но когда-нибудь я снова поеду туда...»

Так думаю я о Грузии, и по ночам мне снится грузинская речь. Соблазн чужого и милого языка так увлекает, так дразнит немые губы, но как примирить в славянской гортани бурное несогласие согласных звуков, как уместить долготу гласных? Разве что во сне сумею я преодолеть косноязычие и издать этот глубокий клеткот, который все нарастает в горле, пока не станет пением.

Мне кажется, никто не живет в такой близости пения, как грузины. Между весельем и пением, печалью и пением, любовью и пением вовсе нет промежутка. Если грузин не поет сейчас, то только потому, что собирается петь через минуту.

Однажды осенью в Кахетии мы сбились с дороги и спросили у старого крестьянина, куда идти. Он показал на свой дом и строго сказал: «Сюда». Мы вошли во двор, где уже сушилась чурчхела, а на ветках айвы куры вскрикивали во сне. Здесь же, под темным небом, хозяйка и две ее дочери ловко накрыли стол.

Сбор винограда только начинался, но квеври — остроко-  
нечные, зарытые в землю кувшины — уже были полны юно-  
го, еще не перебродившего вина, которое пьется легко, а  
хмелит тяжело. Мы едва успели его отведать, а уж все пели за  
столом во много голосов, и каждый голос знал свое место,  
держался нужной высоты. В этом пении не было беспорядка,  
строгая, неведомая мне дисциплина управляла его многого-  
лосьем.

Мне показалось, что долгожданная тайна языка наконец  
открылась мне, и я поняла прекрасный смысл этой песни: в  
ней была доброта, много любви, немного печали, нежная  
благодарность земле, воспоминание и надежда, а также все  
остальное, что может быть нужно человеку в такую счастли-  
вую и лунную ночь.

1964

## ОТРЫВОК

Осенью минувшего года я впервые была в том Тбилиси, где нет Чиковани. Где нет Леонидзе. Город, любовно затверженный мной наизусть, но преображенный, искаженный их отсутствием, был мне нов и неведом. Как изменился вид на Метехи!

Но платаны на проспекте Руставели — розовели в честь предстоящей зимы!

Женщина, изогнувшись, освобождала окно от штор и допускала солнце к обилию цветущих холстов, к чрезмерной зрелости желтых роз в просторных сосудах. В огромном свете комнаты — седой, изящно сломанный в силуэте, ненаглядно красивый, шел Ладо Гудиашвили, искоса общаясь со своими творениями. Нежные, причудливые, совершенные в прелести или заданном уродстве, они звали к нему со стен, толпились и клубились вокруг, но все же подлежали его власти, и он с неловкостью объяснял простой смысл их доброго значения. Чудеса продолжались, и в их обширном воздухе длилась жизнь прежних, прекрасных участников. Где-то под потолком еще витало дивное бормотание любимого переделкинского гостя — восемь лет прошло с тех пор, как им любовались здесь в последний раз.

Душа моя возвращалась из горя, как из долгого странствия, и разве когда-нибудь отступится она от Метехи?

Тбилиси — назывался этот город, и — что мне было делать? — я вновь любила его, как ни одно другое место земли.

По поводу любого места земли слух мой дольше страдает от любви, чем зрение. Память зрачков уже освобождается от лиц и пейзажей, а чужой язык еще живет во мне, бурно творится сам по себе, терзая меня близостью и недоступностью. Ни с одной чужой речью не общалась я так долго и близко, как с грузинской. Она вплотную обступала меня говором и пеньем, искушая неловкую славянскую гортань трудиться до кровавых ссадин, чтобы воспроизвести стычку и несогласие согласных звуков и потом отдохнуть в приволье долгого «и». Как мучалась я из-за этой, не данной мне, музыки — мне не было спасения в замкнутости, потому что вода, льющаяся из крана, внятно обращалась ко мне по-грузински.

Но наступала таинственная ночь труда, и эта речь, еще недавно бывшая сильнее меня, лежала передо мной бездыханным подстрочником — бедная, беззащитная и нагая. Теперь от одной меня зависели ее жизнь или смерть в ином языке. С течением времени я научилась мгновенно множить дословный перевод на воображаемую музыку и по подстрочнику именно грузинского стихотворения сразу же определять, с каким поэтом имею дело.

Да, нет счастья надежнее, чем талант другого человека, единственно позволяющий быть постоянно очарованным человечеством. Кроме всей жизни, я помню ночь такого счастья, преувеличенного до чрезмерности синевой зелени за окном и предрассветными соловьями.

## ПУТЕШЕСТВИЕ

Памяти Джона Стейнбека, его собаки Чарли, всех моих собак, всех, кого любила и потеряла.

«Путешествие с Чарли» — знаменитая прекрасная книга Стейнбека.

Я видела его в Москве, в редакции журнала «Юность». Ничего позорнее этого молодого собрания я не помню. Там были замечательные писатели: Василий Аксенов, Анатолий Гладилин. Я пришла с опозданием: у меня в тот день отобрали автомобильные права. Предводительствовал Борис Полевой. У него и у Стейнбека как-то в розную кось смотрели глаза. Подавали кофе, Стейнбек попросил другого напитка — не дали, он пошутил: «Я слышал, что в России даже из табуреток это добывают».

Мы все молчали. Мы — по-разному — были добычей страха или той доблести, когда не плетут лишнего, но все-таки плетут и расплачиваются.

Гладилин спросил: «Мистер Стейнбек, Вы встречались с Хемингуэем? О чем Вы говорили?»

— Только о том, кто первый заказывает.

Спросили: «Мистер Стейнбек, Вы встречались с Дос-Пассосом?»

— Говорили о том же. Почему Вы ничего не говорите? Вы — молоды. Вы должны быть отважны, как молодые волки.

Полевой шепнул мне в ухо:

— Беллочка, скажите что-нибудь.

Я сказала: «Господин Стейнбек, Вы вернетесь в Америку. Вам будет грустно, а мне стыдно. «Но не волк я по крови своей». Вы заметили: я опоздала. У меня отобрали автомобильные права. Других прав не имею и не возьмею».

Мне стало известно, что Стейнбек понял меня.

Прошло время, погибла моя собака. Я хотела обрести облегчение: написав «Путешествие с Ромкой». Я имела в виду не географический сюжет, а трагический, исторический: рождение, жизнь, смерть. Но боль, посвященная собаке, превозмогла мою способность писать. Я не обрела облегчения и умру с этой мыслью.

1968

## «МОРОЗ И СОЛНЦЕ, ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ...»

Двадцать девятого января, а по-нынешнему десятого февраля, люди с особенным выражением говорят о нескончаемом Пушкине, о его присутствии в яви дня и безутешно горюют, потому что прежде Пушкин был хрупко живой, родимый человек, а его ранили в живот и убили.

Но я хочу повести речь только о жизни, в которой всегда есть пушкинская причина ликовать и с днем печали многозначительно соседствует день радости. Например, четырнадцатого февраля, при морозе и солнце, можно выехать из Пскова в сторону Опочки, минуя Остров, еще раз благословить имя доброго Пущина, купившего здесь когда-то три бутылки «Клико», в должном месте повернуть налево, обмирать и ждать, когда прояснится вдали шпиль Святогорского монастыря, еще раз повернуть и еще, сильным топотом отрясти на крыльце снег и с разлету, с холоду, из сеней, выпалить: «Здравствуйте, Семен Степанович! Поздравляю Вас с чудесным днем Вашего семидесятилетия!»

Ехать мне никак невозможно, и остается призывать к себе Михайловские виды, благо они всегда вблизи души. Солнечный свет разбивается о сугробы, о лед, придерживающий течение Сороти, в стороне от дневного блеска сдержанно высятся необщительные ганнибаловские ели. А в доме тепло, славно, кот Васька в полдремлющего глаза озирает ненасытную птичью толчею за окном, и у печки, посылаю-

щей в небо весть о здравии этого жилия, в душегрейке и больших валенках стоит пригожий юбиляр, не одобряет моей затеи рассуждать о нем во всеуслышание, а поделаться издали ничего не может. И я рассуждаю.

Вам и без меня известно, что Семен Степанович Гейченко возглавляет Государственный Пушкинский заповедник. Но одних этих высоких полномочий мало, чтобы обрести доверие одушевленных деревьев, разгадать капризы старых строптивых вещей и воскресить в окне кабинета подлинное пламя свечи. Посудите сами, что для Домового — просто директор, а между тем он слушается, рачительно выполняет пушкинскую волю, объявленную ему в специальном послании.

Кем приходится Гейченко единственному хозяину этих мест, если знает его так коротко и свободно? Счастливая игра — сидеть вечером на разогретой лежанке и спрашивать: какую обувь носил Пушкин зимой в деревне? Какую позу нечаянно предпочитал для раздумья? Когда спрашивал кружку, то для вина, наливки или другой бодрящей влаги? Если никакой не было, куда посылал? (Один прилежный человек удивился последнему глупому вопросу: как — не было? Наверняка в доме держался нужный запас. Семен Степанович ему ничего не сказал, только глянул весело, не свысока, а издали, из давнего знакомства с дарителем, расточителем, любителем угощать, а чтобы печься о припасах или другим велеть — не тем была его голова занята.) Все эти нехитрые тайны ведомы и другим людям, но они проникли в них усилиями учености, а Гейченко — вблизи видел, помнит, и все тут. Поэтому жив и очевиден Пушкин в Михайловском. Любой, чья совесть не отягощена заведомым невежеством или дурным помыслом, встретит в парке узкий след его петербургских кожаных калош, застанет врасплох кресло, не успевшее воспрянуть после того, как он сидел в нем, подвернув правую ногу и муча зубами перо.



Когда Семен Степанович говорит, в нем открывается целый театр: в остром, примечательном лице хватает простора для множества действующих лиц, в большом, старинном голосе спорит и пререкается их многоголосье, вдохновенно и хищно парит пустой рукав. Вы скажете: ну вот, возможно ли поминать пустой рукав? Ничего, возможно, ведь это уже не отсутствие руки, потерянной на войне, это присутствие крыла, указующего, заманивающего. Этот невиданный-неслыханный артистизм — тоже достопримечательность заповедника, но в нем нет собственной корысти: это верный способ одарить нас Пушкиным, наградить им, осыпать с головы до ног.

Чтобы ваш, мой и каждого Пушкин вольготно населял эти комнаты и аллеи, Гейченко не навязывает ему своего хотения: откуда-то ему точно известно, что Пушкину угодно и удобно. Прилежный человек спросил: неужели Пушкин не тяготился нетопленными печами и довольствовался простецким видом дома и усадьбы? Семен Степанович и на это ничего не сказал, а дворовый Петр, бывший кучером, засмеялся из давно минувших дней: «Наш Александр Сергеевич никогда этим не занимался, чтоб слушать доклады приказчика. Всем староста заведовал; а ему, бывало, все равно, хошь мужик спи, хошь гуляй; он в эти дела не входил». А может, и есть меж ними — Пушкиным и Гейченко — какие-нибудь дружественные несогласия, об этом я не берусь судить. Ведь здесь действуют не личность и тень, а две личности, и вторая оснащена собственным немалым талантом. Может быть, к этому сводится тайна, позволяющая поэту бодрствовать в михайловских рощах? Кроткий исследователь, ставший как бы тенью великого человека, повторяет его меньше, чем соучастник, достойный товарищ, на которого смело можно оставить дом, сад, рукописи, недогоревшую свечу и отправиться в Тригорское, а если позволят, и в Петербург.

Солнце убывает, мороз крепчает, четырнадцатый день февраля на исходе, хозяйка все хлопочет, хотя стол совершенно и чрезмерно накрыт, медленно синеют сугробы, и мне надо спешить, чтобы успеть добавить ко всем речам, письмам, тостам и телеграммам признание в пылкой и почтительной нежности.

1973

### «ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ...»

Даже если его собеседник не имел других заслуг и отличий, кроме замечательно круглых и румяных молодых щек, а также самоуверенной склонности объединять все слова в свадебные союзы созвучий, — даже и тогда он заботливо склонял к нему острое, быстрое лицо и тратил на него весь слух, видимо, полагая, что человеческие уста не могут открываться для произнесения вздора. Щеки, вздор и угрюмое желание зарифмовать все, что есть, были моим вкладом в тот день, когда Антокольский среди московского снегопада ни за что ни про что — просто моя судьба счастливая! — впервые дарил мне Чиковани. Почему-то снег сопутствовал всем нашим последующим московским встречам, лето оставалось уделом его земли, и было видно при снеге, что слово «пальто» превосходит солидностью и размером то, что накидывал Чиковани на хрупкую худобу, — так, перышко, немного черноты, условная дань чуждой зиме. Так же как его «дача», его загородные владения не имели ни стен, ни потолка, ни других тяжеловесных пустяков, ничего, кроме сути: земли, неба, множества фиалок и разрушенной крепости вдали и вверху, на горе.

Обремененный лишь легкостью силуэта, он имел много удобств и преимуществ для того, чтобы «привлечь к себе любовь пространства»: оно само желало его, втягивало, само трудилось над быстрым лётном его походки и теперь совер-

шенно присвоило, растворило в себе. Эта выдумка поэтов о «любви пространства» применительно к ним самим — совершенная правда. Я уверена, что не только Чиковани любил Горвашское ущелье, Атени, Алазань, но и они любили его, отличая от других путников, и по нему теперь печалится Гремская колокольня.

Теперь и сам я думаю: ужели  
по той дороге, странник и чужак,  
я проходил?  
Горвашское ущелье,  
о, подтверди, что это было так!

Так это и было, он проходил, и мир, скрывающий себя от взора ленивых невежд, сверкал и сиял перед ним необычностью причуд и расцветок. Опасно пламенели оранжевые быки, и олени оставляли свои сказочные должности, неуместно включаясь в труд молотьбы на гумне. Не говоря уже о бледной чьей-то невесте, которая радугой вырвалась из скуки одноцветья и предстала перед ним, «подобная фазану»: таинственная и ослепительная. Разум его, затуманенный волшебством сновидений, всегда был зорок и строг.

Мне снился сон — и что мне было делать?  
Мне снился сон — я наблюдал его.  
Как точен был расчет — их было девять:  
дубов и дэвов. Только и всего...

Я шел и шел за девятью морями.  
Число их подтверждали неспроста  
девять ворот, и девять плит Марабды,  
и девяти колодцев чистота.

Казалось бы, что мне в этом таинственном числе «девять», столь пленительном для грузинского воображения, в дэвах, колодцах, в горах, напоминающих кевври — остроконечные сосуды для вина? Но еще тогда, при первом снегопаде, он прельстил меня, заманил в необъяснимое родство, и мой невзрачный молодой ум впервые осенила догадка, что нет радости надежнее, чем талант другого человека, единственно позволяющий быть постоянно очарованным человечеством. Чиковани уехал в Тбилиси, а я осталась здесь — его влюбленным и прилежным братом, и этого неопределенного звания мне навсегда хватит для гордости и сиротства. Тяжкий, драгоценный, крошечный труд перевода в связи с Чиковани был для меня блаженством — радостью было воспроизвести в гортани его речь:

И, так и не изведавшая муки,  
ты канула, как бедная звезда.  
На белом муле, о, на белом муле  
в Ушгули ты спустилась навсегда.

Тайна этой легкости подлежит простой разгадке. У Чиковани и в беседах, и в мимолетных обмолвках, и в стихах предмет, который он имеет в виду, и слово, потраченное на определение предмета, точно совпадают, между ними нет разлуки, пустоты, и в этом счастливая выгода его слушателя и переводчика. Расплывчатость рассуждений, обманная многозначительность — вот где хлебнешь горюшка.

Но я не хочу говорить о стихах, о переводах. В этом разберутся другие, многоученные люди. Я вообще предпочла бы молчать, любить, вспоминать и печалиться, отозвавшись на его давнее приглашение к тишине, надобной природе для лепета и бормотания:

Прекратим эти речи на миг,  
пусть и дождь свое слово промолвит,  
и средь туговых веток немых  
очи дремлющей птицы промоет.

Еще один снегопад был между нами. Какая была рань весны, рань жизни — еще снег был свеж и силен, еще никто не умер в мире — для меня. Снег, деревья, фонари, в теплых сенах — беспорядок объятий, возгласов, таянье шапок.

— Симон и Марика! (Это Чиковани.) Павел и Зоя! (Это Антокольские.)

Кем приходятся мне эти четверо? Какое точное название даст им душа, обмершая в нестерпимой родимости и боли?

Там, пока пили вино и долгий малиновый чай, читали стихи и сетовали на малые невзгоды жизни, был ли мне дан из другого, предстоящего возраста знак, что это беспечное сидение впятером вокруг стола и есть счастье, быстролетящая драгоценность обстоятельств, и больше мне так не сидеть никогда?

В глаза чудес, исполненные света,  
всю жизнь смотрел я, не устав смотреть.  
О, девять раз изведавшему это  
не боязно однажды умереть.

Из тех пятерых, сидевших за столом, двое нас осталось, и жадно смотрим мы друг на друга.

Иногда юные люди приходят ко мне. Что я скажу им? Им лучше известно, как соединять воедино перо, чернила и бумагу. Одно, одно лишь надо было бы сказать — пусть ненасытно любят лица тех, кого любят. В сослагательном наклонении так много печали: ему сейчас исполнилось бы семьдесят лет. Но я ничего не говорю.

Как миндаль облетел и намок!  
Дождь дорогу марает и моет —  
это он подает мне намек,  
что не столько я стар, сколько молод.

Слышишь? — в туговых ветках немых  
голос птицы свежее и резче.  
Прекратим эти речи на миг,  
лишь на миг прекратим эти речи.

1973

## **АННА КАЛАНДАДЗЕ**

Речь об Анне Каландадзе, об Анне, о торжественном дне ее рождения, но прежде — о былом, о скромном дне рождения цветов миндаля на склонах Мтацминды, о марте, бывшем давно. Какая весна затевалась! Я проснулась поушру, потому что дети в доме напротив, во множестве усевшись на подоконник, играли в зеркало и в солнце и посылали огонь в мое окно, радио гремело: «У любви, как у пташки, крылья...» Начинаясь день, ведущий к Анне, ослики по дороге во Мцхету кричали о весне, и сколько же там было анемонов! А у Симона Чиковани, у совершенно живого, невредимого, острозрячего Симона, дача была неподалеку — что за дача: дома нет, зато земли и неба в избытке, за рекой, на горе, четко видны развалины стройных древних камней, и виноградник уже очнулся от зимней спячки, уже хлопотал о незримом изначалье вина. Люди, оснащенные высшим даром, имеют свойство дарить нам себя и других. Сиял день весны, Симон был жив и здоров, но подарки еще не иссякли и Симон восклицал: «Кацо, ты не знаешь Анны, но ты узнаешь: Анна — прекрасна!» К вечеру я уже знала, что Анна — прекрасна, большой поэт, и ее язык, собственный, ведомый только ей, не меньше всего грузинского языка по объему и прелести звучания. На крайнем исходе дня пришла маленькая Анна, маленькая, говорю потому, что облик ее поразил и растрогал меня хрупкостью очертаний,



серьезнейшей скромностью и тишиной — о, такие не суетятся, мыслят и говорят лишь впопад и не совершают лишних поступков.

Потом, в Москве, в счастливом уединении, я переводила стихотворения Анны Каландадзе, составившие ее первую русскую книгу — совсем маленькую, изданную в Тбилиси. Спасибо, Анна, — я наслаждалась. В тесной комнате с зелеными обоями плыли облака Хетты, Мидии, Урарту, боярышник шелестел, витали имена земли: Бетания, Шиомгвими, Орцхали... Анна была очевидна и воздушно чиста, и сколько Грузии сосредоточенно и свободно помещено в Анне! Ее страсть к родимой речи, побуждающая к стихосложению и специальным филологическим занятиям, все еще не утолена, склоняет ее к мучению, а нам обещает блаженство. Анна, когда живет и пишет, часто принимает себя за растения земли: за травинку, за веточку чинары, за соцветие магнолии, за безымянный стебелек. Что ж, она, видимо, из них, из чистейших земных прорастаний, не знающих зла и корысти, имеющих в виду лишь зеленеть на благо глазам, даже под небрежной ногой незоркого прохожего, — лишь зеленеть победно и милосердно. Пусть всегда зеленеет! Годы спустя, в Тбилиси, опять пришла Анна с букетиком фиалок — думайте, что метафора, мне все равно, но Анна и цветок по имени «иа» были в явном родстве и трудно отличимы друг от друга.

Да, я переводила Анну и наслаждалась, но и тогда предугадывала, а теперь знаю, что не могла соотноситься на равных с поэтом, о котором пекусь всей душой: я была моложе и я была — хуже. Но много лет прошло, и я еще улучшусь, Анна, и вернусь к Вашим стихам, чтобы, лишённые первоначальной сути, они не сиротствовали в чужом языке, в моем родном языке, а славно и нежно звучали.

До свидания, Анна, кланяюсь, благодарю, поздравляю, благоденствуйте в Тбилиси — за себя, за Симона, за Гоглу, и примите в обратный дар строку Вашего стихотворения: «Мравалжамиер, многие лета!»

1975

## О ЕВГЕНИИ ВИНОКУРОВЕ

Я пишу все это десятого апреля, при сильном весеннем солнце, в день моего рождения, тридцати восьми лет от роду. Я имею в виду написать статью о поэте, для меня драгоценном, и знаю, что ничего из этого не выйдет, потому что — разве пишут статьи о нежности, теснящей сердце, о безрассудной приязни ума? В изначалье нового возраста сижу за столом, улыбаюсь и не умею писать.

Сколько же лет, как много лет назад это было! Ведомая непреклонной сторонней силой, которую для быстроты можно назвать судьбой, я шла по Москве той давней ослепительной зимой, и пылание моих молодых щек причиняло урон снегопаду: сколько снега истаяло на моем лице, пока я шла! Прихожу. Литературное объединение завода имени Лихачева. Это даже не робость — уж не смерть ли моя происходит со мной в мои семнадцать лет? О, как я страшусь и страдаю, как мне тяжела моя громоздкая нескладность (это моя прелесть была), как помню я это теперь, как глубоко уважаю муку — быть юным. Спрашиваю надменно: «Это вы — поэт Евгений Винокуров?» Жадно подсматриваю за его лицом: не таится ли в нем усмешка взрослого высокомерия? Но вижу лишь выражение совершенной благосклонности и пристального любопытства. Евгений Винокуров в ту пору руководил упомянутым объединением, и я стала руководима, его легкой рукой водима по началу жизни, которое — из-за

Винокурова, лишь по причине его поощрения — весьма счастливо сложилось. Этот первый его урок — расточительной доброжелательности, свойственной людям прекрасного дара, я надеюсь если не вполне усвоить, то вполне отслужить. Потом, к лучшей моей радости, мы стали коллеги, товарищи и ровесники, но тогда между мной и первым моим учителем зияла бездна разницы, в которой смутно клубилось мое чудовищное невежество (Винокуров был поражен им, но не раздражен), угрюмая застенчивость под видом апломба и страсть писать, воплощенная в длинные вялые строки. Не к моим достоинствам, но к таланту Винокурова отношу я его доброе и сильное участие к моим бедным детским стихотворениям, которые он — впервые и лишь собственным усилием — напечатал со своим предисловием, и других людей пригласил к интересу к моей фамилии, звучавшей так непривычно и витиевато.

Наши беседы, которые случались все чаще и длились все дольше, учили меня тому, что поэт — не надземен, что и в житье-бытье его разум внятен, точен и не способен к расплывчатости суждений. Поэзия — не спорить же с Пушкиным! — глуповата, но поэт — всенепременно умен.

Но не обо мне, пылко признательной Винокурову, речь, а лишь о нем, о его многозначительной личности, равной его книгам, сейчас разложенным на моем столе и всегда существующим в нашей памяти и жизни. Если счастливый случай сводит нас с поэтом в соседство знакомства и дружбы — это чрезвычайное и уже лишнее благо, ничего не меняющее в его главном значении для нашей судьбы. Не умея подвергать творчество Винокурова ученому обзору и умному суду, оставляя каждому читателю свободу располагать подарком его дарования по собственному усмотрению, я хотела бы ненавязчиво упомянуть лишь некоторые приметы, по которым мы с легкостью и мгновенно отличим и узнаем речь этого

истинного поэта. Винокуров известен и знаменит — своим, особенным и очень достойным способом: просто и отчетливо и вне поверхностного шума. Меж тем о нем легко и удобно было бы шуметь: он смел и дерзок в обращении со словом, как если бы он пошел на преднамеренный вызов выпренности, высокопарности, о которых принято думать, что они и отличают поэзию от прочих речей и разговоров, которыми так легко провести слух неопытного слушателя (Винокуров не часто читает, вслух не произносит свои стихи, но ведь и глазами лишь принимая стихи, мы их сразу же слышим). Он предпочел (естественно, непринужденно, но как будто с осмысленным азартом и озорством поступил) «слова, которыми на улицах толкуют». Все большие поэты, как бы высоко ни пела их гортань, все же говорили на языке своих сограждан, даже проще умея, даже грубей назвать любой предмет и ощущение по имени. Еще: строка Винокурова подобна безошибочной формуле точных наук, которую следовало бы изобразить не так: слова..., атак: слово. Слово. То есть не бесформенность, где все не обязательно подлежит возможной перемене, а точность, найденная раз и навсегда. Дело читателей — любить Винокурова, но дело грядущего и тонкого исследователя заметить и доказать, как его труд сказался на труде других, вовсе не похожих на него, поэтов. Во всяком случае, я эту благотворную зависимость всегда ощущаю как свою выгоду и пользу.

«Как хорошо лицо свое иметь...» — так он написал, и что же, он завидно преуспел в этом — даже не намерении, а исполнении человеческого долга: быть таким, как все люди на твоей земле, не уклониться от общей судьбы, работать, страдать, воевать — точно, как все, не выгадав отдельности и по блажки, но всегда иметь «лицо свое», не похожее ни на одно другое, оснащенное прекрасным выражением сосредоточенного ума, доброты и таланта.

Еще: я пишу все это и знаю, что Евгений Михайлович Винокуров зайдет ко мне сегодня и поздравит меня с днем рождения. А я ему скажу: месяц без одного дня пройдет и будет День Победы. Я помню, как это было тридцать лет назад. Какое ликование было. Какая печаль, какой изъян на белом свете без тех, которые не вернулись. «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой». Но — День Победы. Ты — жив. Ты — вернулся. Я тобой горжусь. Я тебя благодарю. Я тебя поздравляю.

1975

## СЧАСТЛИВЫЙ ДАР

Некогда Евгений Михайлович Винокуров поздравил меня с моим условным совершеннолетием — с моими бедными восемнадцатью годами, со способностями, которые он благосклонно предполагал во мне и опекал, с грядущей судьбой, к осуществлению которой он приложил легкую и добрую руку.

Я не скрываю моей непреклонной добропамятности и с любовью, объединившей почтительность к наставнику и нежность к товарищу, поздравляю его с подлинным совершенством лет: с его славными пятьюдесятью годами, с его счастливым даром и с трудом, который ему предстоит. Нынешний день его рождения совершенен не потому лишь, что отсчитан торжественно округлым числом, но и потому, что величина даты, без потерь и изъянов, соразмерна величине личности, которая убедительно сбылась и без утайки предъявлена всевидящему суду читателей.

Я уважаю редкую и завидную удачу Винокурова: безукоризненное совпадение предмета, который он имеет в виду, и слова, которое он говорит, — точно впазд, без расточительных затрат многословия. Дисциплина его языка такова, что между сутью вымысла и облекающей ее формой нет неопытного зазора пустоты.

Художник всегда подлжит мощной диктовке пространства, звездопаду сторонней музыки, от которого не-

куда спрятать голову. В этом поединке исполнитель не всегда поспевает за указкой великого дирижера. Муза же Винокурова явно ладит с повелевающим смыслом, воплощая его в безошибочный звук. Мне кажется, что он чужд разлада с желаемым и еще до склона лет, до тютчевских седин, решил задачу, заданную его таланту, приводя ее к единственно правильному ответу в пределах каждого стихотворения.

Винокуров, разумеется, вырослел и менялся по мере жизни, но его младость и зрелость, мальчик в шинели и маститый поэт трогательно и чудесно схожи меж собою и не пребывают в разлуке. Он сразу преуспел в доказательстве задиристо приметного своеобразия, на том стоит и тем легок для памяти. Его именем называем мы не только человека, известного уму и родимого сердцу, но и целую отвлеченную громоздкость — самостоятельную грамматику, особый штиль речи: рассуждать о возвышенном на уровне земли с ее травой, суглинком и житьем-бытьем сограждан. Этот способ стихосложения дерзит сладкой для слуха витиеватости пиитов и самоотверженно не ищет выгоды быстрого успеха. Водится за Винокуровым и еще одна доблесть: его замкнутая сосредоточенность на прямой цели поэтического труда, решительная несклонность к эстраде, прочно повенчавшей в наше время поэзию и ее почитателей. Стихи Винокурова в меньшей мере собственность слушателей, чем пристальных и вдумчивых читателей, и эта старинная принадлежность кажется мне достойной и чистой.

Я всегда помню и упоминаю, что Винокуров приходился мне учителем, с тем большей благодарностью, что, пестуя мое ученичество, он вовсе не ждал и не просил моего уподобления ему, поощряя лишь несходство и независимость, подобающие человеку.



Я радуюсь всем его удачам и накликаю их во множестве на его голову вместе с вдохновением и здоровьем. Я приношу Евгению Винокурову мои почтительные поздравления — сама по себе и от имени всех его учеников, которых у него столько же, сколько читателей.

1975

**К ЧИТАТЕЛЮ**  
**[предисловие к книге**  
**Якова Смоленского «В союзе звуков,**  
**чувств и дум» (М.: Сов. Россия, 1976)]**

Я не имею намерения рассуждать о книге, которую Вы сейчас открыли, Вы сами вольны рассуждать о ней, независимо от меня или кого-нибудь другого.

Но случилось так, что я прочла эту книгу прежде, чем Вы, и теперь встречаю Вас в ее преддверии, на пороге нового для Вас пространства, где я давно уже гощу и обитаю. Столкнувшись с Вами в сумеречных снях, я говорю Вам: «Войдите и будьте благосклонны и справедливы».

Автор книги, которого хорошо знаем и Вы, и я, — артист, чье амплуа отважно и благородно. Я люблю его страсть к Пушкину и глубоко уважаю доблесть, с которой он этой страсти служит. По мере того как мужает его мастерство, он становится сдержанней, замкнутей и скромней, словно имея в виду всю сцену предоставить не себе, а своему герою и кумиру, своему Пушкину.

«Мой Пушкин» — так говорили лучшие из нас, так говорим мы, и все мы правы. Пушкин у нас один на всех, но каждому его совершенно достанет, и от того, как и насколько дано нам его присвоить, зависит достоинство нашего ума и духа.

Я ни в какой мере не хочу склоняться к литературоведению — его пристальная скрупулезность отчасти присутству-

ет в книге и подчас может казаться громоздкой рядом с чистой и убедительной прелестью пушкинских строк.

Но вдумчивость нового исследователя трогает нас своей пылкой и доверчивой любовью к предмету, в который вникает. С рождения обрести Пушкина как явь земли и речи, всегда располагать им по своему умению и усмотрению и все же всегда искать и желать его, добиваясь новой разгадки, — вот жизнь каждого из нас и вот наиболее очевидный смысл этой обширной и сосредоточенной книги. Ее пленительность в том, что она настойчиво уверяет нас в нашем лучшем праве брать себе Пушкина в наслаждение, в друзья и учителя или сделать его целью, побуждающей разум к страстному и дисциплинированному поиску.

Все мы снедаемы любовью и грозной ревностью к Пушкину, но нет сомнений, что автор предстоящей Вам книги имеет особенное право на близость к нему и заботу о нем.

От всей души желаю Вам счастливого и поучительного чтения.

1975

## **ВЕРОНИКА ТУШНОВА**

Я обещала незамедлительно написать несколько слов и еще не написала, между тем день иссяк, ночь в половине. Медленный труд видимого бездействия окажется скоропалительным, если я в нем преуспею. Что день и ночь, данные мне для того, чтобы прожить в обратном направлении долгое время жизни, вернуться в былое, застать там человека, которого ныне нет, и как бы обрести его кроткое позволение сказать о нем несколько слов! Если бы не эти день и ночь, я бы не ощутила возможности рассуждать о Веронике Тушновой.

Я была моложе, мы не были житейски близки, мое нежное расположение к Веронике Михайловне не нарушало дисциплину почтительности, а она при встрече одобряла меня пристальной теменью глаз и посылала моей щеке мимолетную ласку ладони. Это — тогда, давно.

И вот теперь, весь день и всю ночь, я вглядываюсь в милый облик, дивясь его яви и сохранности в моем зрении. Издалека, из сегодня, я приметливей вижу, как нежная смуглость лица усугубляется непоправимой тенью. Но я вольна смотреть еще дальше в глубь времени, видеть глаза, улыбку, чье общее выражение соединяет сосредоточенность и отстраненность, лучезарную доброту к собеседнику и неуловимую рассеянность. Так смотрят и улыбаются люди, осененные любовью, и некоторые из них имеют высокую власть и отвагу слагать об этом стихи...

## ПРОЩАЯСЬ С ПАВЛОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ АНТОКОЛЬСКИМ...

Так вот какова эта ночь на самом деле. Темно, и в мозгу — стороннее причитание безутешного пульса: где ты сейчас, где ты, любовь моя, радость? Там, где твой мальчик в шинели, там, где твоя Зоя, там, где настигну тебя. Но где это? Почему это так непроницаемо для мысли? Или это запекшееся, изнывающее место в груди, видимо, главное в ночной муке, и есть твое нынешнее вместилище, твоя запасная возможность быть и страдать?

Давно, трепеща за него и обрываясь, душа уже попадала в эту ночь из предыдущего времени, примеряла к себе ее неподъемность, но в должный час оказалась неопытной, не готовой перенести. И сам он, зимою сидючи со мною на кухне, описывал мне эту ночь, предписывая и утешая, но вглядываясь в нее особенным взором, стараясь разглядеть. Как тяжек тогда мне был этот взор, а ведь это было счастье: он издалека смотрел на эту ночь, он был жив. Я сказала: «Полно, полно! Я не собираюсь доживать до этого!» — чем испугала и расстроила его, и он прикрикнул: «Молчи!»

Вот по его вышло, не по-моему. А я и впрямь не собиралась, не умела вообразить этого. Из нас никто никогда не жил и не обходился без него, этому только предстоит учиться. Мы родились — он обрадовался нам, мы очнулись от детства — он уже ждал, протягивая навстречу руки, мы стари-

лись — он благословлял нашу молодость. Мы разнежились в этой длительности, обманчиво похожей на бесконечность. Простое знание, что он — несомненно — чудо, было на стороне не тревоги, а детской надежды: он будет всегда, без него ничего не бывает.

Впервые я увидела его осенью 1955 года: он летел по ту сторону окон, чтобы вскоре влететь. Пока же было видно, как летит: воздев палку, издавая приветственный шум. Меня поразили его свирепая доброжелательность и его хрупкость, столь способная облечь и вытерпеть мощь, пыл, азарт. Он летел, неся деньги человеку, который тогда был молод, беден и захворал. Более с ним не разминувшись, я вскоре поняла, что его положение и занятие в пространстве и есть этот полет, прыжок, имеющий целью отдать и помочь. В его существовании обитала непрестанная мысль о чьей-то нужде и невзгоде. Об этом же были его последние слова дочери Наталии Павловне. Раздаривание — стихов, книг, вещей, вещиц, взглядов, объятий и всего, из чего он неисчислимо состоял, — вот его труд и досуг, прибыль расточителя, бушующего и неубывающего, как прибор: низвергаясь и множась.

И вот, мыкаясь в этой ночи, до которой довелось-таки дожить, что сейчас кажется мне пронырливым, хитроумно-живучим, я считаю все, данное им. Без жалости к себе я знаю, что взяла все его дары и подарки, и это единственное, что я для него сделала. Я не удержала его жизни — пусть вычитанием дней из своей. То есть они вычтены, конечно, но уже без пользы для него, наоборот. Долго идя к нему в последний раз, я опоздала на час — навсегда. Почему, пока мы живы, мы так грубы, бестолковы и никуда не успеваем? Он успевал проведать любую простуду и осведомиться о благополучии всех, и собаки.

И как сформулировать то, что подлежит лишь художественной огласке? Он это знал, когда писал о Сыне и Зое Бажановой.

Чтобы описать эту ночь, предоставленную нам для мысли о том, что он приходился нам жизнью, эту степень нашего родства с ним, — надо писать, а здравого ума пока нет.

Я знаю, что книги остаются. Я убедилась в этом, открывая его книги на исходе ночи, когда проступал уже день, обезображенный его отсутствием, понимаю, конечно, что просто новый день ни в чем не повинный. Он продолжал оставаться чудом: жалел и ободрял, и его обычный голос отвечал мне любовно и внятно.

Я знаю его внуков и правнуков, в которых длится бег его крови.

Знаю, что жизнь его обращена к стольким людям, сколько есть их на белом свете, и это не может быть безответно и бесследно.

Но на самом деле я знаю, что утешения нет.

*Октябрь 1978*

## ПОРЫВ ДУШИ И УМА

Антокольский личностью своей, прелестью своего нрава подтверждает то, что нам всем известно: поэт, несомненно, добр, поэт — тот человек, от которого каждый имеет выгоду, радость — учиться, внимать ему.

Но все это само собой разумеется. И, может быть, нужно отвлечься от несравненных достоинств Павла Григорьевича просто житейских и подумать о том, как много он значил для всех пишущих и читающих людей.

Павел Григорьевич приходился современником Блоку, Цветаева называла его Павлик. Павел Григорьевич пестовал многих своих прямых и косвенных учеников. Каждое имя, которое существует в советской поэзии, так или иначе соотносится с Антокольским. Поэты военного поколения были его учениками или по Литературному институту, или по тем его книгам, которые они читали. Те люди, которые пришли в поэзию после них, тоже обязаны Павлу Григорьевичу началом своей литературной грамоты. Здесь я могу сослаться на моих коллег и ровесников, на себя.

Я знаю, как много сделал Павел Григорьевич для того, чтобы русские читатели могли принять к своему сведению стихи наших соотечественников, которые пишут на других языках.

Но, как и всякий значительный человек, который работает в искусстве, Антокольский не может быть исчерпан лишь



нашей страной. Вот книжка «Медная лира» с подзаголовком «Французская поэзия XIX—XX веков в переводах П. Антокольского». Можно вообразить, сколько труда, ума и сердца нужно было потратить на то, чтобы осознать поэзию Франции двух последних веков.

Я увидела его в первый раз много лет назад, он стремился на помощь своему молодому коллеге. И всякий раз, когда мне доводилось с ним встречаться, я всегда видела в нем все тот же порыв души и ума, этот полет навстречу кому-то другому, эту совершенную нескаредность сердца — расточительность знаний, любви, таланта на пользу другим людям.

1986

## МИГ БЫТИЯ

О Павле Григорьевиче Антокольском не хочу думать в прошедшем времени: он родился, ему 100 лет, я привыкла праздником отмечать день его рождения. Не во мне дело — в его безмерной сердечной расточительности, дарительности: было с кем возиться, за кого просить, ходить, чтобы книжку издали, пластинку выпустили.

Время Антокольского — не умственность, всегда терзающая ум отвлеченность, это время, впрямую нас касающееся.

Антокольский делал нас соучастниками времени и истории, того, что нам по возрасту или по другим недостаткам было недоступно.

Как-то спросила у Павла Григорьевича: «Вы этого не помните? Это было до начала первой мировой войны». Антокольский отвечает: «Как это я не помню? Я уже был весьма... Ты что, меня совсем за дурака держишь?»

Начало века. Павел Григорьевич предъявил нам это время не как хрестоматийное, а как живое сведение.

Мы говорим: Антокольский и театр, Антокольский много сделал для театра. Он и сам был театром. Как он читал «Я помню чудное мгновенье...», как читал «Вакхическую песню», когда вино разливали по бокалам...

Антокольский был театр в высоком смысле этого слова, любил изображать и показывать, как читали Блок, Брюсов,

Белый. Я не знаю, как на самом деле это было, знаю лишь по собственному представлению. Но я любовалась Антокольским. Слуха и зрения нельзя было отстранить. Поэт никому ничего не должен, но человек обязан быть утешительным театром для другого человека. Мне не нравится, когда человеческое лицо являет собою скучное, незахватывающее зрелище. Человек обязан человечеству служить или развлечением, или поучением, или защитой от душераздирающих действий; лицо — всегда портрет взлета души. Антокольский многих учеников возымел, никого не поучал.

Начало века. 10-е годы. Первая мировая война. 20-е годы для Антокольского отрадны. Смерть Гумилева, смерть Блока — больно, боль не проходит, никогда, но — театр Вахтангова, Зоя Бажанова, общее возбуждение, сопряженное со всякими драматическими обстоятельствами. 30-е годы. Когда мы читаем Антокольского, читаем еще что-то *за тем, над тем*, что написано. Все это надо было снести и из всего этого выйти. 40-е годы. Война, гибель Володи, сына. 50-е годы. Обвинения в космополитизме.

Первый раз я увидела Павла Григорьевича Антокольского много лет назад, больше, чем умею сосчитать. Он шел помочь другому, поэту, который вскоре станет знаменит. А тогда ему просто нужна была эта щедрая и благородная помощь. Сначала я увидела, как летит трость по воздуху, затем явился и сам даритель, пришедший помочь другому. Потом — я тогда была молода — в ресторане я диву далась, увидев этого человека в полном его действии: свобода слов и движений.

Вспоминаю день рождения Антокольского, на даче. Зоя, собака Боцман, кот Серик. Домработница Дуся накрывает стол. Мы сидим: Зоя Константиновна, Павел Григорьевич и я,

как счастливица. Тогда я не понимала, что я — счастливица. Меня уже снедала, брала тоска, чего-то как будто не хватало, что-то мешало. Тогда я не знала, что вот он — счастливый миг моего бытия. Теперь знаю, что счастье есть осознанный миг бытия.

Дуся стол накрывает, вдруг — крик Дуси: «Пятух! Пятух! Чисто пятух!» Какой петух? Побежала смотреть. А это грач сидел, в нем отражалась радуга небес, в его черных перьях. Он сверкал, как фазан, нет, семицветно, как радуга. Ослепительность этого мгновения я запомнила. Вскоре приехали Чиковани — Симон и Марика.

Теперь я думаю, что мы не успеваем узнать свое счастье. Если ты это поймешь, ты преуспел, этого довольно. Если все чего-то хочешь и алчешь — навеки несчастен.

Думаю и пишу об Антокольском. И не могу не думать и не написать о Зое Константиновне Бажановой, артистке театра Вахтангова. Зоя — Муза, Зоя — хозяйка очага, отрадного для всякого путника, Зоя — источник радушия.

Зоя Константиновна влияла на совесть других людей. Меня звала «Эльф». Когда Зоя Константиновна видела что-нибудь плохое, нечто не совпадающее с опрятностью поведения, говорила: «Боже, я, как Петроний, умру от отвращения». Узнала потом, как умер бедный Петроний: от отвращения и умер.

Антокольский и Зоя — отсутствие плоти, негромоздкость, грациозность. Зоя Константиновна — вождь и вдохновитель совести. Как-то Павел Григорьевич был болен, а от него чего-то хотели, может быть, и пустяка, но это не совпадало с его намерениями. Лучше бы он сделал это, чего от него хотели? Зоя Константиновна не согласилась. Тогда они сказали, что, если он не сделает так, как они ему приказывают, они лифт ему не сделают. Зоя Константиновна ответила

твердо: «И не надо. Жили без лифта и проживем» (у Павла Григорьевича был инфаркт, жили они на 5-м этаже).

В 1970 году Павел Григорьевич мне сказал: «Я хочу тебя спросить». — «Спрашивайте, Павел Григорьевич». — «Я хочу выйти из партии». — «Из какой?» — «А ты не знаешь? Из коммунистической. Я от них устал. Не могу больше». — «Павел Григорьевич, умоляю, нижайше прошу Вас, не делайте этого. Я тоже устала — за меньшее время...»

Сидим в мастерской на Поварской с водопроводчиком дядей Ваней, который не любил водопроводную трубу и Мичурина. Беседуем о Мичурине. Неожиданно влетает Павел Григорьевич с тростью. Познакомились: «Иван». — «Павел». Беседа продолжалась, сразу же подружились, и уже как друзья возымели маленькое пререкание. Павел Григорьевич спрашивает: «Белла, кем тебе приходится этот человек?» — «Павел Григорьевич, этот человек приходится мне водопроводчиком этого дома». Павел Григорьевич вспорхнул со стула, бросился к дяде Ване и поцеловал его руку. Тот очень удивился: с ним такого прежде не бывало.

...Павел Григорьевич захотел проведать могилу Бориса Леонидовича Пастернака. Тропинка многими и мною протоптана. Был март. Когда мы добрались до кладбища, пошел сильный снег. Стало смеркаться, и быстро смерклось. Мы долго плутали по кладбищу. Сквозь пургу, сквозь темноту все-таки дошли до могилы. У могилы Павел Григорьевич вскричал: «Борис! Борис! Прости!» За что просил прощения? — я никакой вины Антокольского не знаю. Или просто прощался?

Снова вспоминаю дарительные, ободряющие жесты Павла Григорьевича. Так бросился он к Шукшину, так — к Высоцкому. Павел Григорьевич всегда был очарован, прельщен

талантом другого человека. Для меня это и есть доказательство совершенного таланта.

Есть книги, неопубликованные сочинения, но это уже дело литературоведов. Я ученик его и обожатель.

*Июнь 1996*

## НЕ ЗАБЫТЬ

*Памяти Василия Шукшина*

Мы встретились впервые в студии телевидения на Шаболовке: ни его близкая слава, ни Останкинская башня не взмыли еще для всеобщего сведения и удивления. Вместе с другими участниками передачи сидели перед камерой, я глянула на него, ощутила сильную неопределенную мысль и еще раз глянула. И он поглядел на меня: зорко и угрюмо. Прежде я видела его на экране, и рассказы его уже были мне известны, но именно этот его краткий и мрачно-яркий взгляд стал моим первым важным впечатлением о нем, навсегда предопределил наше соотношение на белом свете.

Некоторые глаза — необходимы для зрения, некоторые — еще и для красоты, для созерцания другими, но такой взгляд: задевающий, как оклик, как прикосновение, — берет очевидный исток в мощной исподлобной думе, осязающей предмет, его тайную суть. Примечательное устройство этих глаз, теперь столь знаменитых и незабываемых для множества людей, сумрачно-светлых, вдвинутых в глубину лица и ума, возглавляющих облик человека, тогда поразило меня и впоследствии не однажды поражало.

Однако вскоре выяснилось, что эти безошибочные глаза впервые увидели меня скорее наивно, чем пронизательно.

Со Студии имени Горького мне прислали сценарий снимающегося фильма «Живет такой парень» с просьбой сыграть роль Журналистки: безукоризненно самоуверенной, дерзко нарядной особы, поражающей героя даже не чужеземностью, а инопланетностью столичного обличья и нрава. То есть играть мне и не предписывалось: такой я и показалась автору фильма. А мне и впрямь доводилось быть корреспондентом столичной газеты, но каким! — громоздко-застенчивым, невнятно бормочущим, пугающим занятых людей сбивчивыми просьбами о прощении, повергающим их в смех или жалость. Я не скрала этого моего полезного и неказистого опыта, но мне сказано было — все же приехать и делать, как умею. Так и делали: без уроков и репетиций.

Этот фильм, прелестно живой, добрый и остроумный, стал драгоценной удачей многих актеров, моей же удачей было и осталось — видеть, как кропотливо и любовно общался с ними режиссер, как мягко и безгневно осуществлял он неизбежную власть над ходом съемок.

Что касается моего скромного и невразумительного соучастия в фильме, то я вспоминаю его без гордости, конечно, но и без лишнего стыда. Загадочно неубедительная Журналистка, столь быстро утратившая предписанные ей сценарием апломб и яркость оперения, обрела все же размытые человеческие черты, отстранившие от нее первоначальное отчуждение автора и героя. Был даже снят несоразмерно долгий одинокий проход этого странного существа, не вошедший в заключительные кадры фильма, но развлекавший задумчивого режиссера в темноте просмотрового зала, где они шли навстречу друг другу через предполагаемую пропасть между деревенскими и городскими жителями во имя более важных человеческих и художественных совпадений.



Преодоление этой условной бездны, не ощущаемой мною, но тяготившей его в ту пору его жизни, составило содержание многих наших встреч и пререканий. Опережая себя, замечу, что если он и принял меня вначале за символ чуждой ему, городской, умственно-витиеватой и не плодородной жизни, то все же его благосклонность ко мне была щедрой и неизменной, наяву опровергавшей его теоретическую неприязнь.

Со съемок упомянутого фильма началась наша причудливая дружба, которая и теперь преданно и печально бодрствует в моем сердце. Делая необязательную уступку наиболее любопытным читателям, оговариваюсь: из каких бы чувств, поступков, размолвок ни складывались наши отношения, я имею в виду именно дружбу в единственном и высоком значении этого лучшего слова. Это вовсе не значит, что я вольна предать огласке все, что знаю: это право есть у Искусства, а я всего лишь имею честь и несчастье писать воспоминания.

В ту позднюю осень, в ту зиму мы оба, не очень, правда, горя, мыкались и скитались: он — потому что это было первое начало его московской жизни, пока неуверенной и бездомной, я — потому что тогда бежала благоденствия, да и оно за мною не гналось. Вместе бродили и скитались, но — не на равных. Ведь это был мой город, совершенно и единственно мой, его воздух — мне удобен, его лужи и сугробы — мне отрадны, я знаю наперечет сквозняки арбатских проходных дворов, во множестве домов этого города я всегда имела приют и привет. Но он-то был родом из других мест, по ним он тосковал во всех моих чужих домах, где мрачнел и дичился, не отвечал на любезности, держал в лице неприступно загнанное выражение, а глаза гасил и убирал, вбирал в себя. Да и радушные хозяева не знали, что с

гордостью будут вспоминать, как молчал в их доме нелюди-мый гость, изредка всверкивая неукротенным вольным гла-зом, а вокруг его сапог расплывался грязный снег.

Открою скобки и вспомню эти сапоги — я перед ними смутно виновата, но перед ним — нет, нет. Дело в том, что люди, на чьем паркете или ковре напряженно гостили эти сапоги, совсем не таковы были, чтобы дорожить опрятно-стью воска или ворса. Но он причинял себе лишнее и не-справедливое терзание, всем существом ошибочно полагая, что косится на его сапог соседний мужской ботинок, про-долговатый и обласканный бархатом, что от лужи под сапо-гами отлепывают брезгливые капризные туфельки. То есть сапоги ему не столько единственной обувью приходились, сколько — знаком, утверждением нравственной и географи-ческой принадлежности, объявлением о презрении к чужим порядкам и условностям.

В тех же скобках: мы не раз ссорились из-за великого По-эта, про которого я знала и знаю, говорила и говорю, что он так же неотъемлем от этой земли и так же надобен ей, как земледелец, который свободен не знать о Поэте, этом или другом Поэте, всегда нечаянно пекущемся и о земледельце, и на них вместе и держится эта земля. Есть известный фото-графический портрет Поэта: в конце жизни, на ее последней печальной вершине, он стоит, опершись о лопату, глядя вдаль и вверх.

— В сапогах! — усмехнулся тот, о ком пишу и тоскую. Так или приблизительно так кричала я в ответ:

— Он в сапогах, потому что тогда работал в саду. И я ви-дела его в сапогах, потому что была осень, было непролазно грязно в той местности! А ты...

А он, может быть, и тогда уже постиг и любил Поэта, просто меня дразнил, отстаивал своевольную умственную

независимость от обязательных пристрастий, но одного-то он наверняка никогда не постиг: нехитрого знания большинства людей о существовании обувных магазинов или других способов обзаводиться обувью и прочим вздором вещей.

И все же — в один погожий день, он по моему наущению был заманен в ловушку, где вручили ему сверток со вздором вещей: ну, костюм, туфли, рубашки... Как не хотел! А все же я потом посмотрела ему вслед: он шел по Садовому кольцу (по улице Чайковского), легкой подошвой принимая привет апрельского московского асфальта.

Кстати, я всегда с грустью и со страхом смотрю вслед тем, кого люблю: о, только бы — не напоследок.

Вот и все о бедных сапогах, закрываю скобки.

Да, о домах, куда хаживали мы вместе в гости, — ничего из этого не получилось. Поэтому чаще мы заходили в те места, в которые, знаете ли, скорее забегают, чем заходят. В одном из таких неприятных мест на проспекте Мира, назовем его для элегантности «кафе», я заслужила его похвалу, если не хвалу — за то, что мне там хорошо, ловко, сподручно и с собеседниками я с легкостью ладила. Много таких мест обошли мы: они как бы посредине находились между его и моими родными местами. В окне висела любезная мне синева московских зимних сумерек, он смягчился и говорил, что мне надо поехать в деревню, что я непременно полюблю людей, которые там живут (а я их-то и люблю!), и что какие там в подполе крепкие, холодные огурцы (а я их-то и вождедею!), что все это выше и чище поэтической интеллигентской зауми, которую я чту (о, какие были ужасные ссоры!).

Многие люди помнят пылкость и свирепость наших пререканий. Ни эти люди, ни я, ни вы — никто теперь не может

сказать в точности: что мы делили, из-за чего бранились? Ну, например, я говорила: всякий человек рожден в малом и точном месте родины, в доме, в районе, в местности, взлелеявшей его нрав и речь, но художественно он существует — всеземно, всемирно, обратив ум и душу раструбом ко всему, что есть, что было у человечества. Но ведь так он и был рожден, так был и так сбился на белом свете. Просто он и я, он — и каждый человек, с которым он соотнесся в жизни и потом, — нерасторжимы в этой пространной земле, не тесной для разных способов быть, говорить, выглядеть, но все это — ей, ей лишь.

Последний раз увиделись в Доме литераторов: выступали каждый — со своим. Спросил с усмешкой: «Ну что, нашла свою собаку?» — «Нет». — «Фильм мой видела?» — «Нет». — «Посмотри — мне важно».

Получилось, что его последнего фильма я еще не успела посмотреть, но он успел прочесть объявление о пропаже собаки. Но над этим — сильно и в последний раз сверкнули мне его глаза. И — прыгнул, бросив ему руку, Антокольский: «Шукшин? Я вас — почитаю! Я вас — обожаю!»

Дальнейшее — обозначаю я безмолвием моим. Пусть только я знаю.

Около Новодевичьего кладбища рыдающая женщина сказала мне:

— Идите же! Вас — пустят.

Милиционер — не пустил, у меня не было с собой членского билета Союза писателей. Я сказала: «Я должна. Я — товарищ его. И я писатель все же, я член Союза писателей, но нет, понимаете вы, нет при мне билета».

Милиционер сказал: «Нельзя. Нельзя». И вдруг посмотрел и спросил: «А вы, случайно, не снимались в фильме «Живет

такой парень»? Проходите. Однако вы сильно изменились с тех пор».

Я и впрямь изменилась с тех пор. Но не настолько, чтобы — забыть.

1979

## **ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ**

Начну с начала, опишу все по порядку.

Представьте себе человека, который сидит у столь большого окна, что, не поводя головой из стороны в сторону, он не может увидеть все, что видно в окно.

День сияет, ночь смеркается лишь на мгновение, человек давно уже так сидит, поводит головой из стороны в сторону и видит непомерное множество невской воды и столько обожаемого им города, что этого слишком много для одного взора, для яви.

Загадки никакой: так построен отель, так высоко и велико окно, и человек терзаем избытком того, что он видит, и своим мучительным долгом описывать неопишуемое. Человек думает, что Пушкин... В это время звонит телефон, и спрашивают: «Что вы думаете о Большом театре?» Как, ко всему, что мучит ум, уже болеющий белой ночью, нужно прибавить еще одно раздумье?

Гаснет купол Исаакия, темнеет в Летнем саду, разводят один мост, другой, краткая темень, и снова во всю величину окна сверкает Нева. Человек улыбается: он ловит себя на том, что вот уже сутки думает о Большом театре, и это совпадает и с Пушкиным, и с тем, что в окне. Стало быть, не только на своей площади, но и в сознании человека воздвигнут Великий театр, и достаточно малого оклика, намека, и вот он явился перед памятью, перед влюбленным зрением.

Первое воспоминание: драгоценный, красный, с позолотой воздушный шар — вождление моего детства. Бабушка купила, намотала на палец нитку, а шар размотал ее своей силой, освободился от детской алчности. Разрывание сердца, утрата рук и прибыль зрения: красный шар в синеве Вселенной, нежная белизна хрупко-громоздкого здания, прочно опершегося на колонны, посылающего в небо коней. Не знаю, сказала ли бабушка: «Смотри, это Большой театр». Вряд ли, я должна была и прежде это знать, но увидела так впервые, раз навсегда.

Затем — непрерывная удача детства, счастливое знакомство мамы, и на все, на все спектакли ведут, дают перламутровый бинокль, алеет бархат, блесит позолота, меркнет люстра и — ах!

Как прекрасно ты, возлюбленное человечество... Разве мало просто ходить и разговаривать, а ты вон что: на носках, на божественных и невероятных пуантах. Бесшумных, а все же слух знает наизусть их быстрый-быстрый лепет по сцене. Немыслимо изогнув шею, ты всем телом совершаешь подвиг красоты. И чьи-то уста уже разомкнулись для пения. Да не чрезмерность ли это? Нет, это именно то, что соответствует твоей сути.

Принаряженное дитя еще не понимает смысла слез, мешающих смотреть в перламутровый бинокль. Там просто — ножка о ножку, прыжок, повисание, прыжок, но почему это причина для слез? Восходит надземная люстра, прощай, бинокль, зато — вот пальто, как будто одно заменит другое! Большой театр парит и блещет, что ему до маленького человека со слезой, чью судьбу и речь он нечаянно и непреклонно слагает и пестует; много лет пройдет, и в его честь вдруг, ни с того ни с сего, расплачется человек при Неве, при Летнем саде, клянусь вам, что плачет.

Удачливый московский ребенок вырастает в печального счастливчика, который по-прежнему держит перламутровый

бинокль и обмирает, пока меркнет люстра. Потом по неведомой причине он вовсе не ложится спать, соотнося имя театра и величину его значения, и, видимо, одно соответствует другому, если уж новый день сияет, а человек все еще думает о том, о чем его мимолетно спросили по телефону.

И за это судьба осыпает его подарками невероятных совпадений. В это же время балерина дарит ему свои балетные туфли, вот они лежат — розовые, грациозные, в забытыи, потому что они почти сведены на нет возвышенной каторгой труда.

И открывается дверь, и входит человек, ему семьдесят три года, и вся его жизнь — это Большой театр, бывший, нынешний и грядущий — бесконечный. Я безмерно люблю его и почитаю, как и множество людей. Он спрашивает: «Как Вы поживаете? Вы, кажется, устали, Вы спать не ложились».

Я смотрю на него, усилием зрачка побарываю и скрываю влагу и говорю: «Все хорошо. Просто я поздравляю Вас с 200-летием Большого театра».

Все так и было, как описано в этой заметке, опубликованной в «Литературной газете» 26 мая 1976 года. Оставалось только написать несколько слов на газетных полях: «Дорогой и несравненный Асаф Михайлович! Надеюсь, что и другие люди догадались, но мы-то с Вами точно знаем, кто это входит и кого я безмерно люблю и почитаю и первым — поздравляю. Позвольте еще раз сказать Вам: люблю и почитаю и поздравляю. Всегда Ваша Белла».

Неведомый друг, глубокоуважаемый Читатель! Асаф Мессерер, вошедший в упомянутую дверь ослепительным ленинградским утром, переступит и Ваш порог — когда Вы откроете эту книгу. Мне следует поспешить оставить Вас наедине с ним, с его жизнью, чей непрерывный и непреклонный сюжет — доблестное служение гармонии, сотворение формы, безукоризненно облакающей смысл.



Артист и педагог, дважды воплотивший свой чудный дар, всегда предъявлял зрителю лишь безупречный итог труда — как бы драгоценную беловую рукопись без единой погрешности и поправки. Читателю же книги открыт мучительный черновик, предшествующий чистоте шедевра, — вся жизнь, без малой поправки себе, без передышки.

Большой художник одаряет нас своим искусством и, как будто этого мало, в простом житье-бытье, в котором он скромно, робко и рассеян, оповещает нас о прелести его личности сильным излучением какой-то благодатной энергии, похожей на умение светить в темноте.

На этом я прощаюсь с Читателем и радуюсь за него: на свете нет лучшей радости, чем талант другого человека, ведь его дар — это дар нам.

1979

Дорогой любимый Асаф Михайлович!

Опять я сижу и гляжу на Неву. Та же гостиница: отель «Ленинград».

Но знаю: Вы — не войдете, Вы — в Париже.

Ваша книга (с моим бедным предисловием) — со мной.

Сегодня, когда я ехала в автомобиле на мое выступление, я сказала Вашей внучке Анечке Плисецкой: «Асаф Михайлович однажды сострадательно спросил меня: «Как же Вы устаете, когда стоите на сцене?»

Я знаю, что Вы имели в виду нечто другое. Помню, что ответила: «Только ноги устают, Асаф Михайлович». Вы и я — рассмеялись.

Потому что — я СТОЮ на сцене.

Позвольте мне считать себя Вашим учеником: в жизни и на сцене.

В сей (шестой) час 31 октября я сижу глядячи на Неву и заранее поздравляю Вас с днем Вашего рождения: 19 ноября.

Поздравляю всех, кого Вы учили.

Я — просто люблю Вас. И — я люблю счастливые совпадения (в обыденной жизни называют: судьба).

Всегда и только Ваша

*Белла Ахмадулина*

*31 октября 1988*

## ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО АРТИСТА

На 89-м году жизни умер Асаф Михайлович Мессерер. Еще недавно каждое утро он шел вниз по Тверской улице из дома на работу—в Большой театр. Это называется: «давать класс». Условный балетный термин следует увеличить, расширить, возвысить, отнести к уроку всей его жизни — бессмертному, потому что у его учеников всегда будут ученики.

Его пребывание в воздухе было таинственно, волшебю. Это видели многие зрители, это видели Шаляпин и Собинов — он совпал с ними на великой сцене, это видели Мейерхольд и Михоэлс — он совпал с ними в трагическом времени.

Да, он прожил большую, полную жизнь, прожил вполне, совершенно. Я написала и прочла эти слова, но не сумела сыскать в них утешения. Больше никаким утром он не пойдет вниз по Тверской — что-то покачнулось, непоправимо разрушилось, кончилось... Эпоха кончилась. Но балет остался и все будет парить и блистать, увековечивая кроткий образ, драгоценное имя Асафа Мессерера.

*Март 1992*

## СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Вот, в сей час, в сей миг, при нас завершается нерасторжимость Большого театра и Асафа Мессерера. Разумеется, я имею в виду только очевидную нерасторжимость. Я хорошо понимаю, что стены великих театров умеют хранить своих героев бережнее и тщательнее, чем усыпальницы фараонов.

Энергия всех движений Асафа Мессерера, которую он рсточил на зрителей, на учеников, все-таки должна пребывать где-то и в этом воздухе. Я верю в это. И где-то здесь навсегда останется нечто от него — какой-то привет людям, которые придут после нас. И все-таки обрыв этой нерасторжимости трудно осознать, и звучит это и выглядит несусветно.

Сегодня утром, увидев колонны Большого театра, мне показалось, что я созерцаю их некоторый беспорядок, какую-то близость к обмороку. Поверьте, это не смятение моих глаз, а действительно историческое ощущение того, что значительная часть времени кончилась. То, что Асаф Михайлович Мессерер не будет каждое утро ходить вниз по улице из своего дома к Большому театру, то, что это действительно так и что он больше не войдет в свой Театр, — вот это в моем сознании разрушает некоторую конструкцию, без которой трудно обходиться. В эту конструкцию входит все — и великий его дар, и трагическое время, и судьба его учеников.

Но тем не менее что-то отчетливо пошатнулось. Я утешаю себя тем, что я знаю, что все это происходит при на-

шей общей боли, общем страдании, потому что в Асафе Мессерере было еще одно качество. Это в нем теплился, теплился и ласкал других какой-то кроткий, но довольно мощный свет. Во всяком случае я попадала под это излучение. И то, что в рассеянном, в разрозненном мире Асаф Мессерер всегда и сейчас может объединить людей в добром возвышенном чувстве, — пусть это будет нам всем утешением. Да, я ищу утешения себе, желаю утешения вам, но в душе что-то поплакивает, попискивает и не принимает слова утешения.

*12 марта 1992*

## «РЕВНОСТЬ ПО ДОМУ»

Привет Вам, милый читатель!

Сосредоточимся на добром помысле и проведем вместе несколько мгновений — вблизи книги, чей скромный и заманчивый простор поджидает Вас по ту сторону страницы.

Я не скрываю моего пристрастия к ее автору, и прежде, чем Вы поверите его слову, я прошу Вас поверить мне на слово, что он — совершенно поэт. В этом счастливом случае стихосложение — не насилие над беззащитными словами, а единственно возможный способ жизни и речи, дарующий словам, обреченным друг другу, неизбежность счастливого союза.

Несравненная Грузия, помещенная на горах и в долинах, имеет свои владения в душах многих русских поэтов. Ее притягательность, ее власть над нашими снами и устремлениями обращены к Илье Дадашидзе с особенной пристальностью. Ведь это родина его крови, содевшая его жизнь. Нежная соотнесенность с этим местом земли — черта души, черта предстоящей Вам книги. Образ Тбилиси читается в ней так же ясно, как если бы Вы озирали окрестность, печалась на склонах Мтацминды. Человек, чья речь разминулась с предысторией рождения, словно искупает безгрешную вину перед речью предков, тоскуя по ее красе, искушающей губы, служа ей благородством поэтических переводов.

Изящество внутренней осанки, совершенное отсутствие всего, что развязно, суетно, аляповато, склонность просвещенного ума учиться у тех, кто прежде и лучше нас,— вот качества, которыми я дорожу и люблюсь в моем дорогом товарище и коллеге, чью книгу Вы теперь держите в руках.

Желаю Вам счастливого чтения и всех угодных Вам радостей и удач.

1981

## **«ИТАЛЬЯНЦЫ В РОССИИ»**

Какая радость, досточтимые синьоры, и Вы, прекрасные синьоры, и Вы, особенно Вы, ненаглядные синьорины, никогда не открывающие книг. Что за чудная ночь эта нынешняя ночь, ей-ей, в ней есть что-то италийское: такая вдруг мягкость и влажность в природе, и отсветы воды дрожат на потолке. Понимаю, что дождь наполнил сад, а все-таки — Пастернак так когда-то проснулся в Венеции: отсветы воды дрожали на потолке. Когда и я однажды проснулась в Венеции, я прочла в потолке не золотую игру бликов, а отражение отражений, описание их Пастернаком, превосходящее силой и прелестью явь моего пробуждения. И долго еще это венецианское утро казалось мне его сотворением и собственностью, и не жаль было, что меня как бы нет, а он — невредимо-юн и счастлив.

Но о чем я? Вам-то какая в этом радость, мои синьоры, и синьоры, и синьорины, не заглядывающие в книги (и не надо, все книги, все поэты сами глядят не наглядятся на Вас)? Ах, да, ведь я пишу это здесь и сейчас, а Вы — там и потом берете в руки книгу, о которой и веду я мою сбивчивую речь.

«Да читала ли ты книгу, о которой речь?» — спрашивает меня моя венецианская переделкинская ночь. Нет, отвечаю я, но зато я знаю название: «Итальянцы в России». Неужели этого мало? Что может быть лучше, что более наводит ум на



воспоминания и вдохновение? Из всех влияний, воспринятых влиятельной, но и впечатлительной Россией, воздействие Италии кажется самым возвышенным, самым духовным и безгрешным, в нем нет никаких сложностей, кроме простейше-сложнейшей слагаемости: Искусство. В этом смысле Россию без Италии могу увидеть, как вижу сейчас не полную, усеченную Луну, знаю, что Луна целиком цела, но вижу — так, вот она, кстати появилась из-за тучи.

Разумеется, авторы книги знают все лучше, чем я, иначе зачем бы они взялись за книгу, теперь принадлежащую Вам. Но я знаю авторов книги — иначе зачем бы я стала морочить Вам голову и заманивать Вас в книгу, которую возлюбила прежде, чем прочла? Каждого из двух авторов я знаю давно, пристально и благосклонно, но прежде я знала их по отдельности, врозь. Да и почему бы я стала соотносить того и другого? Судите сами.

Юлий Крелин — хирург, ведущий хирург московской больницы. Я знаю многих людей, обязанных ему самым серьезным образом. Они говорят, что он ослепителен в своем белом и особенно в своем зеленом: решительность, властность, скупость слов и движений — сокрытая доброта врача. Совершенно им верю, но я-то видела его в другом, случайном и не имеющем значения цивильном цвете, к которому сводится нечаянная элегантность человека, не расточающего досуг на портного. Я прихожусь ему не пациентом (во всяком случае пока), а внимательным читателем. Врач Крелин — писатель, чьи рассказы и повести давно и прочно снискали особенный интерес и расположение взыскательной читающей публики. Его сюжеты и вымыслы обычно исходят из его медицинского опыта, но, если бы дело было только в этом, его читали бы лишь его благодарные больные, которых, впрочем, предостаточно. По счастью, дело обстоит иначе. Не сам по себе недуг, подлежащий или не под-

лежащий исцелению, а человек с его страстями и страданиями — вот герой или персонаж-завсегдатай произведений Крелина. Полагают, что врач и писатель наиболее осведомлены в многосложной человеческой природе. Совпадения двух этих дарований в одном лице обещает редкостную удачу, вызывает доверие и уважение. Даже отвлеченно рассуждая, можно сказать, что у хорошего врача не должно быть оснований и времени писать плохие книги.

Натан Эйдельман — знаменитый историк литературы, сосредоточенный на русском XIX веке, на Пушкине, декабристах, Герцене и всех соседних именах и обстоятельствах. От сердца скажу, что его заслуги и достижения в этой области мне милее и ближе других аналогичных. Живость и какая-то глубоко серьезная, но веселая игра хорошо разветвленного и просвещенного ума, столь украшающие Эйдельмана и как милого знакомца и собеседника, придают его трудам прельстительный и радостный блеск. Его выдающимся изысканиям вовсе не свойствен наукообразный хлад, они оснащены ярко-живым художественным пульсом. Да и можно ли одною наукой постичь Пушкина? Здесь надобен собственный творящий и вольнолюбивый дар. Давно когда-то, зная имя Эйдельмана лучше, чем его облик, я увидела и не узнала его в телевизионной передаче. Да кто это? — думала я с радостью и недоумением. Какая своеобычная, изысканная речь, какая стройная мысль, какая пригожая, талантливая осанка. И догадалась: Эйдельман, и никто другой.

Вот видите — два примечательных и примечательно разных человека. Меж тем их соединяет в пространстве очевидный пунктир даже поверхностной, чисто житейской связи. Они — ровесники, учились в одной школе, дружат сорок лет и будут дружить и впредь, не имея причин для распрей и лукавства. Высокая одаренность вообще залог доброжелательности. Я знаю даже больше. Например, дочь Эйдельмана —

историк и навряд ли посрамит славную фамилию. У Крелина — трое детей, дочь занимается хирургической диагностикой. Впрочем, я имею честь знать лишь его вовсе юного сына: огонь волос, веснушки в изобилии и то залихватски-независимое выражение лица, которое многое обещает в будущем.

Упомянутый пунктир подтвержден линией более цепкой и глубокой. Книга — вот что наглядно объединяет их и нас с Вами, вот почему эта теплая ночь поздней осени кажется мне итальянцем в России. Станемте читать. Теперь Вы вправе спросить: ну, а кто же тот, кто представляет нам столь известных людей? И впрямь — кто сей созерцатель Луны и дождя? Ах, да просто это один русский поэт, но, в угоду нашей теме, скажем, что в нем есть немного итальянской крови.

Примите привет и добрые пожелания.

1985

## **«НАЕДИНЕ С ТОБОЮ, БРАТ...»**

Первое издание этой книги вышло в Ставропольском книжном издательстве с кратким предисловием Ираклия Андроникова. Изъявления этого высокого и доброжелательного участия совершенно достаточно для заведомого доверия читателей к автору книги, увеличившему ее объем новыми размышлениями и изысканиями.

Мое скромное и сочувственное вмешательство было бы развязным и излишним, если бы оно не соответствовало моему искреннему расположению к Сергею Васильевичу Чекалину, к доблестной страсти его души, обреченной Лермонтову.

Произнесение этого имени — чем доле я живу — все большее для меня, все затруднительнее. С горечью вспоминаю я былую беспечность уст, лакомых до этого мучительного, прохладного и пространного звука.

Именем великого человека наречена и его, сомкнувшая створки, тайна, куда не все мы и не совсем приглашены заглянуть, и наша собственная тайна, запретная для суесловной огласки.

Подчас (и сейчас) мне кажется, что имя это, к которому мы безвыходно и непрестанно обращаемся, уязвлено ненасытной любознательностью, попыткой пронизательности, посягающей на его замкнутость, гордость, недоступность.

Если бы у нас была возможность довольствоваться лишь тем, что сам Лермонтов оставил нам не сокрытым, — этого

было бы слишком довольно для открытия: открыл его книгу, вот уже и открытие, в его слове и в сочетании слов.

«Если бы...» — так все говорили и говорят о Лермонтове. Но сослагательное наклонение никак не соотносимо с ним: он только тот и таков, ему ровно столько лет, сколько нужно. Он успел, преуспел, содеял должное в отведенный ему четкий срок. Все остальное — лишь вздоры нашей любви к нему, тоски по нем, безутешной и бесполезной, если станем терзать себя помыслами и домыслами о его смерти...

1985

## ЛАРИСА ШЕПИТЬКО

Так случилось, так жизнь моя сложилась, что я не то что не могу забыть (я не забывчива), — я не могу возыметь свободу забытья от памяти об этом человеке, от утомительной мысли, пульсирующей в виске, от ощущения вины. Пусть я виновата во многом, но в чем я повинна перед Ларисой? Я долго думаю — рассудок мой отвечает мне: никогда, ни в чем. Но вот — глубокой ночью — я искала бумаги, чтобы писать это, а выпал, упал черный веер. Вот он — я обмахиваюсь им, теперь лежит рядом. Этот старинный черный кружевной веер подарил мне Сергей Параджанов — на сцену, после моего выступления.

— При чем Параджанов? — спросит предполагаемый читатель. При том, что должно, страдая и сострадая, любить талант другого человека, — это косвенный (и самый верный) признак твоей одаренности.

Ну, а при чем веер?

Вот я опять беру его в руки. Лариса держала его в руках в новогоднюю ночь, в Доме кино. Я никогда не умела обмахиваться веером, но я никогда не умела внимать строгим советам и склонять пред ними голову.

— Я покажу Вам, как это делается, — сказала Лариса. — Нас учили этому во ВГИКе.

Лариса и веер — стали общая стройность, грациозность, плавное поведение руки, кружев, воздуха. Я склонила голову,

но все же исподтишка любовалась ею, ее таинственными, хладными, зелеными глазами.

Откуда же она взяла такую власть надо мною, неподвластной?

Расскажу — как помню, как знаю.

Впервые, отчетливо, я увидела ее в Доме кино, еще в том, на улице Воровского. Нетрудно подсчитать, когда это было: вечер был посвящен тридцатилетию журнала «Искусство кино» — и мне было тридцать лет. Подробность этого арифметического совпадения я упоминаю лишь затем, что тогда оно помогло мне. Я поздравляла журнал: вот-де, мы ровесники, но журнал преуспел много более, чем я. Я знала, что говорю хорошо, свободно, смешно, — и согласная приязнь, доброта, смех так и поступали в мою прибыль из темного зала. Потом я прочитала мое долгое, с прозой, стихотворение, посвященное памяти Бориса Пастернака. Уж никто не смеялся: прибыль души моей все увеличивалась.

Но что-то сияло, мерцало, мешало-помогало мне из правой ложи. Это было сильное излучение нервов — совершенно в мою пользу, — но где мне было взять тупости, чтобы с болью не принять этот сигнал, посыл внимания и одобрения? Нервы сразу узнали источник причиненного им впечатления: Лариса подошла ко мне в ярко освещенном фойе. Сейчас, в сей предутренний час, через восемнадцать лет, простым художественным усилием вернув себе то мгновение, я вижу прежде не Ларису, а ее взгляд на меня: в черном коротком платье, более округлую, чем голос, чем силуэт души, чем тонкость, притаившаяся внутри, да просто более плотную, чем струйка дыма, что тяжеловесно, — такова я, пожалуй, в том внимательном взоре, хищно, заботливо, доблестно профессиональном. Сразу замечу, что по каким-то другим и неизвестным причинам, но словно шлифуемая, оттачиваемая этим взором для его надобности, я стала быстро и силь-

но худеть, — все легче мне становилось, но как-то уже и странно, рассеянно, над и вне.

Но вот я вглядываюсь в Ларису в тот вечер, в ее ослепительную невидимость в правой ложе, в ее туманную очевидность в ярком фойе: в отрадность, утешительность ее облика для зрения, в ее красоту. И — в мою неопределенную мысль о вине перед ней: словно родом из Спарты, она показалась мне стройно и мощно прочной, совсем не хрупкой, да, прочной, твердо-устойчивой, не хрупкой.

Пройдет не так уж много лет времени, будет лето, Подмосковье, предгрозые, столь влияющее на собак, — все не могла успокоить собаку, тревожилась, тосковала. Придут — и н-н-не смогут сказать. Я прочту потупленное лицо немого вестника — и злобно возбраню правде быть: нет! нельзя! не сметь! запретно! не позволяю, нет. Предгрозые разрядится через несколько дней, я запутаюсь в струях небесной воды, в электричке, в сложных радугах между ресниц — и не попаду на «Мосфильм».

Был перерыв в этом писанье: радуги между ресниц.

Но все это будет лишь потом и этого нет сейчас: есть медленный осенний предрассвет и целая белая страница для насущного пребывания в прошедшем времени, когда наши встречи участились и усилились, и все зорче останавливались на мне ее таинственные, хладные, зеленые глаза.

Впрочем, именно в этой драгоценной хладности вскоре стала я замечать неуловимый изъян, быстрый убыток: все теплела, слабела и увеличивалась зеленая полынья. Таянье тайны могло разочаровать, как апрельская расплывчатость льда, текучесть кристалла, но, кратким заморозком самообладания, Лариса превозмогала, сковывала эту самовольно хлынувшую теплынь как некую независимую бесформенность и возвращала своим глазам, лицу, силуэту выражение строго-студеной и стойкой формы, совпадения сути и стати.



Неусыпная художественная авторская воля — та главная черта Ларисы, которая, сильно влияя на других людей, слагала черты ее облика. Лариса — еще и автор, режиссер собственной ее внешности, видимого изъяснения личности, поведения. Поведение — не есть просто прилежность соблюдения общепринятых правил, это не во-первых, хоть это обязательно для всякого человека, поведение есть способ вести себя под общим взором к своей цели: сдержанность движений, утаенность слез и страстей.

Эту сдержанность, утаенность легко принять за прочность, неуязвимость. Я любовалась повадкой, осанкой Ларисы, и уважение к ней опережало и превосходило нежность и жалость. Между тем я видела и знала, что ее главная, художественная жизнь трудна, непроста: вмешательства, помехи, препоны то и дело вредили ее помыслам и ее творческому самолюбию. Это лишь теперь никто не мешает ей и ее славе.

Влиятельность ее авторской воли я вполне испытала на себе. Лариса хотела, чтобы я снималась в ее фильме, и я диву давалась, замечая свою податливость, исполнительность: я была как бы ни при чем: у Ларисы все выходило, чего она хотела от меня. Это мое качество было мне внове и занимало и увлекало меня. Лариса репетировала со мной сначала у нее дома, на набережной, потом на «Мосфильме». Все это было совсем недолго, но сейчас я четко и длинно вспоминаю и вижу эти дни, солнце, отрадную близость реки. В силе характера Ларисы несомненно была слабость ко мне, и тем легче у нее все получалось. Лариса открыто радовалась моим успехам, столь важным для нее, столь не обязательным для моей судьбы, ведь у меня — совсем другой род занятий. Но я все время принимала в подарок ее дар, ярко явленный в ее лице, в ее указующей повелительности. Все-таки до съемок дело не дошло, и я утешала ее: «Не печальтесь! Раз Вы что-то нашли во мне — это не пройдет с годами, вот и снимите

меня когда-нибудь потом, через много лет». Лариса сказала как-то грозно, скорбно, почти неприязненно: «Я хочу — сейчас, не позже».

Многих лет у нее не оставалось. Но художник вынужден, кому-то должен, кем-то обязан совершенно сбыться в то время, которое отведено ему, у него нет другого выхода. Я видела Ларису в расцвете ее красоты, подчеркнутой и увеличенной успехом, отечественным и всемирным признанием. Это и была та новогодняя ночь, когда властно и грациозно она взяла черный кружевной веер, и он на мгновение заслонил от меня ее прекрасное печальное лицо.

Милая, милая, хрупкая и незащитная, но все равно как бы родом из Спарты, — простите меня.

*Ноябрь 1985*

## ПОСВЯЩЕНИЕ

### (вольное сочинение на заданную тему)

Так начала я, шли дни и ночи, не мимо меня, сквозь меня шли, для удобства их прохождения сквозь меня я меняла географические местоположения и не нашла музыкального позволения писать дальше.

Генрих Густавович, Станислав Генрихович, правильно ли слышу Вас, что — не надо, не следует? Я всегда слышу Вас (слушаю — это другое, для слушания Вас и теперь, и всегда остается некоторая простая возможность). Не ослышаться, а ослушаться остерегаюсь.

Не ослушник Ваш, и не послушник ничей, кроме как Ваш, пусть я напишу что-нибудь, позвольте мне это, пожалуйста, иначе как объясню я безвыходную для меня надобность написать: безвыходность эта сначала была не художественного происхождения. То есть я полагала, что должна — и обещала, может быть, опрометчиво, потому что должно держать слово, но Слово должно лишь гармонии, нету у него других задолженностей, его воля непрекаема и непонукаема и всегда может оспорить и пересилить мою. Обретут ли согласие данное мной слово и Слово, еще мне не данное?

Некогда, как и многие люди, я приняла и присвоила рачительный привет Вашего великодушия, заведомое прощение, одобрение, доверчивое изъяснение веры мне, уверенности в том, что я — не оскорбитель, не предатель Музыки, не

толкователь и не разглашатель тайны, не развязный пошляк, скажу так для краткости говоренья. Сколько раз, мучась и сомневаясь, осознавая несовершенство моих способностей и совершенство ужасных обстоятельств воспитания и образования, сколько раз приникала я к Вашей помощи — помогите еще один раз.

«Вот еще одно оправдание моей затеи: когда одного писателя, выразившего, хотя и другими словами, небезызвестное чувство: «молчите, проклятые книги», спросили, зачем же он пишет, он ответил: чтобы избавиться от своих мыслей».

Эти слова Генриха Нейгауза, без ошибок переписанные мною из его книги, я приняла за позволение написать. Ведь и в них есть другой, новый, собственный, вольный по отношению к общеизвестной достоверности, смысл: это не изложение, это сочинение.

«Сочиняйте, а не излагайте» — это название статьи Генриха Нейгауза о кинематографе, о его соотношении с литературной и музыкальной классикой. Содержание этой грустной и деликатной статьи открыто для сведения любого любознательного читателя, и я не собираюсь излагать его или сочинять заново.

И все же — это так просто, так важно. Всякий исполнитель: роли, сторонней авторской воли, — останется лишь приживалой и прихвостнем беззащитного гения, чьей сенью он собирается сокрыть или возвеличить свое никакое или какое-нибудь значение, — счастливый случай, когда таковой поступает бескорыстно...

*Февраль—март 1986*

## ПОСЛЕСЛОВИЕ К АВТОБИОГРАФИИ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ

\*\*\*

Та, в сумраке превыспреннем витая,  
кем нам приходится? Она нисходит к нам.  
Чужих стихий заманчивая тайна  
не подлежит прозрачным именам.

Как назовем породу тех энергий,  
чья доблестна и беззащитна стать?  
Зрачок измучен непосильной негой,  
измучен, влажен и желает спать.

Жизнь, страсть — и смерть. И грустно почему-то  
И прочных формул тщетно ищет ум.  
Так облакает хрупкость перламутра  
морской воды непостижимый шум.

\*\*\*

Глаз влажен был, ум сухо верил  
в дар Бога Вам — иначе чей  
Ваш дар? Вот старый черный веер  
для овеванья чудных черт  
лица и облика. Летали

сны о Тальони... но словам  
здесь делать нечего... Вы стали —  
смысл муки-музыки. В честь Тайны  
вот — веер-охранитель Вам.

Вы — изъявление Тайны. Мало  
я знаю слов. Тот, кто прельстил  
нас Вашим образом, о Майя,  
за подвиг Ваш нас всех простил.

«Чем больше имя знаменито, тем неразгаданней оно...»  
Это строчка из моего стихотворения, посвященного Блоку.  
Как можно соотнести этот маленький эпиграф с художе-  
ственной судьбою, которая сбылась с таким совершенством?

Творческий удел Майи Плисецкой — есть чудо, дарован-  
ное нам. Человек получил свой дар откуда-то свыше и вер-  
нул его людям в целостности и сохранности и даже с большим  
преувеличением. Так что здесь нет ни одной маленькой убы-  
ли, нет ни одного маленького изъяна. И казалось бы, Майя  
Михайловна не оставляет нам никаких загадок. Она явила  
нам все, что ей назначено. И все-таки я применила эту  
строчку к раздумью о ней. Дело в том, что в исчерпывающей  
очевидности этого сбывшегося несравненного таланта все-  
гда есть некоторая захватывающая тайна. И сколько бы я ни  
помышляла о Плисецкой или сколько бы раз я ни видела ее  
на сцене или просто ни следила бы вблизи за бликами, кото-  
рые озаряют ее лицо и осеняют весь ее облик, всю ее повед-  
ку, всегда я усматривала в этом захватывающий сюжет, при-  
глашающий нас к какому-то дополнительному раздумью.  
Действительно, ореол этой тайны приглашает нас смотреть  
в художественные, человеческие действия Плисецкой с тем  
же азартом, с каким мы можем следить поведение огня или  
поведение воды или всякой стихии, чье значение не вполне

подлежит нашему разумению. И еще поражало меня — то есть несомненно, ничего не оставлено в тайне от нас, все предложено нашему созерцанию. И все-таки это тот простор, куда может углубиться наш действующий ум, любопытство наших нервов. Это огромный объем, оставленный нам для раздумья и для сильного умственного и нервного проникновения.

И еще меня поражает в ее художественном облике совпадение совершенно надземной одухотворенности, той эфемерности, которую мы всегда невольно приписываем балету, с сильной и мощно действующей страстью. Пожалуй, во всяком случае на моей памяти, ни в ком так сильно не совпала надземность парения, надземность существования с совершенно явленной энергией трагического переживания себя в пространстве. И может быть, все вот это и останется для нас непрерывным побуждением мыслить.

Мне однажды довелось видеть... Это было некоторое чудо. Я просто ждала в числе прочих Майю Михайловну около консерватории. И она подошла незаметно, и вдруг — был дождливый день — и вот в дожде этого дня вдруг отразился ее чудный мерцающий и как будто ускользающий облик. И еще раз тогда я подумала, что очевидность этой судьбы все-таки оснащена прекрасной тайной, вечной возможностью для нас гадать, думать, наслаждаться и никогда не предаться умственной лени и скуке.

## НОВЫЙ ГОД И МАЙЯ

...Смягчается времен суровость,  
Теряют новизну слова.  
Талант — единственная новость,  
Которая всегда нова.

*Борис Пастернак*

С чего-то надобно начать (уже два раза луна сходила на нет и становилась совершенно округлой), а я все сижу, никакого толку, успела лишь спросить Евгения Борисовича Пастернака: смягчается? или меняется? Книги под рукой нет, есть неподалеку от руки. Да мне так легче, лучше: услышать этот голос. Две первые строки относятся к 1957 году, две вторые — ко всему и всегда.

«Времен суровость» — Майя Плисецкая знает это. Майя как бы с неба к нам пришла, прилетела, я видела, как летает, летит, сидит («Кармен-сюита», я имею в виду неопишуемость этой позы, бурю и мглу, мощь и энергию движения, все-таки соотнесенного с заданной неподвижностью, с табуретом, не знаю, как назвать) или стоит на столе («Болеро»).

Более всего я люблю видеть ее на сцене, на разных сценах видела, но вот, прикрываю глаза веками и вижу: на родной сцене Большого театра, сначала как бы вижу весь спектакль, все спектакли, на сцене — трагедия. Ее героиня — всегда трагедия и страсть, страсть как любовь и как страдание.



Мои глаза влажнеют. Рядом сидящие малые дети спрашивают: «Ее — убьют?» Отвечаю: «Есть одна уважительная причина плакать — искусство». И дети запомнили, не плаксивы.

Спектакль кончается, и вы... — не вы-ходит? не вы-летает? Это у меня не выходит, не вылетает слово для объяснения того, что видела и вижу. Публика стоит и аплодирует, а на ту, чей дар трагедии и отраден, на нее, к ней все падают, сыплются цветы. Цветы подносят и снизу, но я особенно дорожу теми, что летят сверху, с верхних ярусов, с галерки. Всякий раз мне перепадал цветок из ее долгой, прекрасной руки — потом, за кулисами, да простят мне эту щедрость дарители цветов не мне.

Открываю глаза, иначе бы я видела, но не написала, пишу, описываю: 1 января 1993 года. Я воочию вижу ее не на сцене, а дома, в московском доме на Тверской. Гляжу — не нагляжусь, улыбка радости наполняет, переполняет мое лицо, выходит за пределы лица, дома, Тверской улицы, Москвы, Замоскворечья, Твери и прочих мест, предместий, столиц, окрестностей. Улыбка радости заполняет весь белый свет, в котором столько печали. Почему же я улыбаюсь, и сейчас улыбаюсь? Чему я так радуюсь? Да — цветам сверху, дару свыше, ненаглядности красоты.

*Февраль 1993*

## ДАРУЮЩИЙ РАДОСТЬ

Фирма «Мелодия» предлагает Вашему вниманию... — я написала эти слова, и рука моя надолго остановилась.

Темнело, светало, таяло, морозило, шел снег — я не умела продолжить. Но почему? Казалось бы, все волшебным просто. Фирма «Мелодия» делает Вам и мне, нашему общему неисчислимому множеству драгоценный подарок — Вы сами видите, каков он. Но до того, как Вы возьмете его в руки, я должна объяснить вот этому листу бумаги, почему мне так трудно соотносить с ним перо.

Когда-то, давно уже, я поздравляла читателей «Литературной газеты» с Новым годом, с чудесами, ему сопутствующими, в том числе с пластинкой «Алиса в Стране чудес», украшенной именем и голосом Высоцкого.

А Высоцкий горько спросил меня: «Зачем ты это делаешь?» Я-то знала — зачем. Добрые и доблестные люди, еще раз подарившие нам чудную сказку, уже терпели чье-то нареkanie, нуждались хоть в какой-нибудь поддержке и защите печати.

С тех пор прошло ровно десять лет. Я пишу это в декабре 1986 года.

«Литературная газета» еще раз поздравит читателей с Новым годом — уже никто не пререкается с моими словами о Высоцком, вернее, значение его имени для нашего сознания стало непререкаемо и неоспоримо.

И еще один раз Высоцкий так же горько и устало спросил меня: «Зачем ты это делаешь?» — это когда в альманахе «День поэзии» было напечатано одно его стихотворение, сокращенное и искаженное.

Голос — всегда изъятие души. Голос Высоцкого — щедрый, расточительный подвиг. Но других, расчетливых и скаредных, подвигов не бывает.

Высоцкий сделал для нас все, что мог, даже более, чем возможно. Что же мы можем сделать для Высоцкого? Ему ничего не нужно.

Было нужно: признания его профессиональной литературной независимости, ведь, прежде всего, он — автор своих сочинений. Всенародная слава была с ним при его жизни, но и обида, не полезная для жизни, была. То и другое он претерпевал с достоинством.

Для личности и судьбы Высоцкого изначально и заглавно то, что он — Поэт. В эту его роль на белом свете входят доблесть, доброта, отважная и неостановимая спешка пульсов и нервов, благородство всей жизни (и того, чем кончается жизнь). Таков всегда удел Поэта, но этот наш Поэт еще служил театру, сцене, то есть опять служил нам, и мы знаем, в какой степени: в превосходной, в безукоризненной. Какое время из всего отпущенного ему взял он для пристального и неусыпного труда: для работы над словом, над строкою? Его рукописи удостоверяют нас в том, что время, которым располагает Поэт, не поддается общепринятому исчислению. Он должен совершенно уложиться в свой срок, и за это вся длительность будущего времени воздаст ему нежностью и благодарностью. Начало этого бесконечного воздаяния бурно происходит на наших глазах.

Июль 1980 года стал пеклом боли для современников Высоцкого и навряд ли станет прохладой воспоминания для других поколений, но и у них в календаре будет январь, чтобы радоваться дню его рождения.

Неисчислимы почитатели Высоцкого заслуживают восхищения, но и утешения: между ними и всем тем, что содеяно их героем и любимцем, не должно быть препон и разлуки. Читатели, зрители и слушатели все чаще получают в свое неотъемлемое и бескорыстное владение то, что заведомо и по праву принадлежит им.

К числу утешительных радостей и наград такого рода несомненно относится этот альбом. Две его пластинки для меня несколько раз драгоценны. Их общий состав и объем достаточно обширны, чтобы свидетельствовать о разных периодах и достоинствах творчества Высоцкого. Знаменитые артисты, привлеченные для участия в записи, — близкие друзья и сподвижники Володи, это сразу слышно и вызывает волнение и признательность.

И, конечно, главное содержание альбома — живой и неврежденный голос Высоцкого, никогда не покидающий нас, дарующий радость, затмевающий влагой глаза.

Вдруг мне показалось, что голос этот снова спросил меня: «Зачем ты это делаешь?» И правда — зачем? Сейчас Вы сами все это услышите.

От всей души желаю Вам любви и счастья.

Белла Ахмадулина

*Декабрь 1986*

## ВОЖДЬ СВОЕЙ СУДЬБЫ

Меня утешает и обнадеживает единство нашего помысла и нашего чувства. Хорошо собираться для обожания, для восхищения, а не для вздора и не для раздора. И хотя по роду моих занятий я не развлекатель всегда любимой мною публики, я все-таки хотела бы смягчить акцент печали, который нечаянно владеет голосом каждого из нас.

Вот уже седьмой год, как это пекло боли, обитающее где-то здесь, остается безутешным, и навряд ли найдется такая мятная прохлада, которая когда-нибудь залижет, утешит и обезболит это всегда полыхающее место. И все-таки у нас достаточно причин для ликования. Завтра день рождения этого человека.

Мандельштамом сказано — я боюсь, что я недостаточно грациозно воспроизведу его формулу, — но сказано приблизительно вот что: смерть Поэта — есть его художественное деяние. То есть смерть Поэта — не есть случайность в сюжете его художественного существования. И вот, когда мы все вместе, желая утешить себя и друг друга, все время применяем к уже свершившейся судьбе какое-то сослагательное наклонение, может быть, мы опрометчивы лишь в одном. Если нам исходить из той истины, что заглавное в Высоцком — это его поэтическое урождение, его поэтическое устройство, тогда мы поймем, что препоны и вредоносность ничтожных людей и значительных обстоятельств — все это лишь вздор, сопровождающий великую судьбу.

Чего бы мы могли пожелать Поэту? Нечто когда-нибудь Поэт может обитать в благоденствии? Нешто он будет жить, соблюдая свою живучесть? Нет. Сослагательное наклонение к таким людям неприменимо. Высоцкий — несомненно вождь своей судьбы. Он — предводитель всего своего жизненного сюжета.

И мне довелось из-за него принять на себя жгучие оскорбления, непризнание его как независимого литератора — было и для меня унижительно. Я знаю, как была уязвлена столь высокая, столь опрятная гордость, но опять-таки будем считать, что все это пустое.

Я полагаю судьбу Высоцкого совершенной, замкнутой, счастливой. Потому что никаких поправок в нее внести невозможно. Несомненно, что его опекала его собственная звезда, перед которою он не провинился. И с этим уже ничего не поделаешь, тут уже никаких случайностей не бывает. А вот все, что сопутствует Поэту в его столь возвышенном, и столь доблестном, и столь трудном существовании, — все это какие-то необходимые детали, без этого никак не обойдешься. Да, редакторы ли какие-то, чиновники ли какие-то, но ведь они как бы получаются просто необходимыми крапинками в общей картине трагической жизни Поэта, без этого никак не обойдешься. Видимо, для этого и надобны.

Но все же, опять-таки вовлекая вас в радость того, что этот человек родился на белом свете и родился непоправимо навсегда, я и думаю, что это единственное, чем можем мы всегда утешить и себя, и тех, кто будет после нас.

Он знал, как он любим. Но что же, может быть, это еще усугубляло сложность его внутреннего положения. Между тем, принимая и никогда не отпуская от себя эту боль, я буду эту судьбу полагать совершенно сбывшейся, совершенно отрадной для человечества.

## АРТИСТ И ПОЭТ

Я хочу еще раз восславить этого Артиста. Когда я говорю «Артист», я имею в виду нечто большее, нежели просто доблестное служение сцене, лишь театру. Артист — это нечто большее...

Я не хочу приглашать вас ни к какой печали — все-таки завтра день *рождения* Владимира Высоцкого. Получается, что рождение Поэта для человечества гораздо важнее, чем *все*, что следует за этим и что разрывает нам сердце. Блаженство, что он родился. Привыкшая искать опоры лишь в уме своем или где-то в воздухе, тем более что этот близлежащий воздух для меня благоприятен, я хочу сослаться на что-нибудь, найти какие-то слова, вроде эпитафии.

И вот нахожу их. Это скромно и робко написано мною о Борисе Пастернаке.

Из леса, как из-за кулис актер,  
он вынес вдруг высокопарность позы,  
при этом не выгадывая пользы  
у зрителя — и руки распростер.

Он сразу был театром и собой,  
той древней сценой, где прекрасны речи.  
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи  
уже восходит фосфор голубой.

Вот так играть свою игру — шутя!  
всерьез! до слез! навеки! не лукавя! —  
как он играл, как, молоко лакая,  
играет с миром зверь или дитя.

Нечаянно вспомнив эти свои строки, я хочу соотнести их с той моей уверенной, но, наверно, неоригинальной мыслью, что Владимир Высоцкий по урождению своему прежде всего был Поэт. Таков был способ устройства его личности, таков был сюжет его судьбы. То, что ему приходилось так много быть на сцене, — за это воздалось ему всенародной любовью и всенародной славой. Высоцкий всегда был всенародно любим, слава его неимоверна. Но что, собственно, есть слава? Где-то еще и докука, это еще и усугубление одиночества человека, которому нужно выбрать время и множество сил и доблести для того, чтобы сосредоточиться и быть наедине с листом бумаги, с чернилами.

Теперь, когда рукописи Владимира Высоцкого открыты — сначала для тех, кто этим занимались в интересах будущих читателей, а потом, надеюсь, все это будет доведено до сведения читателей, — теперь видно, как он работал над строкой, как он относился к слову. И единственное, что я могу сказать в утешение себе, — я всегда ценила *честь* приходиться ему коллегой, всегда пыталась хоть что-нибудь сделать, чтобы не скрыть его сочинения от читателей.

Мы мало преуспели в этом прежде, но путь Поэта не соответствует тому времени, в которое умещается его жизнь. Главное — это потом... И сейчас можно удостовериться, что та разлука, которую с таким отчаянием, с таким раздираньем души все время переживали соотечественники и современники Владимира Высоцкого не только из-за его смерти, а еще из-за того, что как будто некая *препона* стояла между



ним и теми, для кого он был рожден и для кого он жил так, как он умел, эта разлука таит в себе и радость новых встреч.

Позвольте мне поздравить вас с счастливым днем его рождения. Это наша радость, это наше неотъемлемое достоинство, и не будем предаваться отчаянью, а, напротив, будем радоваться за отечественную словесность.

*24 января 1987*

## **СОЮЗ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ**

Сколько раз мы слышали эти слова, и только что слышали: не успел ни дожить, ни допеть. И всякий раз они разрывают нам сердце. Но это же бедное, живучее сердце ищет себе какого-то утешения, и, по-моему, сегодня мы можем быть утешены одним: несомненно, он успел — он дожить, может быть, не успел, но он успел, исполнил свой художественный и человеческий долг перед всеми нами, перед своим народом, перед его будущим.

Вот мы открыли памятник. Это торжество особенно должно нас возвысить, потому что на моей памяти не открывали таких сооружений, которые были бы изделием народного сердца, а не навязаны ему какими-то сторонними силами. Да, конечно, хочется нечаянно повторить пушкинские слова о воздвигнутом памятнике нерукотворном. Они сейчас или обитают, или хотя бы гостят в наших умах, потому что торжество этого памятника крайне отрадно, но главный памятник он воздвиг себе действительно сам, и подтверждение этого мы можем читать в лицах друг друга или вот я с этого скромного возвышения.

И то, что наше собрание имеет такой благородный повод и помысел, — это есть утешение. Потому что, когда я вижу и читаю лица, глаза, я не должна думать, что народ наш утратил какие-то достоинства ума и духа. Нет, так не может быть. Это ободряет. И потом редко удавалось нам — во всяком слу-

чае при моем возрасте и жизни — собираться не по какому-то условному принуждению, а просто от единого человеческого чувства. И тогда возникшая мысль о том, что мы кем-то приходимся друг другу, что мы не одиноки в своем человечестве, в своем времени, что есть такие причины, которые могут объединить наши сердцебиения, уже не оставляет меня. В этом есть опровержение того, что сейчас как-то все повторяют: дескать, совсем мы пали и... Наверное, не совсем.

Наше чувство к Высоцкому всегда двояко: союз радости и печали. Это чувство усложнено и увеличено тем, что, восхищаясь им, мы как бы восхищаемся собственным уделом. Мы были его современниками, и, может быть, какие-то наши вины, какие-то наши грехи он взял на себя и, может быть, поэтому и не успел, как он сам думал, дожить.

В этом, мне кажется, свет торжества этого дня, в этом утешение. Позвольте мне прочесть короткое стихотворение. Оно написано 15 лет назад. Я его, разумеется, читаю с коленапоклоненной памятью о Высоцком, но оно сейчас посвящено вам, потому что у меня, в общем, человека, который редко счастливо для себя участвовал в каком-то коллективе, сейчас есть ощущение, что я действительно родилась и умру на этой земле, где я не одинока, где мы все можем встретить человеческий взор или протянуть друг другу руку.

Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий  
белее Офелии бродят с безумьем во взоре.

Нам, виды видавшим, ответствуй, как деве прелестной:  
Так — быть? или — как? что решил ты в своем Эльсиноре?

Пусть каждый в своем Эльсиноре решает, как может.  
Дарующий радость, ты — щедрый даритель страдания.  
Но Дании всякой, нам данной, тот славу умножит,  
кто подданных душу возвысит до слез, до рыдания.

Спасение в том, что сумели собраться на площадь  
не сборищем сброда, бегущим глазеть на Нерона,  
а стройным собором собратьев, отринувших пошлость.  
Народ невредим, если боль о Певце — всенародна.

Народ, народившись, — не неуч, он ныне и присно —  
не слушатель вздора и не покупатель вещицы,  
Певца обожая, — расплачемся. Доблестна тризна.  
Так — быть или как? Мне как быть? Не взыщите.

Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши.  
В обнимку уходим — все дальше, все выше, все чище.  
Не скаредны мы, и сердца разбиваются наши.  
Лишь так справедливо. Ведь, если не наши — то чьи же?

*25 июля 1995*

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БОРИСЕ ЧИЧИБАБИНЕ

С любовью и застенчивостью пишу несколько слов о Борисе Чичибабине.

Я — не старше и не лучше, чем он.

Борис Чичибабин моего соучастия не искал, ни о каких публикациях никого не просил.

«Ну, и при чем здесь вы?» — спросят читатели журнала «Огонек», которым теперь несть числа.

При том, отвечаю загодя, что человек с талантом (чем бы он ни занимался) нечаянно оказывается вопреки, невпопад, не терпит понуканий и посягательств на урочденную независимость души и ума и претерпевает нужду и невзгоду, потому что таковой человек не имеет корысти, плохих намерений и суетных желаний. Но как на нем и на всех нас сказывается то, что он претерпевает?

Борис Чичибабин много лет назад был исключен из Союза писателей. Не знаю, как было сформулировано решение об этом исключении, но совершенно знаю исключительную честность и чистоту этого человека.

Чичибабину — ничего не нужно. Доходов он никогда не рыскал. Живет не доходливым трудом. Но о всеобщих доходах можно помышлять лишь при условии, что любой человек с любым человеческим талантом может заниматься сво-

им делом по своему усмотрению. Иначе — всеобщие убытки не восполнимы, не возместимы. (Не знаю: восклицательный знак или вопросительный поставить в конце.)

*Август 1987*

## СКЛОНЯЮ ГОЛОВУ

«Тишина, ты — лучшее из всего, что слышал».

Эта строка Пастернака самовольно обитала в моем слухе и уме, затмевая слух, заменяя ум, 20 августа 1987 года, когда Москва прощалась с артистом Андреем Мироновым.

В тот день в последний раз его пребывания на сцене я не видела его, стояла неподалеку, рядом, положила цветы, смотрела на прибывающие слезы и цветы, слышала упомянутую строку.

Когда в тот день я подошла к его Театру, я оробела перед неисчислимым множеством людей, желавших того же: войти в Театр. Хотела отступить, уйти, и это уже было невозможно. Люди — избранные из множественного числа толкающегося и пререкающегося беспорядка — отступились от честной своей очереди, я вошла, они остались. И снова (Шукшин, Высоцкий, Миронов) я подумала: множество людей не есть сборище толпы, но человек, человек, человек... — человечество, благородное и благодарное собрание народа, понесшего еще одну утрату.

Артист, о котором... без которого...

Сосредоточимся. Начнем сначала, лишь изначальность соответствует бесконечности, детство — зрелости. Талант и талант, имя и имя его родителей — известны и досточтимы. Счастье заведомо сопутствовало его урождению и воспитанию. От природы и родителей — сразу данный, совершенный дар безукоризненной осанки, повадки, грациозного по-

ведения тела в пространстве, музыкальности и иронии. Прирожденный ум рано встретился с прекрасными книгами, у него была драгоценная возможность читать, читать. Всегда любясь им, я любила совпадение наших читательских пристрастий.

Старая привычка к старинному просторечию позволяет мне написать: «из хорошей семьи». Устаревшее это определение (и не жаль его языковой низкородности) состоит в каком-то смутном родстве с прочным воспоминанием о том, как я увидела Андрея Миронова в первый раз, не из зала, а вблизи, в общей суетошке житейского праздника. Он был неимоверно и трогательно молод, уже знаменит, пришел после спектакля и успеха, успехи же только брали разгон, нарастали, энергия нервов не хотела и не умела возыметь передышку, в гостях он продолжал быть на сцене, взгляда и слуха нельзя было от него отвлечь. Все это вместе пугало беззащитностью, уязвимостью, в моих нервах отражалось болью, причиняло какую-то старшую заботливую грусть. Он непрерывно двигался и острил, из глаз его исходило зимнее голубое облачко высокой иронии, отчетливо различимое в дымной голубизне воздуха, восхищение этим зрелищем становилось трудным, утомительным для зрения. Но вот — от вежливости — он придержал предо мною крылья расточительного полета, я увидела бледное, утомленное лицо, украшенное старинным, мягким, добрым изъявлением черт, и подумала: только дисциплина благовоспитанности хранит и упасает этого блестящего молодого человека от рискованной грани, на ней, «на краю».

Притягательность «опасной бездны» — непреодолима, неотвратима для Артиста и непоправима для его почитателей.

Эльдар Рязанов рассказывал, какие доблесть и изящество надобны для того, чтобы безупречным поступком прыжка соединить разъединяющиеся части моста и себя — с близ-



ким присутствием льва. Услышав, что Андрей Александрович Миронов хотя бы льва несколько опасался, чего на экране не видно, с безутешной нежностью и тоской я улыбнулась. Любой человек, и путник в львиной пустыне, может разминуться со львом. Артист — не может. Так же он не может препоручить дублеру подвиг всего, что должен сам исполнить при жизни — и потом.

Андрею Миронову удалось совершенство образа и судьбы. Известно, что он дочитал монолог Фигаро, доиграл свою роль до конца — уже без сознания, на пути в смерть. Это опровергает разумные и скудные сведения о смерти и бессознании. Остается — склонить голову.

*Август 1987*

## **НОДАР ДУМБАДЗЕ**

Именно сейчас, в этот солнечный день, я вдруг вспомнила другой солнечный день вблизи Тбилиси. Мы были вместе с Нодаром Думбадзе, меня попросили посадить маленькое дерево на память. Мне сказали, что это дерево — клен. Я тогда была очень счастлива, весела и всех тех служителей парка просила: только, пожалуйста, никогда не забудьте о нем, все-таки оно клен, оно, может быть, не очень привьется здесь. Могла ли я думать при том ослепительном сиянии неба, при цветении земных произрастаний, могла ли я думать, что мне следовало печься всей душой не о дереве, которое в сохранности, а о том человеке, который стоит рядом со мной и смеется.

Я знаю Нодара столько, сколько помню себя в соотношении с Тбилиси, в соотношении с Грузией. Мы умели смешить друг друга. Когда он однажды хворал и мне сказали, что лучше его не беспокоить, я все-таки помчалась к нему домой и стала шутить и говорить: «Ах, это все пустое, Нодар! Ничего, как-нибудь все это обойдется!»

Когда я печалилась, Нодар смешил меня. Я знаю, что он пришел для того, чтобы причинить людям радость, может быть, самой драгоценной чертой его человеческого таланта (я сейчас уже не говорю, что хорошо помню его блистательное литературное начало, то начало, которое принесло

ему успех и всеобщее признание). Я думаю, что черта смеяться и смеяться как бы не над тем, что вокруг, а именно как бы над собой, смеяться над печалью, которая тебя именно осенила, может, и была той драгоценностью, которая входила в талант Нодара. Правда, я знаю, что, кроме того, что он сделал для людей как писатель, он старался помочь им как-то иначе, то есть разными способами, поскольку у него были такие возможности, и знаю, как много он делал. Однажды, я помню, мы были участниками одной поездки, возвращались поездом в Тбилиси, и я ему сказала: «Нодар, ты хочешь помочь очень многим людям, и у тебя для этого есть самые разные способы и возможности, но не отвлекает ли это тебя от твоего художественного дела? Может быть, главная помощь, которую художник может оказать и причинить другим людям, — это только его творчество».

Нодар тогда мне ответил: «Но иначе не выходит. Тот художник, который может художественно помочь людям, он нечаянно еще всасывается в разные проблемы человеческого существования и хочет им помочь даже в чем-то малом».

Я говорила о том, что мы много смеялись, всегда, даже когда Нодар был болен. Я, кстати, всю его семью и детей его так люблю, и они это знают. И хочу сказать, что, если человек пришел на белый свет не для того, чтобы опечалить того, кто его видит и кто его слышит, пусть мы всегда будем думать о Нодаре Думбадзе как о человеке, который умеет смеяться, и тут просто несколько строчек из моего стихотворения: смысл так прост, что уста человека, которые даны ему для изъяснения души, могут открываться только по благородному поводу, и, пожалуй, этими строчками я завершила бы то, о чем говорила:

Но если так надобно  
Снова, не зря, не для зла, неспроста,  
Но только для доброго слова, для смеха  
Откройте уста!

1987

**ПАМЯТИ  
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА ТЫШЛЕРА  
Милый, великий Тышлер**

— Вы напишете о Тышлере?

— О, да!

«О» — это так, самовольное изъявление одушевленных легких, мнение любящего бессознания, не спросившего у старших ответственных сил, которым дана маленькая пауза, чтобы сильно увидеть, обежать ощупью нечто, чего еще вовсе нет, в чьем неминуемом наличии клянется твердое: «Да!»

Все дело — в кратком препинании голоса, в препоне осознания, в промежутке, обозначенном запятой, на которую уйдут три времени года.

О — запятая — да.

Автор — всего лишь этого восклицания, усугубленного запятой, — недвижно сидит и смотрит в окно: на снег, на цветущую зелень, на шорох падающих листьев, сейчас — идет дождь.

Он так занят этим недвижным неотрывным взглядом, словно предполагает в нем трудовую созидательную энергию, соучаствующую в действиях природы, и, видимо, ждет от окна, что именно в нем сбудется обещание, данное им три времени года назад.

Он как бы смотрит на свою мысль, ветвисто протяженную вовне, соотнесенную с ним в питающей точке опоры.

Разглядывая со стороны это колеблющееся построение, он усмехается, узнав в нем нечто мило-знакомое, не ему принадлежащее. Преданно помышляя о Тышлере, он зрительно превратился в его измышление, почти изделие: в продолговатый силуэт, простодушно несущий на голове прозрачную многослойную громоздкость, домики какие-то, флажки, колокольчики, человечков, занятых трудами и играми.

Весело покачивать надо лбом трогательное подобие земного бытия приходится ему скромным основанием, опекающим его равновесие и сохранность. Остается взглянуть в это цветное нагромождение и с любовью описать увиденное.

Этому легкому труду предшествует бархатное затемнение, мягкая чернота, облекающая выпуклый золотой свет: елку, или сцену, или улыбку лица — подарок, для усиления нашей радости заточенный до времени в нежную футлярную тьму.

Почему это вступительное ожидание, чья материя — бархат, предваряет в моей памяти образ Тышлера? Не потому ли, что он, в нашем зрении, так связан с Театром — не со спектаклями, которые содеял, а с Театром вообще, с его первобытным празднеством, прельстившим нас до нашего детства: в общем незапамятном детстве людей?

Вот он говорит: «До сих пор я живу детскими и юношескими воспоминаниями. На меня очень подействовали народные театры, балаганы, народные праздники и представления». — И добавляет: «Это очень важно».

Я так и вижу эти слова на его губах, в его увлекательном лице, возымевшем вдруг наивно-важное выражение совершенной детской хитрости. Я видывала и слыхивала эти его слова, относящиеся к невидимым и неведомым подробностям сокровенного художества.

Думаю о нем — и улыбаюсь, вижу со стороны лицо, улыбку, не обозначенную чертой рта, зримое построение над головой, на голове: город, города, ярмарка, флажки, кораблики, свечи, лестницы, переходы из одного в другое.

Лицо, — я сейчас вижу его как бы со стороны: незаметная улыбка, очевидное для невидимого очевидца построение над головой, моей же, — мысль о нем, о Тышлере. На этот раз — не метафора, ничего не могу поделаться с явью, Александр Григорьевич.

Я ведь в окончательную смерть не верю — не в том смысле, что собираюсь уцелеть, быть, еще раз быть, сбыться вновь, иначе. Смерть — подробность жизни, очень важная для живущего и жившего, для тех, кто будет и не будет вживе. Что и как сбылось — так будет и сбудется, но я не об этом, Александр Григорьевич.

Просто сижу, улыбаюсь, вижу и вспоминаю. Построение над головой, иногда без четкой опоры на темя, вольно в небе, лучшее в мире, кроме самого этого мира, белый свет, уже во второй раз даруемый нам художниками. Без них, наивысших страдальцев, — как понять, оценить, возыметь утешение?

У Александра Григорьевича Тышлера была чудная ребячливая улыбка, вернее: усмешка чудного ребенка, доброго, не лукавого, но не простоватого, претерпевшего положенный опыт многознания. Простодушно, но не просто умно, с превосходством детской хитрецы взирал он на события жизни, на гостей — я среди них видела только почитателей его, но до и без меня, он знал, видел и понимал, чему он приходится современником, жертвенным соучастником.

Построения на голове — мое неуклюжее, достоверное построение из головы, над головой главнейшее изъявление мысли о Тышлере. Вот и сижу, улыбаюсь, вспоминаю...

## Дитя Тышлер

«Поэзия должна быть глуповата», — Пушкин не нам это писал, но мы, развязные читатели писем, — прочли. Что это значит?

Ум — да, но не умственность суть родители и созидатели искусства. Где в существе человека помещается и умещается его талант, его гений? Много надобно всемирного простора.

Но все-таки это соотнесено с головой и с тем, что — над головой, выше главы, выше всего.

Тышлер — так рисовал, так жил. Всегда — что-то на голове: кораблики ли, театрики ли, города, антикорриды, женщины, не известные нам до Тышлера.

Эти построения на голове пусть разгадывают и разглядывают другие: радость для всех, навсегда.

Художник Борис Мессерер познакомил... представил меня Александру Григорьевичу Тышлеру и Флоре.

Я от Тышлера глаз не могла отвести. Я — таких не видела прежде. Это был — многоопытный, многоскорбный ребенок. Он говорил — я как бы слышала и понимала, но я смотрела на него, этого было с избытком достаточно.

Привыкнуть — невозможно. У меня над головой, главное головы, произрастало нечто.

Александр Григорьевич и Флора приехали к нам на дачу. Как желала я угостить столь дорогих гостей: сварила два супа, приготовила прочую еду.

— Александр Григорьевич, Вы какой суп предпочитаете?

— Я съем и тот, и другой, и прочая... Исполнил обещания и стал рисовать.

Однажды в пред-Рождественскую ночь в мастерской Мессерера — гадали: холодная вода, горячий воск.

Больно мне писать это. Были: обожаемый Юрий Васильев, художник, обожающий Тышлера (я знаю, так можно: обожаемый — обожающий), Тышлер, Флора, Боря и я.



Когда воск, опущенный Тышлером в воду, обрел прочность, затвердел, Юрий Васильевич Васильев воскликнул или вскричал:

— Александр Григорьевич! У Вас из воска получается совершенство искусства. Позвольте взять и сохранить.

Александр Григорьевич не позволил и попросил? повелел? разрушить. Так и сделали. Не я. Борис и я — не гадали, я все смотрела на Тышлера и до сих пор не посмотрелась.

Что он видел, глядячи на воск и воду? Судьбу? Она уже свершилась. Художник исполнил свой долг.

Александр Григорьевич подарил мне корабельный подсвечник.

— Вы не думаете, не опасаетесь, что я, на корабле, попаду в шторм?

— Все может быть. У Вас будет подсвечник.

Все может быть. Или не быть. Но у всех у нас есть устойчивый подсвечник. У всех есть Тышлер.

А почему — дитя?

Выражение, вернее — содержание лица и облика — детское многознание.

Смотрю на корабельный подсвечник: вот он.

Александра Григорьевича Тышлера вижу во сне. Вчера видела: глаз не могла отвести, пока глаза не открылись.

*Март 1996*

## **ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИНА**

Евгения Семеновна Гинзбург умерла 11 лет назад. Я имела честь и счастье знать ее лично. И счастлива тем, что судьба дарит возможность многим людям тоже познакомиться с этой удивительной женщиной. Потому что хроника ее — совершенная исповедь, где нет ни одного слова лукавого или обольстительного. Где нет и тени опустошенности и озлобленности.

«Каторга! Какая благодать!» — называется одна из глав. Это строчка из стихотворения Пастернака. Весь свой восемнадцатилетний крутой маршрут Евгения Семеновна прошла со стихами в душе. Самые ужасные обстоятельства способен вынести человек, если ему есть чем жить внутри себя. Хотя бы стихотворной строкой.

Рукопись посвящена внуку Алеше. Так же звали и сына Евгении Семеновны, который погиб в детприемнике для детей заключенных неизвестно когда и где. Какова же должна быть духовная оснащенность слабой женщины, чтобы вынести все это и пронести через мученическую жизнь неисчерпаемый запас доброты?! Поверьте, вы найдете ответ в книге, которую я считаю дважды великой: и как талантливейшее художественное произведение, и как достовернейшую хронику величия человеческого духа.

Один из экземпляров рукописи хранится у меня много лет. В последний раз перечитывала ее полгода назад. Пере-

читывала, совершенно не веря в возможность публикации. И сейчас не смею поверить. А Евгения Семеновна Гинзбург верила всегда, о чем и написала в предисловии. И если это все-таки произойдет, я буду считать себя совершенно счастливой. Потому и спешу поделиться своим счастьем с будущими читателями произведения, чье название и имя автора пока им ни о чем не говорят.

1988

## ПАРИЖ — ПЕТУШКИ — МОСКВА

Впервые я прочла «Москва—Петушки» много лет назад, в Париже, не зная автора и об авторе.

Мне дал рукопись, для прочтения за ночь, благородный подвижник русской словесности — уроженно русский, родившийся во Франции.

Но я-то не во Франции родилась. Вот он и попросил меня прочесть за ночь и сказать: каково это на мой взгляд? живут ли так? говорят ли так? пишут ли так в России?

Всю ночь я читала. За окном и в окне был Париж. Не тогда ли я утвердилась в своей поговорке: Париж не стоит обедни? То есть (для непосвященных): нельзя поступиться даже малым своеволием души — в интересах души. Автор «Москва—Петушки» знает это лучше других. Может быть, только он и знает.

В десять часов утра я возвращала рукопись.

— Ну что? — спросил меня давший ее для прочтения. Все-таки он родился во Франции, и, с любовью оглядев его безукоризненно хрупкий силуэт, я сказала:

— Останется навсегда, как... Скажем: как «Опасные связи» Шодерло де Лакло...

Все-таки он был совершенно русский, и мы оба рассмеялись. Он понял меня: я имела в виду, что прочтенное мной — сирота, единственность, не имеющая даже двоюродного род-

ства с остальными классическими сочинениями. Одиночество, уникальность, несхожесть ни с чем.

Так — не живут, не говорят, не пишут. Так может только один: Венедикт Ерофеев, это лишь его жизнь, равная стилю, его речь, всегда собственная, — его талант.

Какое счастье — что талант, какая тоска — отчетливо знать, что должен претерпеть его счастливый обладатель.

Свободный человек — вот первая мысль об авторе повести, смело сделавшем ее героя своим соименником, но отнюдь не двойником. Герой — Веничка Ерофеев — мыкается, страдает, вообразимо и невообразимо пьет, существует вне и выше предписанного порядка. Автор — Веничка Ерофеев, сопровождающий героя вдоль его трагического пути, — трезв, умен, многознающ, ироничен, великодушен.

В надежде, что вещь эта все-таки будет напечатана на своей родине, не стану касаться ее содержания. Скажу лишь, что ее зримый географический сюжет, выраженный в названии, лишь внешний стройный пунктир, вдоль которого следует поезд со всеми остановками. На самом деле это скорбный путь мятежной, любящей, царящей и гибельной души. В повести, где действуют питье, похмелье и другие проступки бедной человеческой плоти, главный герой — непорочная душа чистого человека, с которой напрямую, как бы в шутку, соотносятся превыспренние небеса и явно обитающие в них кроткие, заботливые, печальные ангелы. Их заметное присутствие в повествовании — несомненная смелость автора перед литературой и религией, безгрешность перед их заведомым этическим единством. Короче говоря, повесть — своим глубоким целомудрием изнутри супротивна своей дерзкой внешности и тем возможным читателям-обвинителям, которые не имеют главного, в суть проникающего взгляда. Я предвижу их пронизательные вопросы касательно «морального облика» автора. Предвижу и отвечаю.

Писатель Ерофеев поразительно совпал с образом, вымышленным мною после первого прочтения его рукописи. Именно поэтому дружбой с этим удивительным человеком я горжусь и даже похваляюсь.

1988

## ПАМЯТИ ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА

Слова заупокойной службы утешительны: «...вся прегрешения вольныя и невольныя... раба Твоего... новопреставленного Венедикта»...

Не могу, нет мне утешения. Не учили, что ли, как следует учить, не умею утешиться. И нет таких науки, научения, опыта — утешающих. Наущение есть, слушаю, слушаюсь, следую ему. Себя и других людей утешаю: Венедикт Васильевич Ерофеев, Веничка Ерофеев, прожил жизнь и смерть, как следует всем, но дано лишь ему. Никогда не замарав неприкосновенно опрятных крыл души и совести, художественного и человеческого предназначения тщетой, суетой, вздором, он исполнил вполне, выполнил, отдал долг, всем нам на роду написанный. В этом смысле — судьба совершенная, счастливая. Этот смысл — главный, единственный, все справедливо, правильно, только почему так больно, тяжело? Я знаю, но болью и тяжестью делиться не стану. Отдам лишь легкость и радость: писатель, так живший и так писавший, всегда будет утешением для читателя, для нечитателя тоже. Нечитатель как прочтет? Вдруг ему полегчает, он не узнает, что это Венедикт Ерофеев взял себе печаль и муку, лишь это и взял, а все дарованное ему вернул нам не насильным, сильным уроком красоты, добра и любви, счастьем осознания каждого мгновения бытия. Все это не в среде, не среди писателей и читателей происходило.

Столь свободный человек — без малой поправки, — он нарек героя знаменитой повести своим именем, сделал его своим соименником, да, этого героя повести и времени, страдающего, ничего не имеющего, кроме чести и благородства. Вот так, современники и соотечественники.

Веничка, вечная память.

1990



## «АМАДЕЙ И ВОЛЬФГАНГ»

На мгновение забудем о Моцарте. Написала так, не забыла, а вспомнила, слышала таинственный, укоряющий, непререкаемый звук и нечаянно вникала в пристальный труд Альфреда Эйнштейна «Моцарт. Личность. Творчество». Я упоминаю об этом лишь затем, чтобы далее и ниже не тревожить имя Моцарта, оставить его в стороне надземного обитания.

На этот раз — я только о Генрихе Сапгире. Соседствуя с ним во времени и месте жительства, я всегда радовалась его таланту, не однажды смеялась от радости, что — талант: люди, не оснащенные этим свойством и качеством, не умеют рассмеить собеседника и читателя. Я приходилась ему и тем, и другим, но между Сапгиром и широким кругом читателей неопределенно виделась и четко ощущалась препона, не зависящая от достоинств автора и этого возможного круга. Какая-то часть его творчества распространялась устной оглаской и стала сведением наслышки, имуществом сознания наподобие фольклора. Но многие дети (и мои) хорошо знают его сочинения и соответственно остры умом, отвергающим заведомую и насильную схему. Независимая игра мысли и вольность усмешки над предписанной, а не выбранной неоспоримостью изначально составляют дар Сапгира и наверняка осложняли сюжет его существования и благоденствия.

Я из тех, кто считает дар другого человека даром всем нам и мне, и ответно желаю пригодиться хотя бы скромным соучастием и добрым словом.

1988

## БОРИС ПАСТЕРНАК

Однажды, давно уже, безымянное ощущение безысходности было во мне так велико и громоздко, что душа моя сторонилась меня, зная или догадываясь о возбраненном грехе отчаяния. Темя и прочее тело остались пустырем, безвластным вместилищем тоски: невспомогательный мозг терпел, но не объяснял, уживчивая плоть клонилась, выискивая опоры для горба, для ниспосланной лишней ноши, которую некуда деть. Вся эта конструкция вчуже казалась мне неприглядной, но она проста: согбенный хребет человека, низко опустившего лицо в ладони, еще не знающего, но уже унюхавшего... что? что?

Сначала, сквозь ладони — не фильтр, а сопричастный усилитель — в суверенное и совершенное устройство ноздри, грубым нашатырем против вялого обморока воли, явился в ум и потряс его многосложный запах всего огорода жизни, задиристо главенствовал и окликал обоняние укроп. Это не укор был и не упрек огороженной природы, а просто укроп, которым пахли стол и руки. На перекрестке той ночи и этой, в той же местности и на том же месте, возвращаю себе неразымаемую гущину запаха, вкуса, цвета и звука.

Все снег да снег, — терпи и точка.  
Скорей уж, право б, дождь прошел  
И горькой тополевой почкой  
Подруги сдобрил скромный стол.

Зубровкой сумрак бы закапал,  
Укропу к супу б накрошил,  
Бокалы — грохотом вокабул,  
Латынью ливня оглушил

Тупицу б двинул по затылку...

В ту ночь я не думала об этих стихах, да и можно ли осмыслить невысказанное лакомство невыговариваемости: «Укропу к супу б накрошил»? Да и не об этом я сейчас, не об этой замкнутой музыке препинаний, равно питающей слух, нюх, взгляд и ощупь, — только будемте нежны и осторожны, пожалуйста.

В ту ночь, давно уже, я извлекла лоб из ладоней и увидела на потолке плеск и блеск воды. Обещанная «латынь ливня» жила в саду за окном и отражалась в потолке Его Венецией...

## ЛИЦО И ГОЛОС

Давай ронять слова,  
Как сад — янтарь и cedру,  
Рассеянно и щедро,  
Едва, едва, едва.

*Борис Пастернак*

Я так сижу, я так живу, так я сижу там, где живу, что стоит мне повернуть голову, я сразу же увижу это Лицо, лучшее из всех прекрасных лиц, виданных и увиденных мной на белом свете. Лицо — шедевр (пишем по-русски) создателя (пишем с маленькой буквы, преднамеренно, потому что я не о Боге сейчас, не только о Боге, но и о сопутствующих обстоятельствах, соучастниках, неизвестных вспомогателях создателя, ваятеля этого Лица).

Живу, сижу, головы не поворачиваю, может быть, сейчас поверну и узнаю, чего стоит шее маленький труд повернуть голову и увидеть Лицо. Н-н-н-не могу.

Но Лицо смотрит на меня. Не на меня, разумеется, а в объектив когда-то (1921 год) фотографа, и потом на всех — с вопросительным, никого не укоряющим недоумением.

Не провиниться перед этим Лицом, перед этим никого ни в чем не укоряющим взглядом, перед вопрошающим значением глаз — жизнь моя ушла на это. Ушла, все же сижу, живу, а головы повернуть не могу, не смею. Провинилась, стало быть.

Но какое счастье — его детство, его юность, Марбург, несчастная любовь, Скрябин — «шаги моего божества».

Да, «шаги моего божества» — вот в чем смысл бессмысленного писания, разгадка и моей тайны, которую не хочу предать огласке.

А я и не разглашаю ничего. Но я не скрываю воспоминания о том дне, когда я впервые увидела его лицо и услышала его голос. Это вечером было, зимою 1954 года, в клубе МГУ.

У меня не было такого детства, из которого можно выпутаться без сторонних, высших вмешательств. Не выжить, я имею в виду, что было почти невозможно, «почти» — вот как вкратце на этот раз упоминаю всех и все, упасших и упасшее мою детскую жизнь. О, я помню, простите меня.

Но, выжив, — как, кем и зачем я должна была быть? Это не такое детство, где изначально лелеют слух, речь, совесть, безвыходную невозможность провиниться. Да, бабушка у меня была, Пушкин, Гоголь, Лермонтов были у меня, но где и как — это другое.

Я ходила в Дом пионеров — с Варварки, через Ильинский сквер, вдоль Маросейки на Покровский бульвар — чудный этот дом теперь не пионеров, других постояльцев — сохранен, как я люблю его первых обитателей, в каком-то смысле — тоже пионеров, да простят они мне развязную шутку.

В Доме этом действовали несколько студий, называемых «кружками»: литературная, драматическая и «изо», для художников. Усмехаясь над собою, а не над художниками, впервые написала «изо» — Леонид Осипович Пастернак не догадался бы, что это значит, но милый и знаменитый Валерий Левенталь — догадается, ежели спросить, — он начинал там свой художественный путь.

Детство — при загадочных словах, не в мастерской на Мясницкой.

Я прилежно ходила в этот дом для двух разных, родственных, двоюродно-враждебных занятий. Про драмкружок — потом, в другом месте и случае, но спасибо, спасибо, Екатерина Павловна.

Литературная же студия, кружок наш, как теперь я думаю, был весьма странным для той поры. Его попрекали, упрекали, укоряли и потом, при взрослой моей жизни — «декаденты», дескать. И то сказать — имя одного мальчика: Виталий Неживой. Надеюсь, жив он, хочу, чтобы благоденствовал. Мы все писали что-то заунывное, «загробное», мрачное. Смеюсь: в то же время, иногда — одновременно, в соседней комнате бывшего особняка я изображала Агафью Тихоновну, «даму приятную во всех отношениях», домработницу из пьесы В.С. Розова — и возвращалась в «загробную комнату». Два этих амплуа и теперь со мною — если бы мне было дано совершенно подражать великим людям, я бы не сумела выдумать ничего лучше, чем смех уст и печаль глаз.

Был там и другой мальчик, из этого кружка, из другого, как говорят, круга. Очень умственный и просвещенный мальчик.

Да, умственный мальчик из другого круга, тоже писавший стихи, всем изначальным устройством своим нечаянно опровергающий мимолетность слов из письма: «поэзия должна быть глуповата».

С ним, зимою 1954 года, я вошла в клуб МГУ — ему было известно имя того, кто стоял на сцене, в библиотеке его семьи (может быть, несчастной?) были книги стоявшего на сцене, но он не любил их, или сказал так.

Зал был пуст. Три первых ряда занимали — теперь и давно я знаю: кто и как прекрасны. Тогда я не знала ничего, но происходившее на сцене, происходившее на сцене... то есть

это уже со мной что-то происходило, а на деревянном возвысии стоял, застенчиво кланялся, словно, да и словами, просил за что-то прощения, пел или говорил, или то и другое вместе, — ничего похожего и подобного я не видела, не увижу и никто не увидит. И не услышит.

Пройдет несколько лет, я прочту все его книги, возможные для чтения в ту пору, стихотворения (в журнале и во многих переписанных и перепечатанных страницах) и увижу его лицо и услышу его голос еще один раз, осенью 1959 года.

Мелкую подробность моей весны того года не хочу упоминать за ничтожностью, но пусть будет: из малостей состоит всякий сюжет, из крапинок — цвет. Велели — отречься от него. Но какое счастье: не иметь выбора, не уметь отречься — не было у меня такой возможности. Всего лишь — исключили из Литературного института, глумились, угрожали арестом — пустое все это. Лицо его и голос — вот перед чем хотелось бы не провиниться, не повредить своей грубой громоздкостью хрупкости силуэта, прочности осанки, — да не выходит.

### **Памяти Бориса Пастернака**

Начну издалека, не здесь, а там,  
начну с конца, но он и есть начало.  
Был мир как мир. И это означало  
все, что угодно в этом мире вам.

В той местности был лес, как огород, —  
так невелик и все-таки обширен.  
Там, прихотью младенческих ошибок,  
все было так и все наоборот.



На маленьком пространстве тишины  
был дом как дом. И это означало,  
что женщина в нем головой качала  
и рано были лампы зажжены.

Там труд был легок, как урок письма,  
и кто-то — мы еще не знали сами —  
замаливал один пред небесами  
наш грех несовершенного ума.

В том равновесье меж добром и злом  
был он повинен. И земля летела  
неосторожно, как она хотела,  
пока свеча горела над столом.

Прощалось и невежде и лгуну —  
какая разница? — пред белым светом,  
позволив нам не хлопотать об этом,  
он искупал всеобщую вину.

Когда же им оставленный пробел  
возник над миром, около восхода,  
толчком заторможенная природа  
переместила тяжесть наших тел.

Объединенных бедною гурьбой,  
врасплох нас наблюдала необъятность,  
и наших недостойнств неприглядность  
уже никто не возмещал собой.

В тот дом езжали многие. И те  
два мальчика в рубашках полосатых  
без робости вступали в палисадник  
с малиною, темневшей в темноте.

Мне доводилось около бывать,  
но я чужда привычке современной  
налаживать контакт несоразмерный,  
в знакомстве быть и имя называть.

По вечерам мне выпадала честь  
смотреть на дом и обращать молитву  
на дом, на палисадник, на малину —  
то имя я не смела произнести.

Стояла осень, и она была  
лишь следствием, но не залогом лета.  
Тогда еще никто не знал, что эта  
окружность года не была кругла.

Сурово избегая встречи с ним,  
я шла в деревья, в неизбежность встречи,  
в простор его лица, в протяжность речи...  
Но рифмовать пред именем твоим?  
О нет.

Он неожиданно вышел из убогой чаши переделкинских  
дерев поздно вечером, в октябре, более двух лет назад. На  
нем был грубый и опрятный костюм охотника: синий плащ,  
сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к нему, от  
гордости к себе я почти не видела его лица — только ярко-  
белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз. Он  
сказал: «О, здравствуйте! Мне о Вас рассказывали, и я Вас  
сразу узнал. — И вдруг, вложив в это неожиданную силу пе-  
реживания, взмолился: — Ради Бога! Извините меня! Я имен-  
но теперь должен позвонить!» Он вошел было в маленькое  
здание какой-то конторы, но резко вернулся, и из крошеч-  
ной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой светло-  
стью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими при

слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной, шекспировский холодок за него. Он спросил с ужасом: «Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю?» — и, смутившись, неловко впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружая его заботой и любовью голоса. Спиной и ладонями я впитывала диковинные приемы его речи — нарастающее пение фраз, доброе восточное бормотание, обращенное в невнятный трепет и гул дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округло-любовной, величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов вместе по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он легко, подомашнему ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, — с выпяченными, сверкающими звездами, с впадиной на месте луны, с кое-как поставленными, неудобными деревьями. Он сказал: «Отчего Вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые и интересные люди — Вам не будет скучно. Приходите же! Приходите завтра». От низкого головокружения, овладевшего мной, я ответила надменно: «Благодарю Вас. Как-нибудь я непременно зайду».

Из леса, как из-за кулис актер,  
он вынес вдруг высокопарность позы,  
при этом не выгадывая пользы  
у зрителя, — и руки распростер.

Он сразу был театром и собой,  
той древней сценой, где прекрасны речи.  
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи  
уже мерцает фосфор голубой.

— О, здравствуйте! Ведь дело к ноябрю —

не холодно ли? — вот и все, не боле.  
Как он играл в единственной той роли  
всемирной ласки к людям и зверью.

Вот так играть свою игру — шутя!  
всерьез! до слез! навеки! не лукавя! —  
как он играл, как, молоко лакая,  
играет с миром зверь или дитя.

— Прощайте же! — так петь между людьми  
не принято. Но так поют у рампы,  
так завершают монолог той драмы,  
где речь идет о смерти и любви.

Уж занавес! Уж освещают тьму!  
Еще не все: — Так заходите завтра! —  
О тон гостеприимного азарта,  
что ведом лишь грузинам, как ему.

Но должен быть такой на свете дом,  
куда войти — не знаю! невозможно!  
И потому, навек неосторожно,  
я не пришла ни завтра, ни потом.

Я плакала меж звезд, дерев и дач —  
после спектакля, в гаснущем партере,  
над первым предвкушением потери  
так плачут дети, и велик их плач.

\*\*\*

Он утверждал: «Между теплиц  
и льдин, чуть-чуть южнее рая,  
на детской дудочке играя,  
живет вселенная вторая  
и называется — Тифлис».

Ожог глазам, рукам — простуда,  
любовь моя, мой плач — Тифлис!  
Природы вогнутый карниз,  
где Бог капризный, впав в каприз,  
над миром примостил то чудо.

Возник в моих глазах туман,  
брала разбег моя ошибка,  
когда тот город зыбко-зыбко  
лег полукружьем, как улыбка  
благословенных уст Тамар.

Не знаю, для какой потехи  
сомкнул он надо мной овал,  
поцеловал, околдовал  
на жизнь, на смерть и наповал —  
быть вечным узником Метехи.

О, если бы из вод Куры  
не пить мне!  
И из вод Арагвы  
не пить!

И сладости отравы  
не ведать!  
И лицом в те травы  
не падать!

И вернуть дары,  
что ты мне, Грузия, дарила!  
Но поздно! Уж отпит глоток,  
и вечен хмель, и видит Бог,  
что сон мой о тебе — глубок,  
как Алазанская долина.

### Метель

Февраль — любовь и гнев погоды.  
И, странно воссияв окрест,  
великим севером природы  
очнулась скудость дачных мест.

И улица в четыре дома,  
открыв длину и ширину,  
берет себе непринужденно  
весь снег вселенной, всю луну.

Как сильно выюжит! Не иначе —  
метель посвящена тому,  
кто эти деревья и дачи  
так близко принимал к уму.

Ручья невзрачное теченье,  
сосну, понурившую ствол,  
в иное он вовлек значенье  
и в драгоценность произвел.

Не потому ль, в красе и тайне,  
пространство, загрузив о нем,  
той речи бред и бормотанье  
имеет в голосе своем.

И в снегопаде, долго бывшем,  
вдруг, на мгновенье, прервалась  
меж домом тем и тем кладбищем  
печали пристальная связь.

*Май 1989*

## ДЕНЬ СЧАСТЬЯ

О Николае Эрдмане, о его трагической судьбе — как общей, обязательной для всех, кто так или иначе причастен этому времени, — думают, воздумают, пишут и напишут.

Эти биографические и исторические сведения уже могут быть доступны вниманию неленивого читателя. Я — лишь о том, что я помню и знаю.

Впервые я увидела Николая Робертовича Эрдмана днем расцветшего лета в поселке Красная Пахра, вблизи Москвы. Я относительно молода была, но его имя, былая слава, две пьесы, стихи и сюжет судьбы — были мне известны: понаслышке и недозволенному чтению. Николай Робертович в ту пору снимал малый домик в этом поселке, времянку, или сторожку, как принято говорить в дачных местах. Времянка эта, или сторожка, наверное, и теперь сохранна во времени, пусть живет-поживает, сторожит воспоминания. Уверена, что хозяева ее больших денег с постояльцев не брали.

Соседи этого условного обиталища Верейские (художник Орест Георгиевич и жена его Людмила Марковна) сказали мне, что Николай Робертович приглашает меня увидеться с ним. Не совсем так — его тишина, скромность и любезность превосходят мою почтительность. Я пришла — он не сразу вышел, или я пришла раньше, чем указали, а он вышел из комнаты, но несколько минут оставалось до встречи. Там висела ситцевая занавеска, отделяющая кровать. Из-за ситце-

вой изгороди вдруг протянулась рука и донесся слабый голос: «Подойдите сюда». Это были рука и голос матери жены Эрдмана, Инны. Оказалось, что именно ей, не зная ее имени, по просьбе ее подруги, я послала письмо и стихи, когда она претерпевала тяжелый инфаркт. Незначительное мое послание она приняла за ободряющую, сторонне спасительную весть. Я упоминаю эту подробность не потому, что спешу отправиться в ад, где найдется место и тому, кто сделал как бы что-то доброе и предал это огласке,— такое добром не считается, совсем наоборот. Нет, потому лишь упоминаю, что жизнь, в проживании ее и описании, состоит не из расплывчатой бесформенности, а из точной совокупности подробностей, из суммы их, где важны лишь слагаемые.

Что-то безвыходное, обреченное было указано и продиктовано мне той рукой, тем голосом. Не меня касалось предопределение, но сбылось.

И сейчас вялый одушевленный ситец, тогда сокрывающий кровать и болезнь старой женщины, с которой заведомо соотнес меня любовный произвол неведомого сценариста и постановщика, отвлекает память зрения от яркого летнего дня, от ожидаемого и неожиданного лица и силуэта. Николай Робертович вошел, занавеска еще пестрела и рябила в глазах, но правая ладонь уже приняла в себя благовоспитанность, кротость, доброжелательность рукопожатия. Его урожденная хрупкость, поощряемая, если так можно сказать, обстоятельствами жизни и потом доведенная до совершенства, — не знаю: восхитила или испугала меня. Такая бесплотность — изящная доблесть, но и несомненная выгода в условиях, где и когда не дают есть или нечего есть. Малым прокормом обходится такая легкая плоть. Лицо содеяно не из броской видимости примет и очертаний, первый взгляд читает... да, пожалуй так... давнюю привычку лица не открываться для беглого прочтения.



Теперь я это ясно вижу. Прошло более четверти века, не впусую для меня. Капля воды не похожа на каплю воды. Лицо человека не похоже на лицо человека. Но есть общность выражения, присущая лишь тем, кто не сразу открывает для других тайнопись лица, не разбрасывается ладонью для приветствия, не позволяет голосу оговорок. Милостью судьбы считаю, что не удалось пребыть вчуже, створки лица не сомкнулись предо мной, следуя многоопытной опаске: содержание глаз — выражение любви, доброты, печали и прощения.

Пройдет тот летний день, наступят и пройдут другие дни, мы станем часто видеться, и Николай Робертович скажет мне про хрупкость и незащитность, которые я любила и понимала как отвагу, противостоящую оскорблению: «Может быть, надо было не литературным занятиям предаваться, а упражнениям, укрепляющим оборонительные мышцы?» Приблизительно так, и, конечно, он шутил — с той милой, не явной усмешкой, свойственной избранникам, смеющимся не над другими.

В доме Родам Амирэджиби, вдовы Михаила Светлова и сестры известного писателя, не понаслышке знающей то, о чем речь, Николай Робертович читал вслух пьесу «Самоубийца». Пьеса, написанная им не свободно, но как изъявление попытки художника быть свободным, — в его одиноком исполнении был шедевр свободы артистизма. Особенно роль главного героя, бедного гражданина Подсекальниковца, в тот вечер удалась трагически усмешливому голосу Эрдмана. Неповторимый затаенный голос измученного и обреченного человека как бы вышел на волю, проговорился. Знаменитый артист Эраст Гарин, близкий Эрдману, умел говорить так, в честь дружбы и курьеза их общего знания, но и это навряд ли сохранилось, прошло.

В этом месте страницы нечаянно вижу прекрасное лицо Михаила Давыдовича Вольпина, самого, сколько знаю, близкого Николаю Эрдману человека. Только его могу я спросить: так ли? нет ли неточности какой? С безукоризненным достоинством снес он долгую жизнь и погиб летом прошлого года в автомобильной катастрофе. Он тоже не имел обыкновения лишнего с лишними говорить. Но, если закрываю глаза и вижу его прекрасное лицо, — все ли прошло, все ли проходит?

Лето же, и несколько лет, — проходили. Инна и матушка ее, оправившаяся от болезни, затеяли строить дом в том же поселке, на его окраине. Мысль о доме, здравая, обнадеживающая, всегда естественная для человечества, — в том случае ощущалась мной как каторга: неподъемлемость, бессмысленная громоздкость, преодолеваемая лишь Сизифом для подвига и мифа.

Деньги, надобные для жизни, Николай Робертович зарабатывал тем литературным трудом, который особенно труден, потому что не освободителен, не утешителен для автора. Сразу же четко замечу, что жена его и теща не были корыстны, были добры и щедры. Многие обездоленные животные, собаки и кошки, также растения обрели неисчислимую долю любви и уют вблизи строящегося дома. Просто — не об участке, об участии речь, о несчастье, диким и убогим памятником которому стоит этот дом, не знаю, кому принадлежащий. В нашей общей местности, или в моей, как истолкуем английскую поговорку про дом и крепость? Все — пустое.

Один вечер радости все же был в этом доме на моей памяти. Нечто вроде новоселья, но Николай Робертович не имел дарования быть домовладельцем. Среди гостей — Михаил Давыдович Вольпин, Андрей Петрович Старостин, Юрий Петрович Любимов, никогда не забывавшие, не покидавшие своего всегда опального друга.

В последний раз я увидела Николая Робертовича в больнице. Инна, опустив лицо в ладони, сидела на стуле возле палаты. Добыванием палаты и лекарств занимался Юрий Петрович Любимов. И в тот день он добыл еще какие-то лекарства, тогда уже не вспомогательные, теперь целебные для меня как воспоминание — добыча памяти со мной.

Я вошла. Николай Робертович уже подлежал проникновению в знание, в которое живые не вхожи. Всею любовью склонившись к нему, я бессмысленно сказала: «Николай Робертович, Вы узнаете меня? Это я, Белла». Не до этого узнавания ему было. Глядя не на меня, не отсюда, он сказал: «Принесите книги». Дальше — точно. «Какие книги, Николай Робертович?» — «Про революцию... Про гражданскую войну... Я знаю... Они напечатают... Поставят...» Слова эти были произнесены человеком, совершенно не суетным при жизни, лишь усмешку посылавшим всякой возможной поблажке: публикации ли, постановке ли. Но это уже не при жизни было сказано. Художественное недосказание и есть подлинная трагедия художника, а не жизнь его, не смерть. Так я поняла это последнее признание и предсказание.

Но, пока строился упомянутый дом, — был у меня день совершенного счастья, вот каков был. Растения росли, животные ластились к человеку, боле других помню большого дворнягу с перебитой и исцеляемой, уже исцеленной лапой, звали: Рыжий. Другие собаки и кошки сновали возле, цвели цветы (ими, животными и растениями, был полон участок-участок). Дом, ни в чем, кроме тщетности усилий не повинный, — возводился.

Николай Робертович и я сидели вдвоем в... что-то вроде беседки уже было возведено или осталось от чьей-то бездомности, домовитости. Сиял день — неопишемого золотого цвета, отраженный в рюмках коньяка, в шерсти оранжевой собаки, в бабочке, доверчиво сомкнувшей крылья на грани отблеска, в этом лишь гений бабочки сведущ.

Если назвать беседкой прозрачное укрытие, сплетение неокрепших вьющихся растений, все же не назову беседой мое молчание и радость смотреть на моего собеседника, на цвет дня, на солнце, наполняющее рюмку в его изящной руке...

Тот день счастья, с его солнцем, растениями, животными, — навсегда владение тех, о ком вспоминаю и думаю с любовью.

*Январь 1989*

## ДИНАРА АСАНОВА

Никто ни на кого не похож. Одно не похоже на другое. Капля воды лишь для незорких похожа на соседку: на каплю воды.

Но совпадения — бывают.

Когда я в первый раз увидела Александра Вампилова (я уже читала написанное им, и «Утиную охоту») — он стоял спиной ко мне, лицом к Даугаве, ловил рыбу на удочку. Ничего он не поймал, а я сильно любовалась им. Он обернулся — мы засмеялись от совпадения глаз и скул, от грядущих шуточек и печали.

У Шукшина Василия Макаровича тоже были глаза и скулы, большого значения.

Скулы Динары — отсутствие щек, отсутствие всего лишнего, мешающего глазам. Глаза — вот и вся Динара. Отсутствие плоти, присутствие глаз.

Много, много лет назад, робко коснувшись моей руки, как бы не смея просить помощи и совета, Динара сказала мне: «Я скоро умру».

В этом была такая детская вопросительность, такая просьба о жизни.

Ей предстояла жизнь, впереди у нее были успех, радость — но как помню я биенье пульсов в ее хрупкой руке, в маленьких косточках запястья. Так все билось и дрожало, так безутешно темнели глаза.

Любой человек, который пытался спасти птицу, залетевшую в дом, не умеющую из дома вылететь, разбивающуюся о закрытое стекло или о зеркало, не умеющую вылететь в открытое окно по ошибке птицы, чей гений поведет ее потом через океан и обратно, — любой такой человек, взявший в руку птицу для выпуска, знает, как предсмертно бьется ее сердечко, все множества ее пульсов.

Так в моей руке — мгновение всего лишь — обитала и трепетала рука, ручка Динары.

Я строго сказала: «Вы ошибаетесь, успокойтесь. Это — тахикардия, при этом можно жить столько, сколько нужно». На самом деле навряд ли я точно так думала и точно так сказала.

Мы тогда обе были бездомны — Динара с Колей, и я сама по себе, и другие люди, не имевшие приюта, и собаки, и кошки — мы все тогда жили у великодушных и терпеливых Россельсов.

Но мое бездомье, совершенно искреннее, с взглядом моим на окна, где горят люстры и мебель, наверное, отражает свет люстр и торшеров, — бездомье это нравилось мне, было моей художественной прихотью, своеволием, да и неплохо жилось мне у Россельсов.

Но у Динары было еще художественное отчаяние, безвыходное, как ей казалось. Да и я, жалея и губя трепещущую птичку ее руки, врала ей как умею: обойдется! все остальное приложится!

У меня было все, что мне надобно для писания и летания, Россельсы все давали: еду, питье, бумагу — только пиши, только летай. Но Динаре, по ее обреченности к ее роду занятий, нужны были: студия какая-нибудь, оператор, множество аппаратуры или хоть сколько-нибудь чем снимают, и позволение снимать. И ничего этого не было. Были только глаза и скулы. Скулы обострялись, глаза увеличивались. Впрочем, в остроте ее скул были плавность, мягкость, уступчивость. Что

это: уступчивость? По-человечески — это заведомое уважение к другому лицу, к другой личности, я все уступаю Вам, Вы говорите, я молчу. Вежливость, короче говоря. Но — режиссер? Только воля и сила режиссера могут содейть из изначального безволия, бессилия артиста волю, силу, свободу...

Прошло некоторое время. Я стала счастливым зрителем и очевидцем успехов Динары Асановой...

1989

## **«ПРОЩАЙ, СВОБОДНАЯ СТИХИЯ»**

Я приняла вестъ и убрала лицо в ладони. Не то чтобы я хотела утаить лицо от людей: им не было до меня дела, ведь это было на берегу моря, люди купались, смеялись, пререкались, покупали разные предметы, покрикивали на детей, возбужденных припеком юга и всеми его соблазнами, так или иначе не вполне дозволенными. Я услышала сильную, совершенную тишину. Неужели дети и родители наконец послушались друг друга? Нет, просто слух мой на какое-то время стал невменяем, а внутри стройно звучало: «Прощай, свободная стихия...» Пора домой, на север, но звучание это, прозрачной музыкой обитающее в уме, на этот раз, наверное, относилось к другому прощанию. Среди людей и детей, вблизи или вдалеке от этого чудного бедного моря, где погибают дельфины, я никогда не встречала столь свободного человека, каковым был и пребудет Сергей Параджанов. Я еще сижу, закрыв лицо руками, у меня еще есть время видеть то, что вижу. Вот я в Тбилиси, поднимаюсь круто вверх на улицу Котэ Месхи. Я знаю, что не застаю обитателя комнаты и веранды, он опять в тюрьме, он виноват в том, что — свободен. Он не умещается в предложенные нам обстоятельства, он вольный художник, этой волей он заполняет пространство и тем теснит притеснителей, не знающих, что это они — обитатели той темницы, где нет света, добра, красоты. Нечто в этом роде тогда я написала в единственном экземпляре, луч-



ше и точнее, чем сейчас. Письмо такое: просьба, мольба, заклинание. Может быть, оно сохранно. Вот опять я поднимаюсь в обожаемое место любимого города, а сверху уже раздаются приветственные крики, сам по себе накрывается самобраный стол, на всех людей, на меня, на детей моих и других сыплются, сыплются насильные и нежные подарки, все, что под руку попадет. А под руку ему попадает то, что или содеяно его рукой, или волшебным одушевлено ее прикосновением. При нем нет мертвых вещей. Скажем: крышечки из фольги для молочных и кефирных бутылок, небдительно выкинутые лагерными надзирателями. А на них выгравированы портреты товарищей по заключению: краткие, яркие, убедительные образы. Дарил он не крышечки эти, для меня драгоценные, все дарил всем, и все это было издельем его души, фантазии, безупречного и безграничного артистизма, который трудно назвать рукодельем, но высшая изысканность, известная мне, — дело его рук. Избранник, сам подарок нам, — всенепременно даритель. Столь предаваясь печали, застаю на своем лице улыбку. Он и меня однажды подарил: взял на руки и опустил в окно квартиры, где сидела прекрасная большая собака. Она как-то смутилась и потупилась при вторжении подарка. Через некоторое время, открыв ключом дверь, вошли хозяева. Собака и я сидели с одинаково виноватым выражением. Хозяева несколько не удивились и стали накрывать стол. Параджанов недалёким соседом приходился им, и все это было в Тбилиси.

Я имела счастье видеть его в Грузии, в Армении и в Москве, где всегда жестко и четко меня осеняла боль предчувствия или предзнания. К чувству и знанию боли мне еще предстоит притерпеться.

Параджанов не только сотворил свое собственное кино, не похожее на другое кино и ни на что другое, он сам — был кинематограф в непостижимом идеале, или лучше сказать:

театр в высочайшей степени благородства, влияющей даже на непонятливых зрителей.

Вот, поднимаю лицо. Все так, как следует быть. Люди купаются, пререкаются, покупают, покрикивают на кричащих от радости детей. Да будут они благословенны! Я все слышу, но глаза видят препону влаги. Между тем — прямо перед ними ярко и хрупко алеет цветок граната. «Цвет граната» — это другое. Но здесь сейчас цветет гранат.

*Июль 1990*

## ЧАС ДУШИ

...НАСТАНЕТ час души!

*Анастасия Цветаева. «Утешение»*

В глубокий час души,  
В глубокий — ночи...  
(Гигантский шаг души.  
Души в ночи.)

*Марина Цветаева. «Час Души»*

27 сентября — День рождения Анастасии Ивановны Цветаевой. 99 лет назад в семье Ивана Владимировича Цветаева и Марии Александровны, урожденной Мейн, родилась дочь, при крещении нареченная Анастасией. Старшей сестре ее Марине было два года. Какая радость написать это на бумаге, прочесть и заново узнать то, что всем известно, как ободряющую и восхитительную новость.

8 сентября 1993 года выше постижимой высоты, утешительно, да, но и терзающе — или так не позволительно сказать? — звучали слова заупокойной службы в храме Николы в Пыжах, на Ордынке. Особенно, не стесняя силы собственного, личного чувства, служил отец Александр. В проповеди помянул он всех тех неисчислимых, родных, знаемых или для нас безымянных, навсегда оставшихся в стылой земле насильного севера, да и повсюду в нашей земле. Опасаюсь

неточности или несправедности изъяснения, но возрастающая сумма всех моих пульсов, нервов, грехов, отяжелевших глаз, лица, заслоненного рукой, стала неприлично чрезмерной и виновной пред гармонией священного обряда. Сложное это непригожее месиво болезненно сторонилося жара свечей, взглядов, касаний, обращений шепотом, на которые не снисходило отвечать, едва не приняв за толчею бедное, единственное, возлюбленное человечество. Иному кому-нибудь зачем здесь быть? Велико ли множество, притиснувшее меня к стене возле входа, по сравнению с прочим, обратным и большим множеством, — не знаю, но его совершенно довольно, дабы не впасть в опасно близкий и заманивающий смертный грех уныния, отчаяния. Через потупленные головы я не могла и не тщила увидеть ту, к которой пришли, зрячий и зримый, для робкой ошупи внятный свет главенствовал в воздухе церкви и над: заведомо простившая всех, и бывших гонителей, мучителей своих, очевидно продолжала прощать и любить. На паперти я тупо, с отвращением к замаранности суетой, воззрившись на неузнаваемый и неуместный предмет микрофона. Нечто похожее ощущаю я и сейчас, когда пишу: если и следует предавать огласке, то — как? дана ли мне такая возможность?

При стройном многолюдии, при хладном блеске ранней осени свершилось отпевание новопреставленной рабы Божией Анастасии. Но я ведь о новорожденной Анастасии. Этот сентябрь на исходе, а тот не пройдет никогда. Какая радость принять щекою его острую свежесть, а жадным вместительным зрачком — зеленый двор и дом в Трехпрудном переулке. Не удалось разрушителям преуспеть во зле: как это — нет, если ярко и выпукло вижу тополиный двор, комнаты и закоулки дома, залу, рояль, лестницу, вверх по которой шелестит быстролетным шелком прелестная, навсегда прекрасная Лера, даже бело-голубую молочную

кружку вижу как трогаю, ласкаю. В том сентябре Марине два года, мне — по ее младенческой фотографии, подаренной Анастасией Ивановной, близким — из близи, видна ли особая мета, осеняющая чудный облик ребенка? Не надо! Стану смотреть на избыточно счастливую, роскошно данную длительность времени, словно дающий загодя знал, за что, за какое грядущее дарит, осыпает, как бы ничего не оставляя про запас. Сумерки Сочельников, сверканья Рождества, книги, альбомы, гравюры, портрет Наполеона в киоте, свирепо защищенный старшей дочерью от гнева ужаснувшегося отца.

На «Песочную» дачу стану любоваться сколько хочу, хоть сама стояла на останках ее фундамента, где резвилась танцплощадка дома отдыха имени Куйбышева, разыгрывалась викторина, спрашивалось: «Какой крейсер...?», и один прыткий старик сразу догадался — какой. Во мне прочней, чем в почве склона, ведущие к Оке ступени, вырубленные Сережей Иловайским. Милые, обреченные Сережа и Надя Иловайские, для них та длительность оказалась краткой, но вот ненаглядность их лиц — жива. «...Я хочу воскресить весь тот мир — чтобы все они не даром жили — и чтобы я не даром жила!» Так написала Марина Цветаева, так поступили обе сестры, и детище их отца, «младший брат» их — МУЗЕЙ — заглавно беллет среди их Москвы, удостоверяя мои сбивчивые речи. Открытка от Анастасии Ивановны к Софии Исааковне и Юдифи Матвеевне Каган: «Проходя по Волхонке, вспомните нашего с Мариной отца... (Волхонка, 12)... Споры филологов из папиного кабинета, как мамина рояль (вся классическая музыка!), питали детство, как земля питает росток... Но — самое главное, Юдя, никаких падений духа, от неудач, первых, вторых, третьих, — неудачи неизбежны и даже обязательны для человека!» Обратный адрес — загадочные цифры какие-то, но, если разгадать их, получится Дальлаг (1945 г.).

Какая радость, что родилась! Когда вскоре крестили и так же свет стоял в церкви, увидела ли высшая любовь и опека, каков утешающий — и утешит — крест над купелью? В 17-м году, почти одновременно, смерть мужа и сына, три ареста, тюрьмы, десять лет лагерей, ссылки, «вечное поселение» — до 1956 года, и худшее: смерть сестры, о которой узнала от вещего сна, но от людей два года спустя, в лагере. В этом году — смерть старшего сына Андрея Борисовича Трухачева, а молодую жизнь его присвоили тюрьмы, лагеря, ссылки. «Памятник сыну» — не дописан, но уверена, что содеян.

Но какая радость задувать свечи на праздничном пироге, с каждым годом больше свечей, больше радости, какие подарки, какие нарядные, любимые гости, влажно и нежно смотрят родители и родные, зеленеет драгоценными глазами сестра. Разве можно попасть даже в малую невзгоду из-под такого призора, из таких объятий?

Мое обиталище — мастерская художника Мессерера, уют друзей, животных, причудливых одушевленных вещей, не состоящих на службе у быта. На снимке 80-х годов видно, как любо это пристанище Анастасии Ивановне. Улыбается, расточительно излучает свет, наверное, смотрит на детей или на зверей, тем и другим говорит «Вы», тех и других крестит перед расставанием, за тех и других молится по вечерам. Впрочем, ласка ее и молитвы простерты надо всем, что есть, и, может быть, поэтому есть и пребудет. Я и сама чувствую, что наше вольное жилище тайными, но явно мерцающими пунктирами соотносено с Цветаевыми, не только из-за книг, писем, портретов, скрытых вещей, напрямую связанных с ними, но и другим волшебным способом. Вот, например, старый фонарь, свисающий с разрисованного дождями потолка (это же чердак, надэтажный, надземный, поднебесный). Стеклооболочке предполагаемого огня, цвета

аметиста, однажды улыбалась Анастасия Ивановна. Я вспомнила, что Марина Ивановна в детстве желала или примеривалась, играючи, побыть, погостить, пожить еще где-то, и в фонаре. Я сказала: «И просторный, и цвета аметиста — идеальное прибежище». Улыбка, обращенная вверх, была и общий смех двух сестер. Улица, где живем, — Поварская, прилегающие переулки: Борисоглебский, Мерзляковский, Хлебный, Скатертный — все это неотъемлемые владения величественно бескорыстных Цветаевых. В соседнем с нашим доме жила «Драконна» — так звали две девочки ту изумительную, вседобрую, утром в день открытия Музея принесшую их отцу смугливший его лавровый венок. По соседству в другую сторону жили Муромцевы. Вера Николаевна, впоследствии Бунина, была из немногих в Париже, жалевших, желавших помочь.

Это о человечестве. Но никак не менее важно — о собачестве, кошачестве, обо всем родимом зверинстве, тут сестры Цветаевы прежде, первее всех. Только дарительность, спасительность жеста, готовность к непосильной жертве, обожаение и сострадание ко всему живому обозначены именами и образами животных, птиц, насекомых, растений, любимых ими, спасаемых, ласкаемых, воспетых. Как-то (в 78-м году) Анастасия Ивановна сказала мне: «Собаку пишу не с большой буквы, а вообще большими буквами». «Воспоминания», «Моя Сибирь», «Непостижимое» — эти книги Анастасии Цветаевой лучше знают и рассказывают, чем я.

На Ваганьковском кладбище — много людей, давно дорогие и вовсе незнакомые дорогие лица, бедное, родное, возлюбленное человечество. Последнюю, вместе с Надеждой Ивановной Катаевой, подхожу. Надежда Ивановна опускается на колени. Цветы, сдержанность черт или слезы, скорбный ропот: «Осиротели...» Так ли это? Губы узнают холод, глаза и душа узнают свет. Рядом с родителями, рядом с сыном.

Когда Юдифь Матвеевна оповестила мать о смерти Анастасии Ивановны, София Исааковна сказала: «Это неправда». Мне приходится верить этим словам.

«Марина! Свидимся ли мы с тобою иль будем врозь — до гробовой доски?» Это Анастасия Цветаева написала в заключении, в 1939 году. Отвечала себе словами молитвы: «Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение его! Руководи моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать! Аминь».

*Сентябрь 1993*



## ПОСВЯЩАЕТСЯ ВАМ

...Сначала — музыка. Но речь  
вольна о музыке глаголить.

Впервые я письменно обращаюсь не к читателям, а к слушателям. Зачем? И без моего приглашения услышать музыку Вы по-своему и по своему (чуть не написала: усмотрению), по Вашему слуху примете и получите дар этой пластинки, столь долго-долгожданной, столь отрадной и утешительной для меня. Музыка не есть отрада и утешение и не подлежит описанию словами. Дар — нам — Леонида Десятникова отраден и утешителен для меня. Как радостно, просто, легко сразу же ощутить, почувствовать, взять себе в подарок талант другого человека, любить его и любоваться им. Как трудно писать об этом. Говорить было бы легче, и я бы сказала: Десятников, как и подобает музыке, возбраняет нам неуклюжее вмешательство в тайну. Сочинитель музыки дважды и многоразды причастен тайнам, неведомым мне. Десятников иронично замкнут в некоторой строгой целомудренной суверенности, запретной для грубой отгадки, ключ к разгадке (необязательно скрипичный или басовый) — сокровище Вашего музыкального слуха. Я не обладаю таковым, но, как сказал один близкий мне ребенок, «организм у меня очень слухливый». Слово «организм» нам позволил Пушкин. Слово «обожание» нам позволила Марина Цветаева, чьи слух и слух

Вам известны. Вот и пишу: я обожаю всех соучастников пластинки: Леонида Десятникова, Алексея Гориболя, Олега Ведерникова, Полину Осетинскую, Ксению Кнорре. И еще есть — очень важно, очень есть — в пластинке и везде, не знаю где, но всегда, весьма сведущие в жизни и смерти, в музыке и поэзии, в иронии и трагедии: Даниил Хармс и Николай Олейников.

Вы — слушайте, Вы — поймете.

1993

## УСТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ

Счастливым день, счастливое собрание... В судьбе Булата, не столько соседствующей с нашей судьбою, а, пожалуй, возглавившей ее течение, то вялое, то горестное, в этой судьбе есть нечто, что всегда будет приглашать нас к пристальному раздумью. Может быть, устройство личности Булата, весьма неоткровенное, не поданное нам на распахнутой ладони... Устройство этой личности таково, что оно держит нас в особенной осанке, в особенной дисциплине. Перед ним, при нем, в связи с ним, в одном с ним пространстве не следует и не хочется вести себя недостойно, не хочется поступиться честью настолько, насколько это возможно. Все-таки хочется как-то немножко выше голову держать и как-то не утруждать позвоночник рабским утомленным наклоном. Булат не повелевает, а как бы загадочно и кротко просит нас не иметь эту повадку, эту осанку, а иметь все-таки какие-то основания ясно, и с любовью глядеть в глаза современников, и все-таки иметь утешение в человечестве. Есть столько причин для отчаянья, но сказано нам, что уныние есть тяжкий грех. И может быть, в нашей любви, в нашем пристрастии к Булату есть некоторая ни в чем не повинная корысть, потому что, обращаясь к нему, мы выгадываем, выгадываем свет собственной души.

У меня много есть всяких посвящений и одно совсем малозначительное, но все ж прочту... Оно короткое. Когда-то на одной сцене мы с Булатом выступали, и он подарил мне ключик, маленький ключик. И я им с ненасытностью владею.

Стишок мой — он вообще экспромт, шутка — называется  
«Песенка для Булата».

### Песенка для Булата

Мой этот год — вдоль бездны путь.  
И если я не умерла,  
то потому, что кто-нибудь  
всегда молился за меня.

Все вкривь и вкось, все невпопад,  
мне страшен стал упрек светил,  
зато — вчера! Зато — Булат!  
Зато — мне ключик подарил!

Да, да! Вчера, сюда вошед,  
Булат мне ключик подарил.  
Мне этот ключик — для волшебств,  
а я их подарю — другим.

Мне трудно быть не молодой  
и знать, что старой — не бывать.  
Зато — мой ключик золотой,  
а подарил его — Булат.

Слова из губ — как кровь в платок.  
Зато на век, а не на миг.  
Мой ключик больше золотой,  
чем золото всех недр земных.

И все теперь пойдет на лад,  
я буду жить для слез, для рифм.  
Не зря — вчера, не зря — Булат,  
не зря мне ключик подарил!

9 мая 1994

## АЛИК ЛЕВИН

Рожденная в Москве — не умею жить без Питера и не имею ни способа, ни намерения, ни времени учиться быть без этого заглавного города.

Каждый человек может или впрямую увидеть, или прикрыть веки и увидеть то, что я имею в виду, излишне объяснять: какой купол... какие шпили... какую решетку... какие колонны... Ах, Боже мой, довольно, благодарю, открою глаза.

Ко всему этому я всенепременно и неизбежно добавлю образ Александра (Алика!) Левина. Впрочем, что значит: добавлю? Город, река, судьба, сирень на Марсовом поле, я, набережные, Алик — нерасторжимы, это единый образ. Иначе у меня возникло бы ощущение, что я не досчиталась коней на Аничковом мосту.

Устройство личности Алика Левина: талант, артистизм, склонность к смеху и усмешке — притягательны для людей. Их живописное разнообразное множество не только утешается и развлекается его щедрой дружбой, но, как стало заметно в последнее время, еще и питает его воображение, приметливость, доброжелательную ироническую зоркость, то есть изначальное почти все, надобное сочинителю.

Я думаю, что Алик Левин так же претендует быть литератором, как я — литературоведом. Я-то литературоведом не стану, но Александр Левин, как мне кажется, предъявил нам свои литературные способности. И я от всей души желаю ему успехов и на этом поприще.

*12 июня 1994*

## «КОГДА ВЫ БЕЗВЫХОДНО ПЕЧАЛЬНЫ...» —

написала девочка из поселка. Без кавычек, вкратце излагаю смысл письма: что Вы делаете, когда нет выхода из печали, из отчаяния? правда ли, что — грех? здесь и нигде нет доброты, жалости ко всему живому и убитому; не хочу говорить на языке злых; волшебного не бывает; деться некуда; откуда Вам знать, живете не как все, а мне нет утешения, нет веселья, на сердце тяжело...

Никто не живет «как все», всяк по-своему жив или жил, всяк по-своему печален.

Не возьмемо возможности ответить гордой печальной девочке, не указавшей обратного адреса, но отвечаю.

Мрачен поселок, прелестна девочка. Не пишет ли стихи? «Что Вы делаете, когда безвыходно печальны?»

Что я делаю в таком ужасном случае?

Пропросту признаюсь: я читаю и перечитываю сочинения Юрия Коваля. И тогда все живы: люди, дети людей, животные, дети животных, птицы и дети птиц, реки, моря, озера, земля и созвездие Ориона, и мы — бедные дети всего этого вместе, малого поселка и всеобщего селения, упомянутых существ и не упомянутых звезд и сияний.

Нежность ко всему, что живо, или убито, или может подлежать убиению, въявь ощущается как бессмертие. Мы знаем: душа бессмертна, но и при жизни хочется быть наивно уве-

ренным в сохранности всего, что любила душа. Упасает нас всегда дар художника, милость, ниспосланная ему свыше, нам — в подарок. Это без меня известно. Но мне это не могло бы быть известно, ежели бы неязык Юрия Коваля. Письменная речь Юрия Коваля взлелеяна, пестуема, опекаема всеми русскими говорами, говорениями, своесловиями и словесными своеволиями. Язык Юрия Коваля — плодovit, самотворен, он порождает и поощряет образы, повадки, невиданность и неслыханность его персонажей.

Деться некуда? Но есть выход из безвыходной печали. Я, сиднем сидючи, имею мечтание: скорее, вместе с другими читателями (вдруг — с девочкой из поселка тоже) обрести новый роман Юрия Коваля: «Суер-Вьер».

Вот где обитает волшебство, вот счастливый способ не путешествовать по насильной указке путеводителя или по указанию какого-нибудь предводителя, а вольно шествовать по морям и островам — по пути свободного воображения автора и смеяться от радости.

С любовью завершая это посвящение, я обращаю ко всем читателям Юрия Коваля его же, для меня утешительные, слова:

ВЕСЕЛЬЕ СЕРДЕЧНОЕ.

*Апрель 1995*



## ПОСВЯЩЕНИЕ СЕРГЕЮ ДОВЛАТОВУ

Шла по московской улице в яркий полдень погожего летнего дня мимо бойкой торговли, среди густой человеческой толчеи, — с печалью в глазах, с тяжестью на сердце. Эти печаль и тяжесть приходилось еще и обдумывать, и полученный туманный итог означал, что я виновата перед полднем погожего дня: чем он не угодил глазам и сердцу? Бойкость торговли — ее заслуга. Люди — не толчея, они стройно спешат, они молоды, нарядны, возбуждены ожиданием неизбежной удачи.

Среди всего вкратце перечисленного я ощутила себя чем-то лишним, мешающим, грубой препоной на пути бодрого течения. Сумма усталости, недомогания, дурных предчувствий (ненаправленных) — все это следовало убрать с пути цветущего и сияющего дня.

Вдруг мне словно оклик послышался, я подошла к лотку, продающему книги: сторонясь развязного бумажного многоцветия, гордо и одиноко чернели три тома Сергея Довлатова, я приняла их за ободряющий привет из неизвестной превыспренной дали.

Привет такого рода сейчас может получить каждый читатель Довлатова, но я о чем-то своем, еще не знаю о чем.

Менее всего я намереваюсь с умом и здравомыслием подвергнуть суду моего пристального восхищения его талант, его судьбу, достоинства его сочинений. Скажу лишь, что пер-

вое же подробное чтение, давно уже, стало для меня исчерпывающим сведением, объем его не мог разрастись или измениться.

Мне хорошо известно написанное о Довлатове: блестящие эссе, статьи, воспоминания. Авторы посвящений так или иначе близки Довлатову: друзья его и близкие друзья со времен его молодости, невзгод и вдохновений. Все это люди чрезвычайных дарований и значений, некоторые из них мне весьма знакомы и, без усилий с их стороны, повлияли на ход и склад моей жизни. Я отличаюсь от них — когда думаю и пишу о Довлатове — тем, что никогда его не видела, даже мельком. Это представляется мне настолько невероятным, что даже важным и достойным робкой огласки.

Его лучезарность и тайная трагедийность братски родственны мне. Как же я с ними разминулась?

Мое соотношение с его средой совпало с началом моей жизни. Движение Москва—Питер и наоборот было взаимным правилом, для меня тоже (да и теперь так). Я много слышала о Довлатове, помышляла о нем, его образ прочно обитал в разговорах, в начальных легендах и анекдотах, расцветал в воображении, становился все более рослым и прельстительным, он и сейчас свеж где-то под веками, там и сохранен.

Мы не встретились ни в Питере, ни в Таллине, ни в Михайловском. Но, пожалуй, самым трудным было не встретиться в Нью-Йорке, хотя бы в знаменитом «Самоваре», притягательном для русских. Как-то зашли, слышим: «Только что был Довлатов, подарил самовар, купленный на толкучке».

Я читала его все больше, любуясь устройством его фразы, как бы беспечной, вольной, смешливой, но подлежащей благовоспитанной дисциплине, составляющей грациозную формулу. Если бы не слово, которому Довлатов единственно служил, которым владел, — его обаяние, доброта, юмор, бла-

городство не стали бы достоянием множества людей: они вспомнят его 24 августа 1995 года и в другие дни других лет.

Слова мои рассеянны, сбивчивы, — чтобы содейть их иначе, не хватает прохладной четкости. Но для моей неопределенной цели ненадобны иные слова.

Меня не однажды настигали косвенные великодушные приветы Сергея Довлатова — и тот неслышимый утешающий оклик в яркий и печальный полдень погожего летнего дня. Я хочу за все поблагодарить его, как мне быть? Надо прикрыть веки, очень сосредоточиться — не на большой, а на доброй мысли — и, может быть, заструится, запульсирует утекающий ввысь светящийся пунктир нежного ответного приветя.

*Август 1995*

## **ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛУ «ГРАНИ» (издательство «Посев»)**

Я поздравляю и благодарю журнал «Грани» и издательство «Посев».

Мне кажется дурной повадкой теперь похваться соотношением с журналом, с издательством: модно, позволительно и похвально.

Но в жизни моей и многих людей журнал «Грани», издательство «Посев» имели опасно-возвышенное, рискованно-вольнлюбивое значение. И не для всех это стало благоприятным сюжетом судьбы и жизни.

Да, и у нас была жизнь — такая, какая дана. Я только теперь поняла, как я устала, претерпевая всю эту былую жизнь.

Журнал «Грани» —утешал и искушал нашу сплоченную духоту, как некий Робин Гуд, желая спасти нас не из географической темницы, а из умственной, художественной спертости, запертости, запретной замкнутости. Уверена, что многих спас: не подсчитать, сколь многих.

Еще раз поздравляю журнал, его издателей и авторов. Некоторых из них нет вживе. Те, кого люблю, — да будут сохранены.

Ваша Белла Ахмадулина  
4 сентября 1995

## ВСЕХ ОБОЖАНИЙ БЕДСТВИЕ ОГРОМНО...

Впервые я услышала имя Анны Ахматовой в школе. У меня были добрые, неповинные в общем зле учителя, но им было велено оглашать постановление: Ахматова и Зощенко.

Я пойму это потом, но из непонятных «обличающих» Анну Ахматову слов возник чудный, прелестный, притягательный образ.

Воспитание может иметь обратное значение. Прошло некоторое время. Я раздобыла стихотворения Ахматовой и написала убогое посвящение. Вскоре я его порву и выкину. Подзреваю прекрасного Александра Володина, всегда любимого мной, в том, что он успел передать Анне Андреевне Ахматовой случайно уцелевший черновик.

Из всего этого помню строфу:

Об это старинное древо  
утешу ладони мои.  
Достанет Вам, Анна Андреевна,  
покоя, хвалы и любви...

Ужасно, но далее будет ужаснее.

Однажды, в скромном начале дня, выхожу из дома. В этом же доме жили Наталия Иосифовна Ильина и Александр

Александрович Реформатский, звавший меня: Гуапа, их собаку-спаниеля звали Лада.

Наталия Иосифовна говорит: «Зачем Вы избегаете встречи с Ахматовой? Анна Андреевна в Москве, я еду к ней, Вы можете поехать со мной».

Я: «Нет, я не могу. Не смею, не хочу, и не надо».

Тот день (для меня) стал знаменательным.

Я привечала Анджело Мариа Рипеллино, знаменитого слависта, и журналиста, для меня безымянного, виновата.

На бензоколонке на Беговой опять встречаю Наталию Иосифовну. Н.И.: «Не передумали? Я к Ахматовой еду».

Я: «Нет, не могу. И не надо».

Я развлекала итальянцев: показывала уцелевшую старую Москву, ярко бедную, угнетаемую и свободную мастерскую художника Юрия Васильева.

Итальянцы стояли в гостинице «Пекин». Что-то им понадобилось там. Подъехали к гостинице. Передо мной, резко скрипнув тормозами, остановилась машина Ильиной. Я знала, кто пассажир этого автомобиля. Лицо знало, как бледнеет, ноги не знали, как идти. Сказала: «Ну смотрите, синьоры, больше вы этого не увидите». (Я ошиблась: итальянцы увидели Ахматову — в Таормине, в пальто Раневской.) Подошла. Н.И. с жалостью ко мне весело объяснила Ахматовой: «Она так любит Вас, что не хочет видеть Вас».

Я же видела дважды: грузный, вобравший в себя страдания и болезни лик и облик и тончайший профиль, столь известный, столь воспетый.

Молча поклонилась. Вернулась к итальянцам. Мое лицо было таково, что они забыли, что они забыли в гостинице «Пекин».

Анджело Мариа Рипеллино спросил: «Что с Вами?» — «Там была Ахматова».

Далее — повезла их в забегаловку, в Дом литераторов, не обещая кьянти, что-нибудь взамен обещая. Вернула их к гостинице «Пекин».

Подъехала к дому. В лучах фар стояла Ахматова: ждала Ильину. Это не имело значения, если не считать разрыва ума, сердца, зрения. Сказала: «Анна Андреевна, Бог знает, я не хотела видеть Вас, но вижу Вас второй раз в этот день». Ахматова: «Верите в Бога?» Я: «Как не верить? Вы не только от Ваших родителей родились, произросли и осиянны. И я это вижу». Я и видела ярко-бледное осиянное лицо Ахматовой в потемках двора.

К счастью моему, спустилась со своего этажа Наталия Иосифовна Ильина и засмеялась. Анна Андреевна величественно-милостиво сказала: «Едем к Ардовым на Ордынку. Может быть, желаете сопроводить?» Я тупо плюхнулась на заднее сиденье. Ехали по Ленинградскому проспекту. Фонарь и не-фонарь, свет и тень, я видела, не могла видеть, но видела профиль, силуэт. Модильяни? Альтман?.. Нет. В Оспедалетти, в 12-м году?.. Нет, эту фотографию мне подарят много позже.

Когда проезжали мимо поворота к больнице Боткина, Анна Андреевна великим голосом произнесла: «Я бывала в этой больнице. Лежала около окна. Другие старухи хотели занять мое место. Ко мне пришел шведский корреспондент в белой рубашке, столь белой, что меня стали уважать».

Я читала эти (приблизительно) слова у Лидии Корнеевны Чуковской. Но я эти слова — слышала.

Приехали на Ордынку. Н.И.: «Проводите Анну Андреевну через двор и наверх».

Двор состоял из рытвин. Я поддерживала хрупкий утомленный локоть. Поднялись пешком на указанную верхотуру. Я чувствовала пульс, сильный и сильно убывающий.

У Ардовых играли в карты. Алеши Баталова не было. Мы прошли в его комнату. Анна Андреевна сразу прилегла и спросила: «Кто были те двое у Вас в автомобиле?» Сила зоркости обошла мне холодом мурашек. Я не могла понять, как Ахматова, не обернув головы, сумела разглядеть еще кого-то. В ум вступило изобретенное Лесковым слово «мелкоскоп». Ответила: «Двое итальянцев: Анджело Мариа Рипеллино и...» Ахматова (с надменно-ласковой усмешкой): «Как? Этот мерзавец?» Я: «Неужто он в чем-нибудь провинился перед Вами?»

Анна Андреевна слабым жестом указала, слабым голосом приказала: «Там сердечные капли. Подайте, пожалуйста». Я исполнила указание и приказание.

Анна Андреевна показала итальянскую книгу: «Мне жаль, что я не могу подарить книгу. У меня нет другой».

Я: «Зачем? Не о чем сожалеть. Я не знаю итальянского языка... Ваш — знаю, этого знания достанет для многих...»

Не знаю, как спустилась по лестнице, пересекла двор. Н. И. ждала не суетно, не торопливо.

На этой странице злоклучения обожания не завершаются. Переходим на следующую.

Я увидела Анджело Мариа Рипеллино, в последний раз, он приехал в Москву.

Я: «Анджело Мариа, что ты содеял, написал? Ахматова сказала: мерзавец».

А.М.Р.: «Что есть «мерзавец»? Кто-то, погибший от мороза?» (Стало жалко воображаемого озябшего мерзавца.)

Я: «Спрашивай у Даля (он спрашивал), признавайся: что написал?»

Признался (воспроизвожу по памяти, текста не видела): «Анна Ахматова ныне есть единственный классик великой русской литературы».

То есть: опять какое-то старинное древо, утешающее чьи-то лишние ладони.



Бедствие обожания набирало силу. Я слабела, чем и теперь занимаюсь.

Прошло некоторое время.

Позвонила Н.И.: «Вы уже видели Ахматову — дважды в один день. Можно и привыкнуть. Анна Андреевна хочет поехать за город. Я сегодня не могу повезти ее. Позвоните ей, повезите. Вот номер телефона».

Ахматова тогда остановилась у своей знаменитой приятельницы, на Садовом кольце, рядом с площадью Маяковского.

Глубокое чувство обреченности овладело мной. В этом не было мистики. Был автомеханик Иван Иванович, гений своего дела, он сурово учил меня ездить, менять колесо за пять минут — не дольше! Заклеивать мылом бензобак — в случае протечки (мыло — было). Но вот когда «иглу заливает бензином», — он мог это исправить, я уже ничего не могла поправить.

Позвонила по указанному телефону. Великий голос (я всегда слышу: «Дорога не скажу куда...») ответил: «Благодарю Вас. Жду Вас в двенадцать часов. В полдень».

Я понимала, что не в полночь. Не понимала: что надеть? В уме стояло воспоминание: Чехов едет к Толстому в Гаспру, думает: что надеть? (Описано Буниным.)

Надела то, что под руку попало: синие узкие брюки, оранжевый свитер, это уже входило в обреченность. Ровно в полдень (помедлив возле дома) поднялась, позвонила в дверь.

Прекрасная дама, в черном платье, встретила меня, справедливо-брезгливо оглядела меня, сказала: «Анна Андреевна ждет Вас. Вы умеете это делать?» (изящными запястьями изобразила руль автомобиля.)

Плохие предчувствия крепчали, хороших не бывает.

Вышла Ахматова, в черном платье.

Сине-оранжевая, я опять держала ее локоть, плавно-громоздко мы спустились по лестнице, я открыла дверь автомобиля, села за руль. У следующего перекрестка (при повороте на Петровку) машина остановилась навсегда. Это и была игра иглы с бензином. Я сидела, ничего не делая. Мешала проехать грузовику, водитель кричал: «Баба за рулем! Две дуры — молодая и старая!»

Его зоркость, обращенную ко мне, тоже следует отметить: он высунул голову из кабины. Я показалась себе ровесницей горя, старше беды.

«Вам никакой не подходит?» — спросила Ахматова: цвет, цвет, цвета светофора менялись несколько раз.

Подошел великодушный милиционер. Водитель грузовика продолжал кричать, я — молчать.

Великодушный милиционер прикрикнул на водителя грузовика: «Вылезай! Помоги откатить машину к тротуару. Женщине плохо...»

Мне и не было хорошо.

Тот послушался. Машину перекатали к тротуару, грузовик отпустили. Великодушный милиционер, у него была дирижерская палочка в руках, сказал: «Хочу Вам помочь».

Я: «Помогите. Я вижу телефон-автомат напротив. Помогите перейти дорогу». Позвонила: «Пришлите автомобиль: Ахматова, игра иглы с бензином...»

Непонятливый испуг ответил: «Не бойтесь, не двигайтесь с места. Сейчас приедем».

Вернулась: «Анна Андреевна, сейчас приедет другая машина».

Анна Андреевна сказала: «Я ничего не предпринимаю во второй раз».

Снова я держала локоть — поднимались по лестнице на восьмой этаж. Прекрасная дама в черном не удивилась, как если бы знала о моей автомобильной и всей судьбы неудаче.

Несколько дней после этого я не могла говорить: немая, немтая была.

Куда делись брюки, автомобиль, свитер — не любопытствую знать.

«Всех обожании бедствие огромно...» — есть у меня такое стихотворение. Я стояла возле могилы Ахматовой, никого не было, цветы были — как всегда. Величие ласково-надменной и прощающей усмешки я ощутила и приняла как осязаемую явь бессмертия.

Я не бежала, как бы упала из Комарова в Репино по быстрой дороге вниз. Это само собой сочинилось.

Мне довелось читать (и сейчас читаю) и видеть Льва Николаевича Гумилева. Однажды, в беспечном, а для меня напряженном застолье, Лев Николаевич вдруг спросил: «Вы так любите ее?»

Слабоумным голосом третьегодника с последней парты я спросила в ответ: «Кого? «

Лев Николаевич Гумилев объяснил: «Вы знаете — кого». Он не ошибся.

Вы, любезные читатели, не ошибайтесь — любите.

Всегда Ваша Белла Ахмадулина

Август 1996

## **РОЗЫ ДЛЯ АНЕЛИ**

### **Вольное сочинение: поздравительное посвящение Анели Судакевич**

...И то же в Вас очарованье...

Речь эта, речь-молчанье, при полновластном соучастии неполной луны, обращенная в письма, — здравица в честь 28 октября 1906 года и 1996 года, немая речь о счастье, о желании счастья.

По общей влюбленной привычке все начинать с Того, кто полагал ПОКОЙ И ВОЛЮ высшим и заглавным состоянием и достоянием бытия, не начать ли мне с 19 октября этого года? Как славно затевался день: зрело-лиловый мрак слабел и утоньшался до синих, сизых, безымянно-прозрачных сумерек, до РУМЯНОЙ ЗАРИ над БАГРЕЦОМ И ЗОЛОТОМ, как бы следуя подсказке радивого школьника. Оставалось созерцать, обонять, слушать и повторять свою же поговорку, что на свете счастье есть, что счастье есть осознанное мгновение жизни, а если еще и воспетое, запечатленное, то мои слова ненадобны, поскольку другой великий Поэт МОЛЧА ШЕПТАЛ и написал о жизни навсегда: «Благодарствуй! Ты больше, чем просят, даешь».

Так помышляла я 19 октября, в субботу, продвигаясь по Ленинградскому проспекту в сторону Петровско-Разумовских аллей и станции метро «Динамо», но и в сторону Пите-

ра, посредине отечества в направлении особенно отчего ОТЕЧЕСТВА ЦАРСКОГО СЕЛА. Одновременно это был ход и путь к юбилею и образу Прекрасной Дамы, о которой думаю и пишу, к будущему дню 28 октября, географически точно вспять маршрута — к дому в ответвлении Тверской улицы. Принимая свой вольно-покойный шаг и беспечную, но опекающую мысль за, пусть небольшое, вполне достаточное для меня, счастье, я возымела невольных беспокойных сообщников: множество утренне-румяных детей размеренно шествовало под руководством нарядных родителей или ретиво, подчас безгрешно-развязно, резвилось вокруг, рокоча быстролетными досками и роликами, разевая азартные уста для вожделенных лакомств. Одного ненаглядного мальчишка я самодеятельно и самодовольно присвоила как украшающее дополнение к моему стихотворению «День-Рафаэль»: ярко хорош собой и даровито добр, обмирая от любви, он притворно-строго и бесполезно подвергал нравоучениям свою, чудесно разнообразной породы, собаку: «Рафинад! К ноге! Рядом, Рафинад! Рафка, кому говорят, рожа ты этакая!» Рафкина отрадная рожа лукаво косила глазом, любезно рывкала, даже как бы немного ржала. Зачарованная зрелищем, я подобоострастно, не посягая на суверенность неразрывной пары, произнесла: «Рафинад! Радость ты и для прохожего человека!» Тот и ухом не повел, — не смахивающий на сладену, в честь белозубой смешливости наречен? для подтверждения рафинированного артистизма внутри многоцветно рыжей косматости? Рафаэльский мальчик глянул неодобрительным исподлобьем: чистая душа его ревновала сокровище Рафинада к докучливым чужакам. Ра, ры, ре... Грустно вспомнился раритет Кирсанова, дразнившего свою картавость: «На горе Арарат растет красный виноград»... Семен Исаакович тоже приходился мне любящим учителем, старшим ровесником.

Но и впрямь все радовалось, розовело и рдело вокруг! Я еще не знала тогда, что проспект, обращенный к Санкт-белоночному граду, кривью и косяю зрения и воображения, напрямик вел меня к рьяно-розовейшим розам, посвященным Прекрасной Даме, заведомо обрученным с Ее Днем 28 октября, обреченным к исполнению первой роли в моем подношении. Но что делать путнику, чье блуждание в околицах заветных полушарий есть его единственно прямой первопутком к общепонятной, ясно-простой и таинственной цели? Да, множество детей населяло золотисто-хладный субботний предполдень, некоторые из них возлежали или восседали в экипажах колясок, иные еще обитали в замкнутой округлости идеального уюта, в благодатном чреве матерей, отличных от других женщин не очевидностью стана, но значением взгляда, присущего лишь их очам, устремленным сразу в глубь и в даль, в драгоценный тайник, мимо всего остального, не важного и не обязательного вздора.

Более всего дивилась я несметному обилию красавиц, они словно сговорились с красою дня стать ровней ему, сиять, блистать и мерцать соцветно и созвучно солнцу сквозь нежную зыбкую промозглость (почему-то подумалось: венецианскую), листве, листопаду, влаге асфальта цвета каналов. Вдруг сильно смерклось, Тинторетто проведал Москву, во мгле его привета явилось, полыхнуло — это были розы цветочного рынка возле упомянутой станции метро. Барышня, ведавшая растениями, предводительница их, юная Флора, в расточительный добавок к удачам и прибылям того моего дня, разумеется, тоже была красавица, я простодушно сообщила ей эту, ведомую ей не-новость: здоровые солидные господа, останавливающие автомобили вблизи благовонной торговли для скорого подарка своим избранницам, останав-

ливали на ней многоопытный, не марающий ее, взор. Сначала этот оранжевый Рафинад с чернокудрым мальчиком, потом Рафаэль, Венеция, Тинторетто, — я не удивилась, когда прелестная цветочница, с глазами, превосходящими длинной тонкие пределы висков, объяснила мне, что редкий сорт этих роз именуется: «Рафаэлло». Девочка была еще и великодушна: она застенчиво и бескорыстно приглашала меня приобрести хотя бы одну из этих роз, несомненно причиняющих душе целебную радость и пользу. Я не усомнилась в ее словах, совершенно доверилась им и сказала, что непременно приду за розами 28 числа, в понедельник. Я медленно шла по проспекту, удаляясь от Ленинграда и Петербурга, от дня нечаянной радости, приближаясь к Тверской, к 28 дню октября, чая радости для героини торжественного дня, знаменитой героини эпохи немого кино, всей нашей многосложной и многословной эпохи, героини судьбы своей и большого достославного семейства. Пастернак: ...«Быть женщиной— великий шаг, / Сводить с ума— героичество». Ей поклонялись, называли дочерей ее именем (я встречала таких), ее рисовали Фонвизин, Тышлер и другие художники, поэты посвящали ей стихи (я в их числе). По роду моих занятий всегда и всю эту ночь напролет я склонялась пред высокой красотой, служила ей и, думая об Анели, твердо знаю: красота не проходит, этот хрупкий каркас прочен и долговечен, этот дар неотъемлем. Самовольно наведались в уже утреннюю страницу строки из давнего стихотворения «Роза»:

...Знай, я полушки ломаной не дам  
за бледность черт, чья быстротечна участь.  
Я красоту люблю, как всякий дар,  
за прочный позвоночник, за живучесть...

В росе ресниц, прельстительно живой,  
будь, роза роз! Твой подвиг долговечен.  
Как соразмерно мощный стебель твой  
прелестно малой головой увенчан...

Дорогая Анель, примите, пожалуйста, эти слова и эти  
розы.

Ваша Белла Ахмадулина

*Октябрь 1996*



## ВОЗВРАЩЕНИЕ НАБОКОВА

В седьмом часу утра рука торжественно содеяла заглавие, возглавие страницы, и надолго остановилась, как если бы двух построенных слов было достаточно для заданного здания, для удовлетворительного итога, для важного события. Плотник, возведший стропила поверх еще незримой опоры, опередил тяжеловесные усилия каменщика, но тот зряче бодрствовал, корпел, ворочал и складывал свои камни, его усталость шумела пульсами в темени и висках, опасными спектрами окружая свет лампы и зажигалки.

Меж тем день в окне заметно крепчал, преуспевал в тончайших переменах цвета. Я неприязненно глядела на неподвижную правую руку, признавая за ней некоторые достоинства: она тяжелей и хватистей левой сподвижницы, удобна для дружеского пожатия, уключжа в потчевании гостей, грубо не родственна виноградным дамским пальчикам, водитель ее явно не белоручка, но зачем нерадивым неслухом возлежит на белой бумаге, обязанная быть ее ретивым послушником? Рука, как умела, тоже взирала на меня с укоризной: она-то знает, у какого вождя-тугодума она на посылках, вот подпирает и потирает главу, уже пекущуюся о завтраке для главы семейства, о собаке, скромно указующей носом на заветную дверь прогулки. (Анастасия Цветаева: «Не только Собаку пишу с большой буквы, но всю СОБАКУ пишу большими буквами». Анастасия Ивановна малым детям и всем животным

говорила: «Вы» и за всех нас поровну молилась и сейчас, наверное, молится.)

Меж прогулкой и завтраком — несколько слов о СОБАКЕ, недавно, не задорого, выкупленной мной из рук, вернее, из запазухи невзгоды, не оглянувшейся на них при переходе в мои руки и запазуху. Коричневая такса, напрямик втеснившаяся в наше родство, не случайна в произвольном повествовании. Эта порода была почитаема в семье Набоковых. Сначала — неженки, лелеемые беспечным великодушием изначальных «Других берегов», вместе с людьми вперяющие пристальный взгляд в объектив фотоаппарата, словно предзная, что, утвердившись на кружевном колене, позируют истории навсегда, напоследок, и потом, в хладном сиротстве Берлина, — уже единственная драгоценность прекрасной матери Набокова, нищая «эмигрантская» СОБАКА, разделившая с хозяевами величественную трагическую судьбу. Не этот ли взгляд воскрес и очнулся за продажным воротом бедственной шубейки и выбрал меня для созерцания, сумею ли защитить его от непреклонного окуляра, неспроста запечатлевающего хрупкое мгновение?

Пусть и рука свободно погуляет без поводка, — усмехнувшись, я расстегнула пуговицу рукава, и благодарно вздохнули ребра, встряхнулся загривок, чьи нюх и слух выбирают кружной, окольный путь для изъявления прямого помысла.

Привиделись мне или очевидно не однажды посещали меня тайные приветы земного и надземного Монтре, они кажутся мне большею явью, чем явь двух моих посещений этих мест — при жизни их повелителя и обитателя и восемь лет спустя.

Последний раз это было недавней весной на берегу Финского залива, отороченного мощными торосами льда, воздвигнутыми их слабеющей Королевой. Сиял, по лучезарному старому стилю, День рождения Владимира Владимировича

Набокова и, по развязному новому стилю, — мой, заведомо подражательный и влюбленный, десятый день апреля. Ровно напротив ярко виднелся Андреевский собор Кронштадта, слева подразумевался блистающий купол Исаакия, в угол правого глаза вступал не столько Зеленогорск, сколько Териоки, снимок начала века, изображающий властно сосредоточенного, рассеянно нарядного господина — старшего Владимира Набокова. Но вся сила радостно раненного зрения была посвящена чудесной вести, поздравительному сокровищу: БАБОЧКЕ, безбоязненно порхающей во льдах, в обманном зное полдневного зенита. Ее пресветлый образ вчерне хранится в сусеках ума — не в хлороформе, а в живительной сфере, питающей и пестующей ее воскрешение. Тогда же попарное множество лебедей опустилось на освобожденные воды залива, и только один — или одна — гордо и горестно претерпевал отдельность от стаи. Стало избыточно больно видеть все это, и я пошла назад, к Дому композиторов, законно населяющих обитель моего временного, частого и любимого постоя. По дороге, на взгорке, где уже возжелтела торопливая мать-мачеха, я нашла голубого батиста, с обводью синей каймы, платок, помеченный вензелем латинского «ЭН». За обедом никто не признался в пропаже, и я присвоила и храню нездешнюю находку как знак прощения и поощрения.

По мере иссякающего дня рука отбыла повинности житья-бытья и на ночь глядя вернулась к бумаге. Жаль и пора покинуть на время просторное, суверенное именье ночи. В окне и на циферблате — седьмой час утра. Препоручу-ка день спозаранок проснувшемуся лифту, сошлю себя на краткий курорт кровати.

Из дневного отчуждения косилась я на выжидательно отверстую страницу: куда-то заведет, заманит путника ее пространный объем, оснащенный воспитующим стопором ско-

рому ходу? Так, однажды, задолго до апрельской БАБОЧКИ, шла я зимним днем по еще невредимому льду упомянутого залива, получилось: неизвестно где и куда. Возросший непроницаемый туман сразу же сокрыл берег и дом с башней — его островерхая, воспетая кровля умещается под кровлей заглавия, дом приходится ровесником и мимолетным свидетелем счастливому детству Того, о ком пишу. Я плутала в млечной материи прочного воздуха, может быть, уже в угодьях Млечного Пути, чрезмерных и возбранных, — я чуюсь отважной вхожести в превыспренные небеса. Возвышающее удушье постыдного страха овладело мной, но я спасительно наткнулась на подвижника подледного лова. Здраво румяный среди сплошной белизны, он добродушно указал мне идти по его следам, еще заметным меж его лункой и берегом.

Суровая ночная лампа притягательна для мотыльков измышлений и воспоминаний, в их крылатой толчее участвуют и подлинные соименники, виденные мной на изысканной выставке в американском университете с привходной мемориальной доской в честь диковинного энтомолога и писателя. Изумрудно-изумляющие, мрачно-оранжевые, цвета солнца и солнечного затмения, бессмертно мертвые тела царственных насекомых оживлялись соответствующими текстами Набокова, равными одушевленным самоцветам природы. Устройство его фразы подобно ненасытной, прихотливо длительной охоте рампетки за вожденной добычей, но вот пал безошибочный хищный сачок, сбылась драгоценная поимка точки.

Разминувшись со следами рыболова, уже по своим следам — ловца знаемой, неопределенно возвещенной цели, продвигаюсь я к совсем другим берегам, к давнему былому времени. Радуюсь достали новой ночи и свежей бумаги, я врасплох застаю себя в Брюсселе, где много лет назад оказа-

лась вместе с группой туристов, уже подписав некоторые беззащитно-защитительные письма, по недосмотру адресатов или под испытующим присмотром. Все мои спутники были симпатичные, знакомые мне люди, и даже нестрогий наш пастырь имел трогательный изъян в зловещем амплуа: он то и дело утешал себя припасом отечественного хмеля, примиряющего с чуждой цветущей действительностью. За нашей любознательной вереницей, в осторожном отдалении, постоянно следовала изящная печальная дама, несомненно и, с расплывчатой точки зрения бдительного опекуна, нежелательно русская, но с французской фамилией мужа. Она останавливала на мне выборочно пристальный взор и, улучив момент, робко пригласила к обеду. За мной непозволительно заехал неученый конспирации любезный бельгийский муж. По дороге он бурно грассировал, втолковывая стое-росовому собеседнику, что весьма наслышан о Поэте, чьи сочинения в переводе не оправдывают юношеского прозвища «Француз», но, не правда ли, есть и другое, «Ле Крике», «Сверчок», а также он читал великий роман «Война и мир», отчасти превосходно написанный по-французски.

Дом, помещенный в несильном чуженебном закате, был увит смуглым, с бледно-розовыми соцветьями, плющом, легкое вино розовело в хрустальных гранях, розы цвели в палисаднике и на столе с прозрачно-розовыми свечами. Какая-то тайна содержалась в незрело ущербном, неполно, алом цвете — ей предстояло грянуть и разрешиться. Радужному бельгийцу вскоре прискучила чужеродная речь, он откланялся и прошумел куда-то прытким автомобилем. Как ни странно, нам предстояло еще раз увидеться впоследствии, и он преподнес мне бутоньерку с прелестной орхидеей.

Не тогда, а время спустя, когда окреп запретный пунктир нежной прерывистой связи меж нами, я догадалась и узнала,

что изящная печальная дама была поэтесса Алла Сергеевна Головина, некогда известная и даже знаменитая в литературных кругах, сначала упомянутая Цветаевой в письмах к Анне Тесковой просто как некая дама с пудреницей, а потом ставшая ее другом и конфидентом. Тот блекло-розовый вечер разразился-таки ослепительной вспышкой. Хозяйка дома вышла в другую комнату и вернулась с папкой потускневших бумаг, исписанных страстными красными чернилами: это были рукописи Марины Цветаевой, стихотворения и письма. Я невменяемо уставилась на зарево, возалевшее предо мной, не умея понять, что Алла Сергеевна просит меня содействовать возвращению этого единственного почерка на родину, где ему и ныне нет и не будет упокоения. Я в ужасе отреклась от непомерного предложения: «Что Вы! Это отберут на границе! Это канет бесследно! Это надобно прочно хранить и предусмотреть незыблемое безопасное хранилище». — «Что же станется со всем этим? — грустно сказала Алла Сергеевна. (Я не знаю, что случилось: обмениваясь краткими редкими приветами, мы навсегда разминулись с Аллой Головиной, когда она, наконец, сумела приехать в Москву.) — Вот, познакомьтесь с моим наследником». В столовую вошел полнокровно пригожий мальчик, благовоспитанно скрывающий силу и нетерпеж озорства. «Ваня, — сказала ему мать, — скажи нашей гостье что-нибудь по-русски», — на что Ваня приветливо отозвался: «Бонжур, мадам». Потрясенный тем, что, на родном ему языке, я с трудом считаю до десяти, он дружелюбно принял меня в слабоумные одноклассники, деликатно показал мне не более десяти своих ранних рисунков, доступных моему отсталому разумению, и удалился для решения многосложных задач.

— А Вы, — неуверенно, боясь задеть меня, спросила Алла Сергеевна, — знаете ли Вы Набокова, о Набокове? Ведь он, кажется, запрещен в России?

Этот экзамен дался мне несколько легче: я уже имела начальные основания стать пронзенной бабочкой в коллекции обожающих жертв и гордо сносить избранническую участь. За это, перед прощанием, Алла Сергеевна подарила мне дорогую для нее «Весну в Фиальте», прежде я не читала этой книги, не держала ее в руках, пограничный досмотр мной не интересовался, и долго светила мне эта запретная фиалковая «Весна» в суровых сумерках московских зим.

Всегда была у меня кровная неотъемлемая вотчина родной словесности, обороняющая от окрестной причиненной чужбины попорванных земли и речи. Этого самовластного невредимого мира, возглавленного лицейским вольнодумным «Французом» и всем, что вослед ему, предостаточно для надобного счастья. Были со мной Лесков, Платонов, огромно был Бунин — сначала голубым двухтомником, поразившим молодое невежество, потом девятитомным изданием с опальным последним томом — скорбным предотъездным подарком Георгия Владимова. Подарил он мне и БАБОЧКУ — застекленное в старину изображение красавицы, исполненное выпуклыми блестками во весь ее крупный и стройный рост. Насильная географическая разлука с Владимовыми — одно из самых безутешных переживаний. «Целую Вас — через сотни разъединяющих верст!» (Цветаева).

И после девятого тома увеличивался, прибывал утаенный Бунин, возвращая отъятую подлинность места урождения. Каждый день проходила я по Поварской мимо дома Муромцевых, многоопытного в «Окаянных днях»; Борисоглебский, Скатертный, Мерзляковский переулки опровергали косноязычную беспризорность. Присваиваемая родина, до вмешательства Набокова, была выжидающе неполна, как розовый, рапидный, глициниевый вечер до вторгшейся «Весны в Фиальте». Годы спустя, горестно и ревниво ликуя, незванным татаринном вкушала я обед автора «Других берегов» с Нобелев-

ским лауреатом тридцать третьего года. Набегом и покражей личного соучастия я взяла себе любезное противоборство двух кувертов, двух розно-породистых лиц, ироническую неприязнь первого к «водочке» и «селедочке», вопросительную безответную благосклонность второго, тогда — далеко Первого и старшего. Вот — давно лежит передо мной нерасшифрованный номерок с вешалки какой-то пирушки или велеречивого сборища, прижившийся к подножию лампы, а я, сквозь овальную пластмассу, вижу сигарный дым парижского ресторана, позолоченного швейцара, бесконечность шарфа, петлито текущего из рукава бунинского пальто, и меня вовлекшую в эпическую метафорическую путаницу. Впрочем, не уверена, что в том заведении выдавали подобную арифметику в обмен на шубы и трости, на пальто и шарф, но здешняя усталая гардеробщица наверняка кручинилась о пропаже.

Не в ту ли пору чтения, впервые став лишним сотрапезником описанного обеда, придумала я мелочь поговорки: из великих людей уютного гарнитура не составишь.

Новехонькая полночь явилась и миновала — самое время оказаться в Париже шестьдесят пятого, по-моему, года. Ни за что не быть бы мне там, если бы не настойчивое поручительство Твардовского, всегда милостивого ко мне. Его спрашивали о «Новом мире», Суркова — об арестованных Синявском и Даниэле, меня — о московской погоде и о Булате Окуджаве, Вознесенского окружал яркий успех. Я подружилась с Юрием Анненковым, легко принимала раздражительный гнев Эльзы Триоле, дома угощавшей поэтов салатом, однажды в «Куполе» — полудюжиной устриц, порочно виновных в том, что «свежо и остро пахли морем». Твардовский автора строк отстраненно почитал, но источником морского запаха, бледнея, брезговал и даже видеть его гнушался.



В этом месте и времени витиеватого сюжета накрепко появляются русские Маша и Витя, родившиеся не в России, всеми силами и молитвами сердца любящие Россию, вскормившие своих детей русским языком, моих — швейцарским детским питанием. Они специально приехали на объявленные литературные чтения, но опасались вредительно ранить приезжую отечественную боязливость. Прибыли они на автомобиле из Цюриха, где Маша преподает в университете российскую словесность, а Витя служит в известной электронной фирме, чьи сувенирные, шикарно-новогодние календари я неизменно получаю в течение переменчивого времени, большего трех десятилетий, — не считая других даров и гостинцев и постоянной душевной заботы, охранительной и заметной. Маша и Витя украдкой пригласили меня в укромное монмартрское кафе. Нежно-аляповатая церковь Сокровенного Святого Сердца сверкала белизной, туристы сновали, художники рисовали, прелестницы уминали мороженое и каштаны, дюжие пышно-шевелюрные шевалье сопровождали или жадным поедом зрачков и очков озирали их высокие ноги, Синявский и Даниэль обретались — сказано где, Горбаневская еще не выходила с детьми к Лобному месту, я потягивала алое вино. Поговорив о погоде и о Булате, я внимала доверительным и странным речам. Маша и Витя жарко признались, что почитают своим долгом разделять судьбу России, а не Швейцарии, не в альпийских лугах, а в перелесках или даже в тайге. Я сочла своим долгом заметить, что нахожу их благородное стремление неразумным и безумным, хотя бы в отношении их урожденно-швейцарских детей. Недрами глубокой боли они спросили: «А как же все остальные? Как же Вы?» — на что я загадочно ответствовала, что это — совсем другое дело, не предпринятый, а предначертанный удел. Но я звала их приехать в Москву, уверяя, что

в Сибирь их не пустят. Так они и поступали не однажды, особенные препоны и неприятности, подчас унижительные, сопутствовали дорогой Машиной маме Татьяне Сергеевне, ныне покойной московской уроженке.

В первый свой приезд Маша сказала мне, что в пустынном кафе с клетчатými скатертями на них более убедительно, чем моя откровенность, подействовал некий, не виданный ими прежде, нервный тик: я часто оглядывалась через плечо на отсутствующего соглядатая и слушателя.

Маша желала усыновить, больше — удочерить одинокого русского ребенка, маленькие ее сыновья теперь почтенные семейные люди, говорящие с родителями на их и моем языке, с прочим населением мира — на свойственных ему языках. Исполнение Машиной грезы, возможно, было бы спасительно для сироты, но непозволительно.

В монмартрском кафе я спросила Машу и Витю о Набокове, удивив их силой не любознательного, а любящего чувства и тем, что я не знаю его адреса: Монтрё, отель «Монтре-Палас», где живет он замкнуто и плодотворно. Позднее, в год его семидесятилетия, слагалось и бродило в моей душе туманное письмо к Набокову, так и не обращенное в письмена. Нашлись бы способы их отправить, да и отважная Маша рискованно взялась бы мне содействовать, чего бы я не допустила. Но — пора не пришла.

Если бы и сейчас оглядывалась я через плечо на стороннего чужака, он вправе был бы спросить: а при чем здесь все это? не слишком ли витийствуют мои ночи? не чрезмерен ли круг гостящих в уме персонажей? Но я не приглашала его привередничать, моя ночь (новая) — моя свобода, пусть говорит память, подпирает лоб рука, изымая из него упорный диктант. Все помещается в путанице бунинского шарфа: Набоков и мы, Маша и ее несбывшаяся дочь, может быть, и

ныне хлебающая горюшко или, наоборот, обретшая маловероятное благоденствие.

Ночь кажется особенно тихой, в горние выси вознесенной. Днем на лестнице шумно трудится ремонт, заядлая дрель победительно вершит свое насущное авторство. Сегодня, уже вчера, шла я по теплой, словно нездешней, осени к близкому физкультурному учреждению, куда я не по чину наведываюсь в промежутках меж ночными сидениями.

Влюбленный мальчик начертал мелом на пришкольном асфальте: «МАША!» Кто-то другой, более восклицательно, вывел поверх первой надписи: «ТАМАРА!!!» и увенчал имя пририсованной короной. Я воздержалась от шулерской литературщины, оставив ту «Машеньку», бывшую Тамарой, в цветных стеклах усадьбы Рукавишниковых, в полях и аллеях, в разлучающем холоде Петербурга и неизвестно где.

Все прохожие представлялись мне выпукло-яркими прообразами, уготованными для грядущих воспеваний, позирующими вымыслу обликом и судьбой. По дороге к «спортивному комплексу» встретила мне прелестная, взросло и лукаво ясноглазая девочка-подросток, в теплых шортах и сапожках. К моему смущению, она доверчиво попросила у меня огня для сигареты. Жалея прозрачные легкие, я протянула ей зажигалку, оторопело заметив, что расхожий предмет, для трезвой насмешки над мелочными совпадениями или во славу девочки, имеет название: «Лолита». На теннисных кортах и в бассейне порхало и плескалось целое скопище эльфов-Лолит — не опустела ли на миг обложка романа с мыкающим внутри Гум Гумычем?

Наступивший после снотворного перерыва день — рассеянной и тесней ночного дозора, ничего, скоро заступать. И во дне продолжаю я извилистый окольный путь к Женевскому озеру, чиня себе препятствия, удлиняя зигзаги, словно

страшась желанной призывной цели, оберегая ее от огласки, но напрямик, наотмашь, в нее не попадешь. Снова поглядываю я в швейцарскую сторону Маши, испытанного ниспосланного проводника. Ее европейская сдержанность дисциплинированно облекает укрощенную бурю энергий, но христианка Маша никак не может быть тихим омутом с теми, кто в нем обычно водится. Даже ее визиты в Россию многозначительным намеком соответствовали опасному маршруту героя «Подвига», исполняли его волю.

В декабре 1976 года я и Борис Мессерер оказались в сияющем пред-Рождественском Париже по приглашению Марины Влади и Владимира Высоцкого. Если бы не влиятельное великодушие Марины, не видать бы нам чужого праздника. Мы были частные, условно свободные, лица, но советское посольство не оставляло нас небрежной мрачной заботой. Когда мы в первый раз явились в него по недоброжелательному приглашению, сразу погасло недавнее Рождество. Автоматическая входная дверь автоматически не открылась, одолев ее вручную, мы столкнулись с угрюмым маститым привратником. Искося оглядев нас прозорливыми желваками щеки, он прикрикнул на нас с вышки пограничного стула: «Кто такие, куда идете, закройте за собой дверь!» Растлившись в парижском воздухе, я с неожиданной злобой ответила: «Моя фамилия вам ничего не скажет, но потрудитесь встать и закрыть за мной дверь». Видимо, это произвело некоторое загадочное впечатление, потому что впоследствии он нехотя закрывал дверь, то ли думая: а черт их знает, кто они такие, или попросту оберегая себя от докучной парижской прохлады. Проходя по брусчатому двору старинного оскверненного особняка, Борис обмолвился, что растрата оборонительного чувства на нижние чины излишня. Надо сказать, что, по мере возвышения чинов, примечательная привычка смотреть куда-то мимо глаз возрастала: советник

по культуре владел ею в совершенстве. Незлопамятно подтверждаю, что ему удалось быть затмевающим соперником Эйфелевой башни и замков на Луаре. Беседа с ним не имела другого культурного значения, кроме настоящего предостережения от встреч со знакомыми, от знакомств, от общения с русскими и французами, особенно со славистами, от всех здешних жителей, имеющих неодолимую склонность провоцировать простоватых соотечественников. С рабской тоской я молча думала: кто же будет заниматься этим вздором в подаренном ненадолго городе, если не вы и ваши пришепники?

Покинув отечественную территорию, мы зашли в кафе, где балетно-изящный официант провокационно подал нам по рюмке литературно близкого кальвадоса, который мы уже повадились свойски называть «кальва».

Все же Париж расточительно брал и отдавал свое. Стояла нежная влажная зима, не вредящая уличной разновидности бальзаминов, цветущих в горшках отечества под прозвищем «Ванька-мокрый», по утрам из всех пригласительных дверей пахло кофе и круассанами, мы неизбежно встречались со старыми и новыми знакомыми, с русскими и французами, особенно со славистами, тщательно угасавшими нас от провокаций, понятно чьих. Редкие мои выступления посещали поддельно художественные или интеллектуальные лица, при появлении которых публика умолкала или оживленно интересовалась влиянием Марселя Пруста на русские умы. На одном чтении Гладилин в первом ряду громко уронил магнитофон и послал мне дружескую, испуганно-извиняющуюся гримасу, на что я ободряюще сказала: «Толя, не валяй дурака». Возле места, где мы жили, между бульваром Распай и Монпарнасом, сострадавая, наблюдали мы разрозненные шествия слепых, постукивающих тростью по мокрому асфальту, сначала принимаемые мною за таинственный знак, понукаю-

щий глядеть, вглядываться, разглядывать и наслаждаться этим даром, оказалось, что неподалеку помещалась школа для людей, пораженных слепотою. Мы виновато смотрели во все глаза. Но главное счастье обитало вместе с нами в маленькой Марининой квартире на рю Руссле: можно было неспешно и ограждено жить внутри отверстого Парижа, дарительной властью Марины вызволившего нас на время, но и навсегда, из объятий Китайской или Берлинской стены. Маринины волосы особенно золотились, когда редко и прекрасно приезжал Володя. Однажды она и меня превратила в блондинку, я с отчуждением спрашивала свое новое, омытое Парижем, лицо: а помнит ли оно, откуда оно и куда, но ему напоминали. Как-то мы заблудились рядом с «Гранд-Опера», и Володя задумчиво сказал мне: «Знаешь, в одном я тебя превзошел». Я удивилась: «Что ты! Ты — во всем меня превзошел». — «Да нет, я ориентируюсь еще хуже, чем ты». И теперь я не знаю: так ли это?

Маша часто звонила нам из волнующей швейцарской близи.

И вот, осмысленным приступом одной целой ночи, я, без черновика и второго экземпляра, написала письмо Набокову и поздним утром опустила его в почтовый ящик, дивясь простоте этого жеста. Теперь оно незначительно принадлежит архивам Набокова и, вскоре продиктованное по памяти, — коллекции Ренэ Герра.

Нынешней глубокой ночью, двадцать лет спустя, я могу лишь приблизительно точно восстановить отправленный из Парижа текст, точнее, конспект его, но смысл послания жив и свеж во мне, усиленный и удостоверенный истекшим временем. Эта ночь оказалась много трудней и короче той.

Дневная репродукция вкратце такова. Я писала Набокову, что несмелая весть затеяна вдалеке и давно, но всегда действовала в содержании моей жизни. Что меня не страшила, а

искушала возможность перлюстрации: де, пусть некто знает, что все подлежит их рассмотрению, но не все — усмотрению, но в этом случае письмо разминулось бы с получателем или поставило бы его в затруднительное положение иносказательного ответа или не-ответа. Что я прихожусь ему таким читателем, как описано в «Других берегах» кружение лепестка черешни, точно-впопад съединяющегося с отражением лепестка в темной воде канала, настигающего свою двуединую цельность. И совсем не одна я не слабоумно живу в России, которую ему не удалось покинуть: почитателей у него больше, чем лепестков у черешни, воды у канала, но все же он величественно вернется на родину не вымышленным Никербокером, а Набоковым во всей красе. (Мне доводилось в воду смотреть: когда-то давно я ответила директору издательства на упреки в моем пристрастии к Бродскому, мешающем, вместе с другими ошибками, изданию моей книги: «О чем вы хлопчете? Бродский получит Нобелевскую премию, этого мне достанет для успеха».) Я подробно описывала, как я, Борис Мессерер и его кузен Азарик Плисецкий пришли в дом Набоковых на Большой Морской в Петербурге, тогда — на улице Герцена в Ленинграде. Злобная бабка — таких сподручно брать в понятия — преградила нам путь. Я не обратила на нее внимания. За препятствием бабки, внизу, некогда жил припеваючи швейцар Устин — но и меха подаваючи, и двери открываючи, что было скушнее господских благодеяний. Это он услужливо преподнес восторжествовавшим грабителям открыто потаенную шкатулку, чьим волшебным переливчатым содержимым тешила молодая мать Набокова хворобы маленького сына. В новой, посмертной для Устина, но не иссякающей жизни, повышенный в звании, он вполне может служить синекуре посольской охраны. Сейчас снизу несло сильным запахом плохой еды. Витраж, судя по надписи в углу, собранный рижским мастером, кротко мерцал, как и в

былые дни, но причинял печаль. Я говорила, что вон там стояла мраморная безрукая Венера, а под ней — малахитовая ваза для визитных карточек. Бабка, всполошившись, побежала за начальником ничтожного учреждения. Вышел от всего уставший начальник. За эти слова, в немыслимом, невозможном будущем, похвалит меня Набоков. Потом я узнаю, что сестра его Елена Владимировна прежде нас посетила этот дом, но бабка ее не пустила: «Куда идете, нельзя!» — «Я жила в этом доме...» — «В какой комнате?» — «Во всех...» — «Идите-ка отсюда, не морочьте голову!» Уставший от всего начальник устало оглядел нас: «Чего вы хотите?» — «Позвольте оглядеть дом. Мы — безвредные люди». И он позволил. Дом был изувечен, измучен, нарушен, но не убит, и, казалось, тоже узнал нас и осенил признательной взаимностью. К тому времени сохранились столовая, отделанная дубом, где и обитал уставший начальник, имевший столовую в бывшем Устиновом жилище, на втором этаже — комната с эркером, где родился Набоков.

Письмо вспоминается ощупи более объемистым, чем уму, думаю, в нем содержались и другие доказательства того, что лепесток настиг свое отражение и с ним неразлучен.

Разговаривая с Машей по телефону о возможной поездке в Швейцарию, я не думала о Монтре: Набоков был повсеместен, моя подпись под письмом это заверяла, мне полегчало.

В Париже мы много читали, но для присущей нам общительности времени щедро хватало. Мы подружились с Наталией Ивановной Столяровой, гостившей у Иды Шагал. Рожденная в Ницце Муза блестяще несчастного Бориса Поплавского в молодости стремилась в Россию, где и провела в лагерях лучшую пору жизни. Теперь она с молодым смехом почитывала газетные программы вечерних увеселений, подчас фривольных, и мы частенько посещали их вместе со



Степаном Татищевым. На одном из них, куда мы по ошибке затесались, женщин, кроме нас с Наталией Ивановной, не было, на нас поглядывали, и Степан Николаевич тайком шепнул ей, с чудной парижской усмешечкой: «Мадам, я скажу папа, куда вы меня заманили».

Степан Татищев, родившийся во Франции, много сделал для русской литературы, и для нас — по доброте и веселости сердца. Он давно умер в День четырнадцатого июля, как если бы для совершенной свободы не выпало ему соответствующего русского числа, а стройная его жизнь была прочно зависима от России. Где-то ждет своего часа бутон моего черновика, воспевшего розовые соцветья хрупко-мощной магнолии во дворе его дома в пригороде Фонтанэ-о-Роз. Как-то вечером Степан дал нам, на одну ночь прочтения, неотчетливую машинопись повести «Москва—Петушки», сказав, что весьма взволнован текстом, но не грамотен в некоторых деталях и пока не написал рецензию, которую срочно должен сдать в издательство. Утром я возбужденно выпалила: «Автор — гений!» Так я и Борис впервые и навсегда встретились с Веничкой Ерофеевым и потом (сначала Борис) вступили с ним в крайнюю неразрывную дружбу.

Меж тем консульство легко дозволило нашу поездку в Швейцарию и Италию — при условии точного соблюдения всех иностранных формальностей, придирчивых к нам и педантичных, отечественная виза имела полугодовую длительность. Из всего этого я сделала свои неопределенные, очень пригодившиеся нам выводы.

В Женеву отправилась с нами и Наталия Ивановна. На перроне нас встречала Маша с друзьями. Завидев их, Наталия Ивановна встрепелась: «Это не опасно для вас? Вы хорошо знаете этих людей?» Я радостно утвердила: «О да!» Устроились в гостинице, заказали ужин. Вдруг Борис спросил Машу: «Монтре — далеко отсюда?» Маша ответила: «Это близ-

ко. Но еще есть и телефон». Я испугалась до бледности, но Маша, поощряемая Борисом, сразу позвонила Елене Владимировне Набоковой (в замужестве Сикорской). Та откликнулась близким обнимающим голосом: «Брат получил Ваше письмо и ответил Вам. Он будет рад Вас видеть. Сейчас я съединю Вас с ним». Мы не знали, что в наше отсутствие консьержка Марининого дома взяла из рук почтальона автограф Набокова, хранимый нами. Бывало, прятали его от каких-нибудь устинов, но они, открытым способом, не пожаловали. Телефон сработал мгновенно и невероятно, но я успела расплакаться, как плакса. Я не посягала видеть Набокова. Трижды терпела я бедствие обожания: при встрече с Пастернаком, с Ахматовой, и вот теперь, с небывалой силой. ГОЛОС — вступил в слух, заполнил соседние с ним области, не оставив им ничего лишнего другого: «Вам будет ли удобно и угодно посетить нас завтра в четыре часа пополудни?» Замаранная слезами, я бесслезно ответила: «Да, благодарю Вас. Мы всенепременно будем».

Утро помню так: Женевское озеро, завтрак вблизи блистающей воды, среди ранне-мартовских и вечно цветущих растений, ободряющую ласку Елены Владимировны, ее вопрос, должно быть, имеющий в виду отвлечь меня от переживания: «Как по-русски называется рыба «соль»?» — «Не знаю. У русских, наверное, нет такой рыбы. Соль есть».

Елена Владимировна простилась с нами до новой встречи. Мы помчались. Маша предупредила меня, что на дороге, около Веве, нас поджидает англичанин, местный профессор русской литературы, любитель кошек, мне, почитателю кошек, желающий их показать. Есть у него и собаки. Симпатичный профессор, действительно, радушно ждал нас на обочине. По моему лицу, ставшему бледным компасом, он определил: «В Монтре? А в паб успеем заглянуть?» Кошек и собак мы не увидели, в паб заглянули, процессия увеличилась.

Следующую часть воспоминаний, в рассказах моих, я называла: цветочная паника в Монтре. Некоторые улицы маленького города были закрыты для автомобилей, мы спешили, я хотела купить цветы для Веры Евсеевны Набоковой. Мы с Машей посыпались вниз по старой покато́й мостовой. До четырех часов оставалось мало времени, наши спутники волновались. Наконец, мы влетели в цветочный магазин, а их вокруг было множество.

Уключая, европейски воспитанная Маша при входе толкнула прислугу, несшую кружку пива для величавой хозяйки магазина, восседающей на плюшевом троне. Кружка упала и покати́лась, угощая пол, игриво попрыгивая в раздолье собственного хмеля. Цветущая хозяйка разглядывала невидаль нашего вторжения с праздничным интересом. Мы пререкались на языке непостижимого царства: «Маша, пожалуйста, я сама куплю несколько роз». — «Нет, я куплю несколько роз, а вы преподнесете».

Интерес хозяйки к нашей диковинке радостно расцветал. Я заметила: «Маша, по-моему, вам следует перейти на французский, нас не совсем понимают». Маша, помедлив меньше минуты, заговорила по-французски: «Мадам, я заплачу за кружку и за пиво. У вас есть розы?» Царственная хозяйка ответила: «Мадам, пивная — рядом, там достаточно пива и кружек, они не входят в ваш счет. Это — цветочный магазин. Розы — перед вами, извольте выбрать». Маша заплатила за розы. Мы побежали вверх к отелю «Монтре-Палас» и точно успели, хоть Маша, розы и я чуть не задохнулись.

На трудные подступы к цели и многие помехи ушли не письменные ночь, день, ночь. Движение, опережающее свои следы на бумаге, все же продолжалось. Натруженный исток глаз опять снабжает их маленькими северными сияниями, предостерегающе добавленными к свету лампы, к огоньку зажигалки.

...Без пяти минут четыре мы с Машей, запыхавшись, присоединились к спутникам при входе в отель. Услужаящий почтительно предупредил, что нас ожидают наверху, в «Зеленом холле». Поднялись Маша, Борис и я.

«Зеленый холл» был зелен. Перед тем как, с боязливым затруднением, вернуться в него сейчас, ноябрьской московской ночью, я, на предпредыдущей странице, прилежно зачеркнула пустозначные эпитеты, отнесенные к Голосу, услышанному в телефоне, и не нашла других. Этот Голос пригласил Машу остаться: «Вы не хотите побыть вместе с нами? Я не смогу долго беседовать: неловко признаваться, но я все хворал, и теперь не совсем здоров». Благородная Маша отказалась, ничего не взяв себе из целиком оставленного нам события. Был почат март 1977 года. Правдивая оговорка имела, наверное, и другой, робко-защитительный, смысл: званые пришельцы, хоть и умеющие писать складно-бессвязные письма, все же явились из новородной, терзающей, неведомой стороны. Пожалуй, наши вид и повадка опровергали ее предполагаемые новые правила, могли разочаровывать или обнадеживать. Сначала я различала только сплошную зелень, оцепенев на ее дне подводным тритоном.

Прелестная, хрупкая, исполненная остро грациозной и ревнивой женственности, Вера Евсеевна распорядилась приютить цветы и опустить прозрачные зеленые шторы. Стало еще зеленее.

Голос осведомился: «Что Вы желаете выпить?» Подали джин-тоник, и спасибо ему.

Меня поразило лицо Набокова, столь не похожее на все знаменитые фотографии и описания. В продолжение беседы, далеко вышедшей за пределы обещанного срока, лицо нисколько не имело оборонительной надменности, запрета вольничать, видя, что такой угрозы никак не может быть.

Я выговорила: «Владимир Владимирович, поверьте, я не хотела видеть Вас». Он мягко и ласково усмехнулся — ведь и он не искал этой встречи, это моя судьба сильно играла мной на шахматной доске Лужина. Осмелев, я искренне и печально призналась: «Вдобавок ко всему, Вы ненаглядно хороши собой». Опять милостиво, смущенно улыбнувшись, он ответил: «Вот если бы лет двадцать назад, или даже десять...» Я сказала: «Когда я писала Вам, я не имела самолюбивых художественных намерений, просто я хотела оповестить Вас о том, что Вы влиятельно обитаете в России, то ли еще будет — вопреки всему». Набоков возразил: «Вам не удалось отсутствие художественных намерений. Особенно: этот, от всего уставший, начальник». Я бы не удивилась, если бы впоследствии Набоков или Вера Евсеевна мельком вернулись к этой встрече, исправив щедрую ошибку великодушной поблажки, отступление от устоев отдельности, недоступности, побыло — так, как говорю, непоправимым грехом сочла бы я малое прегрешение пред Набоковым. Он доверчиво спросил: «А в библиотеке — можно взять мои книги?» Горек и безвыходен был наш ответ. Вера Евсеевна застенчиво продолжила: «Американцы говорили, что забрасывали Володины книги на родину — через Аляску». Набоков снова улыбнулся: «Вот и читают их там белые медведи». Он спросил: «Вы вправду находите мой русский язык хорошим?» Я: «Лучше не бывает». Он: «А я думал, что это замороженная земляника». Вера Евсеевна иронически вмешалась: «Сейчас она заплачет». Я твердо супротивно отозвалась: «Я не заплачу».

Набоков много и вопросительно говорил о русской эмигрантской литературе, очень хвалил Сашу Соколова. Его отзыв был уже известен мне по обложке «Школы для дураков», я снова с ним восторженно согласилась. Когда недавно Саша Соколов получал в Москве Пушкинскую премию Германии, я возрадовалась, подтвердив слова Набокова, которые я не толь-

ко читала, но и слышала от него самого. Он задумчиво остановился на фразе из романа Владимира Максимова, одобрив ее музыкальность: «Еще не вечер», что она означает? Потом, в Москве, всезнающий Семен Израилевич Липкин удивился: неужели Набоков мог быть озадачен библейской фразой? В Тенишевском училище не навязчиво преподавали Закон Божий, но, вероятно, имелись в виду слова не из Священного Писания, а из романа. Перед прощанием я объяснила, что они не сознательно грубо бытуют в просторечии, например: я вижу, что гостеприимный хозяин утомлен еще не прошедшим недугом, но не захочу уходить, как недуг, и кощунственно промолвлю эти слова, что, разумеется, невозможно.

Я пристально любовалась лицом Набокова, и впрямь, ненаглядно красивым, несдержанно и открыто добрым, очевидно посвященным месту земли, из которого мы небывало свалились. Но и он пристально смотрел на нас: неужто вживе есть Россия, где он влиятельно обитает, и кто-то явно уцелел в ней для исполнения этого влияния?

Незадолго до ухода я спросила: «Владимир Владимирович, Вы не охладели к Америке, не разлюбили ее?» Он горячо уверил нас: «О нет, нимало, напротив. Просто здесь — спокойнее, уединенней. Почему Вы спросили?» — «У нас есть тщательно оформленное приглашение Калифорнийского университета UCLA (Ю СИ ЭЛ ЭЙ), но нет и, наверное, не будет советского разрешения». С неимоверной живостью современной отечественной интонации он испуганно осведомился: «Что они вам за это сделают?» — «Да навряд ли что-нибудь слишком новое и ужасное». Набоков внимательно, даже торжественно, произнес: «Благословляю вас лететь в Америку». Мы, склонив головы, крепко усвоили это благословение.

Вот что еще говорит память утренней ночи. Набоков сожалел, что его английские сочинения закрыты для нас, полагался на будущие переводы. Да, его самородный, невидан-

ный-неслыханный язык не по уму и всеведущим словарям, но впору влюбленному пронизательному предчувствию. Он сказал также, что в жару болезни сочинил роман по-английски: «Осталось положить его на бумагу». Откровенно печалился, что его не посетил очень ожидаемый Солженицын: «Наверное, я кажусь ему слишком словесным, беспечно аполитичным?» — мы утешительно искали другую причину. Вера Евсеевна с грустью призналась, что муж ее болезненно ощущает не изьявленную впрямую неприязнь Надежды Яковлевны Мандельштам. Я опровергала это с пылким преувеличением, соразмерно которому, в дальнейшем, Н.Я. круто переменила свои чувства — конечно, по собственному усмотрению, но мы потакали. (Надежда Яковлевна зорко прислушивалась к Борису, со мной любила смеяться, шала остроязычием: я внимала и подыгрывала, но без вялости.)

Еще вспомнилось: Владимир Владимирович, как бы извиняясь перед нами, обмолвился, что никогда не бывал в Москве, — но имя и образ его волновали. Меня задело и растрогало, что ему, по его словам, мечталось побывать в Грузии (Борису кажется: вообще на Кавказе): там, по его подсчетам, должна водиться Бабочка, которую он нигде ни разу не встречал. (Встречала ли я? Водится ли теперь?)

Внезапно — для обомлевших нас, выдыхом пожизненной тайны легких, Набоков беззащитно, почти искательно (или мы так слышали) проговорил: «Может быть... мне не следовало уезжать из России? Или — следовало вернуться?» Я ужаснулась: «Что Вы говорите?! Никто никогда бы не прочитал Ваших книг, потому что — Вы бы их не написали».

Мы простились — словно вплавь выбираясь из обволакивающей и разъединяющей путаницы туманно-зеленых колеблющихся струений.

После непредвиденно долгого ожидания наши сподвижники встретили нас внизу с молчаливым уважительным состраданием.

Перед расставанием, у подножия не достигнутой Кошачьей и Собачьей вершины, очаровательный английский профессор русской литературы продлил мимолетность многоизвестного Вева: «Полагаю, теперь-то у нас достаточно времени вкратце за-бе-жать в паб? (на побывку в паб-овку)».

В Женеве мы еще раз увидели Елену Владимировну. Она радостно сообщила, что говорила с братом по телефону и услышала удовлетворительный отзыв о нашем визите.

Далее — мы погостили у Маши и Вити возле Цюриха, принимая безмерную ласку Татьяны Сергеевны и милых ее внуков, поднимались на автомобиле в Альпы, где нарядные, румяные лыжники другого человечества сновали вверх и вниз на фуникулерах и беспечных крыльях. Среди веселой и степенной толчеи мы, как захребетный горб, бережно несли свою независтливую и независимую инородность. Грустно и заботливо провожаемые Машей и Витей, мы на поезде уехали в Италию, в дарованные красоты Милана, Рима и Венеции. Монтре — не проходило, сопутствовало и длилось, неисчислимо возвышая нас над ровней всемирного туризма. Встречали мы и сплоченные стаи соотечественников, многие нас подчеркнуто чурались, несмотря на посылаемые мной приниженные родственные взгляды. Борис во взглядах не участвовал, но как раз про меня кто-то из них потом рассказывал, что я заносчиво или злокозненно сторонилась сограждан и льнула к подозрительным заграничным персонажам. И то сказать: диковато неслась по Риму, словно взяв разгон со славной «Башни» Серебряного века, чужеродная крылатка Дмитрия Вячеславовича Иванова, и мы за ней — почему-то мимо тратторий в «Русскую чайную». И устроительница нашего итальянского путешествия красавица Ляля заметно выделялась надменностью взора и оперения.

В Милане, в доме итальянки Марии, встречали мы день рождения Бориса. Картинно черноокая и чернокудрая Ма-



рия и гости в вечерних нарядах, не видевшие нас всю свою жизнь, теперь не могли на нас наглядеться и нарадоваться. Сорок четыре свечи сияли на просторном, сложно-архитектурном торте, осыпавшие его съедобные бриллианты увлекли мое слабоумное воображение. Приветы, подарки, заздравные тосты в честь нас и нашей далекой родины так и сыпались на нас. Удивительно было думать, что в это время кто-то корпит и хлопочет, радуя о разлуке людей, о причинении им вреда и желательной гибели.

В Париж мы вернулись самолетом в день моего выступления в театре Пьера Кардена. В метро мы видели маленькие афиши с моим мрачным лицом, не завлекательным для возможной публики. Кроме Марины, вспомогательно восклицавшей «Браво!», кроме прекрасной и печальной, ныне покойной, ее сестры Тани — Одиль Версуа, участвовавшей в исполнении переводов, кроме многих друзей, в зале открыто и отчужденно присутствовали сотрудники посольства. По окончании вечера, нелюдимо и условно пригубив поданное шампанское, как всегда, отводя неуловимые глаза, они утрюмо поздравили меня с выступлением и тут же попеняли мне за чтение в Сорбонне, в Институте восточных языков. Я попыталась робко оправдаться: «Но там изучают русскую словесность». — «Они и Солженицына изучают», — был злоеющий ответ. Я невнятно вякнула, что началу всякого мнения должно предшествовать изучение. Меня снова, уже с упором и грозной укоризной, предостерегли от «врагов», употребив именно это слово. Притихшее множество «врагов», заметно украшенное Шемякиным, стояло с бокалами в отдалении. По неясному упоминанию о театрах и балете я могла ясно понять, что они знают о наших встречах с Барышниковым, прилетавшим из Нью-Йорка по своим делам и успевшим изящно и великодушно нас приветить. Но, во-первых, они объявили мне, что в понедельник в девять часов утра я долж-

на увидеться с посольским советником по культуре, и сразу ушли. Все повеселели и гурьбой направились домой к Тане — в изумительный, одухотворенный историей и Таней, особняк, бывший когда-то посольской резиденцией России.

В автомобиле я расплакалась на «вражеском» плече погрустневшего Степана Татищева.

Была пятница. Взамен субботы и воскресенья наступило длительное тягостное ничто, Париж утратил цвет, погас, как свеча, задутая мощным темным дыханием.

В понедельник, удрученно переждав малое время в знакомом привале кафе, без пяти минут девять, мы опять свиделись с властолюбивым привратником. На этот раз дверь он открыл и закрыл, но, для разнообразия, поначалу не желал пропустить Бориса. Имеющие скромный опыт борьбы с бабкой в доме Набоковых на Большой Морской и самим властолюбцем, мы вошли. Столь близкие и одинокие в покинувшем нас Париже, мы стояли на брусчатой мостовой двора. В десять минут десятого врата отворились, и в черном «мерседесе», в черном костюме, в непроницаемых черных очках, вальжным парадом въехал советник, более сказочный и значительный, чем в «Щелкунчике». Я, в неожиданное соблюдение отечественных правил, не преминула посетовать на гордого привратника, выскочившего кланяться и кивать в нашу сторону. Хозяин кабинета, по обыкновению, выбрал целью зрения не собеседника, а нечто другое — сверху и сбоку. Для приветственного вступления он, без лишнего опрометчивого одобрения, сдержанно похвалил меня за — пока-известное ему отсутствие грубых провокаций. С подлинным оживлением поинтересовался: правда ли, что мы видели Шагала? Кажется, посольство имело к Шагалу неподдельный, подобострастный и, наверное, наивно хитроумный своекорыстный интерес. Мы, действительно, по наущению и протекции Иды, продвигаясь вдоль Луары к югу Франции,

видели Шагала в его доме, мастерской и музее близ Ниццы. Это посещение столь важно и великозначно, для Бориса вопервых, что я не стану его мимоходом касаться, как не коснулась пышных ранимых мимоз возле и вокруг дома Шагала, позолотивших пылью наши ноздри и лица. Но одним лишь целомудренным умолчанием не решусь обойтись.

В ту пору Марк Захарович работал над крупными, заказанными ему, витражами. Пока мы ожидали его, Валентина Григорьевна наставительно предупредила нас, что мы не должны говорить с ее мужем ни о чем печальном, тяжелом, Боже упаси о смерти его знакомых. К тому времени умерли столь многие, в тихой бедности умер Артур Владимирович Фонвизин, но, и утаив все это, мало имели мы веселеньких сведений. Шагал появился — легкий, свежий и светлый, как мимозовая весна за всеми окнами, огорчать его даже малой непогодой было бы грубо и неуместно. Он несколько раз возвращался к работе и вновь приходил. Видя нашу робость, он пошутил: «В сущности, я все тот же — бедный еврей из Витебска, а вот Валентина Григорьевна — не мне чета, она происходит из великой фамилии киевских сахарозаводчиков Бродских». Время от времени из художественных кулис выглядывала строгая красивая дама и весело озирала доuku нашей помехи. Марк Захарович попросил меня прочесть что-нибудь. Среди нескольких стихотворений я прочла посвящение Осипу Мандельштаму — осторожно покосившись на Валентину Григорьевну, Шагал сказал, что помнит Мандельштама по восемнадцатому году в Киеве и, подражательно, закинул вдохновенную голову. Он сказал: «Вы хорошо пишете. Вот описали бы мою жизнь: Вы бы сидели, я бы рассказывал». Прельстительную картину этого несостоявшегося сидения, вблизи дивных, известных нам, картин на стенах, описываю долгим любящим вздохом. (Впоследствии я удивилась, узнав от художника Анатолия Юрьевича Никича, что

пришлась-таки вниманию мастера примеченной им деталью. Он указал на стул: «Вот здесь сидела Ахмадулина и читала стихотворение о Мандельштаме».)

Марк Захарович повел нас к своим витражам, они сильно светились в оконных просветах темного помещения. С лестницы, как с таинственных высот, привычных для его персонажей, он ребячливо поглядывал на нас и, специальной краской, прописывал и дописывал на стекле сложную логику узоров...

...Я подтвердила: «Мы были у Шагала» — и добавила: «Видали мы также, в Швейцарии, Набокова». Советник напряженно подумал и сказал после паузы: «Не знаю».

Затем, уже определенно глядя в сторону запретного континента, он строго осведомился: что за слухи ходят о нашем намерении отправиться в Америку? Он мог иметь в виду «Голос Америки», с ведома нашего и Марины оповестившего о почетном университетском и академическом приглашении, нами принятом. Опять с искренней живостью он захотел знать: если бы это вдруг стало возможным, как мы собираемся там жить? на какие деньги и какое время? Это было очень интересно только в смысле нашей наглости, про остальное было понятно, что бабушка надвое сказала и не то еще скажет. Я объяснила, что у нас есть контракт, условия которого вполне обеспечивают трехмесячное пребывание в США. Терять мне было нечего, и я не скрыла, что до Америки мы намерены побывать в Англии, на фестивале в Кембридже, где мы единственные представители России, и было бы невежливо отказаться. Тут советник сурово спохватился: «Ну, насчет Англии мы еще посмотрим, а на Америку обождите замахиваться, надо обсудить с Москвой». — «А когда вы обсудите?» — «Не знаю, это быстро не делается. Позвоните мне через неделю-другую». — «Все-таки когда?» — «Я сказал». На этой твердой точке мы распрощались и больше не встретили-

лись. Мы позвонили через неделю, потом через другую. Высокопоставленный абонент нелюбезно и раздраженно отвечал, что Москва и он еще не решили. По истечении двух недель, впервые вкушая поступок отчаянного и опасного веселья, я сказала брошенной в посольстве трубке: «Адье, месье». (Так Твардовский, напевая «Баргузина», останавливался, высоко вздымая многозначительный указующий перст: «волю по ч у я!»)

В тот же день мы вылетели в Лондон вместе с Наталией Ивановной Столяровой. Мы подбивали ее пуститься во все тяжкие — в Америку, обещая дружбу и поддержку, но, не вняв урожденно грассирующему гневу и воспитанному английскому произношению бывшей зэка Наталии Ивановны, непреклонные британско-американские чиновники виз ей вежливо не дали. Наши документы и билеты пунктуально лежали в Американском посольстве Великобритании.

В Кембридже я читала стихи, сопровождаемые красивыми, точь-в-точь непохожими на суть переводами. Но суть была в том, что я воочию видела, как лепесток черешни точно попадает в свое отражение.

Мы могли проведать комнату, где студентом жил Владимир Набоков, и своеобразные уголья его профессора, но, иносказательно выражаясь, остереглись развязно уподобиться давнему застенчивому гостю и, уже в третий раз, ступить неосторожной ногой в помещенный на полу чайный сервиз.

В Лондоне, в пабе, куда, говорят, захаживал Диккенс, как бы с ним и со всемирно сущими друзьями мы отметили мое сорокалетие.

Простор близлежащей белой бумаги можно было бы посвятить чудесам Америки и чуду всемогущей Москвы, вдруг ослабевшей и, после скрытого от нас умственного труда, разрешившей продление наших советских виз. Сотрудники консульства в Сан-Франциско, в охранительном присутствии

двух элегантных дам — профессоров славистики, вернули нам взятые для изучения дерзко растолстевшие паспорта, наш напряженный интерес к ним их забавлял: за последствия самовольного странствия отвечала Москва. Дамам, с пронизательным ироничным радушием, предложили армянского коньяка, меня попросили поделиться впечатлениями, откровенно благоприятными.

В отличие от любимого мной Эмпайр стейт билдинга, нью-йоркский консул, или заместитель его, недоброжелательно не скрывал, что наше посещение уже излишне, но наша поутихшая удаль уже репетировала возвращение. На стене висел рекламный плакат: притворно гостеприимный и великолепный Калининский проспект, сосед нашей Поварской. Не глядевшее на меня лицо все же спросило: «Чему это вы улыбаетесь?» — «Да вот думаю: пора мне занять мое место в очереди в Новоарбатском гастрономе». Так оно вскоре и вышло.

В Париже бледный молодой человек, должный поставить последнюю отметку в наших паспортах, взирал на меня с явным ужасом и затасанным справедливым укором. С искренним сочувствием я сказала ему: «Мы вас специально не предупредили, опасаясь неприятностей для вас. Мне очень жаль, если мы вам чем-нибудь повредили. Но вы же не виноваты, вы ничего не знали. От начальства мы не таились, оно знало». Молодой человек подвижнически прошептал: «Оно — откажется. Вы лучше о себе подумайте».

Все это и многое другое давно миновало.

Светало, темнело, скоро опять рассветет. Мы с Собакой выходили в яркое совершенное полнолуние. Луна, недавно бывшая вспомогательным месяцем, как ей и подобает, преуспела много больше, чем я.

В конце прошлого года Борис и я оказались в Женеве — участниками равно глубокомысленного и бессмысленного

конгресса. Азарик Плисецкий, с которым навещали мы дом Набокова, работает в Швейцарии у Мориса Бежара. Мы увидели замечательную, тревожащую балетную постановку «Короля Лира». Пугающе одинокий, поверженный, безутешный старый Король и был сам Бежар. (То-то бы осерчал Толстой.)

Вместе с Азариком, в его машине, медленно пронеслись мы мимо Лозанны, мимо Веве, где добрый английский профессор уже не мог ожидать нас на дороге и заманивать в паб.

Мы поднялись на кладбище Монтре и долго недвижно стояли возле мраморных могильных плит Владимира Владимировича и Веры Евсеевны Набоковых.

Внизу ярко, по-зимнему серьезно, мерцало Женевское озеро, цветные автомобили мчались во Францию, в Италию, в Германию — кто куда хочет. Справа, в невидимой прибрежной глубине, помещался замок «Шильонского узника». Пространная лучезарная округа, ограниченная уже заснеженными горами, отрицала свою тайную связь с Петербургом, станцией «Сиверская», с Вырой, Рождественом, солнце уходило в обратную им сторону.

Наверное, нет лучшего места для упокоения, чем это утешное, торжественное, неоспоримое кладбище. Но нам, остро сведенным тесным сиротским братством, невольно и несправедливо подумалось: «Почему? За что?»

На обратном пути мы помедлили возле отеля «Монтре-Палас». Праздничная чуждая суতোлка не иссякла: швейцары и грумы распахивали дверцы лимузинов, отводили их на место, уносили багаж, на мгновение открывали зонты над нарядными посетителями, дамы, ступая на ковер, придерживали шляпы и шлейфы. Нам отель показался необитаемо пустынным, громоздко ненужным.

Тогда, в 1977 году, наше путешествие вызвало нескончаемые расспросы, толки и пересуды. Все наши впечатления

превысила и на долгое время остановила весть о смерти Владимира Владимировича Набокова, настигшая и постигшая нас вскоре после возвращения. Пределы этой разрушительной вести и сейчас трудно преступить.

Дом на Большой Морской давно опекаем, жива спасенная Выра, книги Набокова можно взять на прилавке и библиотеке, но, напоследок согбенно склоняясь над многодневными и многонощными страницами, я помышляю о чем-то большем и высшем, имеющем быть и длиться. Так или иначе, все это соотнесено с названием вольного изложения значительной части моей жизни.

Ноябрь 1996  
в *Москве*



## СРЕДИ ДОЛИНЫ РОВНЫЯ...

Недавно я получила от глубокоуважаемой госпожи Нелли Биуль-Зедгинидзе книгу: «Литературная критика журнала «Новый мир» А.Т. Твардовского (1958—1970 гг.)» — с предшествующей надписью: «На память об эпохе». Весомый и обстоятельный том содержит замечательно тщательное, кропотливое и доблестное исследование всех свершений и злключений знаменитого журнала. В многотрудном реестре действует множество событий, перипетий, грозных вмешательств и мелких козней, присутствуют неисчислимыя лица и характеры, мельком упоминаюсь даже я. Это незначительное обстоятельство живо вернуло мне упомянутую эпоху — «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», имевшее некоторые промашки и огрехи. На соотношение с ним, пусть косвенное, уходила жизнь, но кое-что спасительно оставалось на разживу. Исчерпывающая серьезность книги и других трудов освобождает меня от многозначительных рассуждений, позволяя легкость или легкомыслие воспоминаний.

Долгое время я соседствовала с Александром Трифоновичем Твардовским в дачном подмосковном поселке. Его придирчивость к новому литературному поколению поначалу распространялась и на меня, но вскоре сменилась прямой милостью и снисходительностью. Это соседство казалось моему отцу несоразмерным и непозволительным: Василий

Теркин был главным сподвижником и любимцем его солдатской жизни. После войны, раненый и контуженный, он часто бредил и, не просыпаясь, громко читал отрывки из поэмы, просвещая мои детские ночи. Впоследствии мы в два голоса читали классическое стихотворение «Из фронтовой потертой книжки», до сих пор мной любимое.

Мои вид и повадка его смущали. Однажды, уже расположившись ко мне, он робко спросил: «Уж если непременно надо носить брюки, — нельзя ли — чтобы черные?»

Мое пылкое отношение к Пастернаку, изъясненное и в стихах, Твардовский находил чрезмерным, незрелым и витиеватым. Стихи, с прозой внутри, дороги мне и теперь: они живые сохранили для меня случайную встречу с Борисом Леонидовичем глубокой переделкинской осенью 1959 года. В посвящение ему я уже была исключена из Литературного института, мелкие невзгоды и угрозы льнули ко мне, но что значил этот воспитующий вздор вблизи его лица, голоса, ласкового приглашения зайти, которому я, от обожания, не откликнулась? Гонения и издевательства, павшие на Пастернака, Твардовский близко, но неопределенно принимал к сердцу. Не знаю, мог ли он тогда примерять к себе крайнюю степень возвышенного, оскорбленного, недоумевающего одиночества, разрушающего организм, причиняющего болезнь и смерть.

По мере жизни и бесед его рассуждения об Ахматовой и Цветаевой становились все мягче и проникательнее. Анна Андреевна особенно понравилась ему в Италии, он покорно принял на себя власть ее стати и голоса, отметив, как, отвергнув поднесенный бокал, она величественно и твердо сказала: «Благодарю вас, но дайте-ка мне рюмку водки».

Нас сблизила страсть к Бунину, открытому ему в молодости смоленским учителем. Меня он недоверчиво и ревниво спросил: «Это вы-то знаете Бунина?» Я и тогда говорила, что

сочинения Бунина возвращают мне отъятую урожденность земли и речи, осязаемую и обоняемую как явь. Об унижении запрета ответить Бунину он умалчивал, но видно было, что оно не заживало.

Твардовского забавляло и чем-то радовало, что, несмотря на его повторяющиеся приглашения, я не печаталась в «Новом мире»: чем приветливее он был, тем менее приходило мне в голову ему докучать. Стихов ему я тоже не читала. Однажды он настоял, и я прочла длинное стихотворение, посвященное Цветаевой. Он удивился: «И все это вы помните наизусть?»

Чаще всего мы встречались в милом, радушном доме Верейских: с Орестом Георгиевичем, Ориком, Твардовский был очень дружен еще с военных времен. Являлись гости, завсегдатаями были Наталия Иосифовна Ильина и Александр Александрович Реформатский, жизнь щедро обманывала нас шутками и радостями застолья. Иногда и я рассказывала смешные истории, угождая Твардовскому простонародными словечками и оборотами, изображая разных персонажей, подчас зловещих. Про последних он как-то со вздохом обмолвился: «Эх, делали бы они столько зла, сколько надобно им для прожитку, так нет — всегда с запасом, с излишком».

Твардовский неизменно называл меня: Изабелла Ахатовна, выговаривая мое паспортное имя как некий заморский чин. Однажды, опустившись передо мной на колени, он важно-шутливо провозгласил: «Первый поэт республики у ваших ног». Я отозвалась: «А вы все это называете республикой?»

Думаю, что первым поэтом условной республики он себя ответственно и тяжело ощущал. Так и в учебниках было объявлено, так он и смотрелся: непререкаемо-крупный, недоступный для бойкой докуки. Но время это, чтимое окружающими, утяжелялось и оспаривалось препонами, придирадками, стопорами, искушениями уловок, уступок, косвенных по-

исков выхода. Для преодоления всего этого было бы сподручней уродиться чем-то более мелким, прытким и уклончивым. Русский язык был его исконным родовым владением, оберегаемым от потрав и набегов. И перу подчас приходилось опасаться сторонней опеки, но, в добром расположении духа, говорил он замечательно. Его полноводная речь наступательно двигалась, медля в ложбинах раздумья, вздымаясь на гористые подъемы дееспричастных оборотов, упавая с них точно в цель. Некоторые слова были для меня прародительно новы — я запоминала и спрашивала Даля.

Казалось бы, это была избранная достопочтенная среда, оснащенная дачными угождениями и достатком. Но время продиралось сквозь изгороди и садовые заросли, вмешивалось в обеденные ритуалы террас разговорами об арестах и обысках. Будоражили мысль и совесть прибывающие свежие таланты, особенно — благородная проголодь гонимых питерских корифеев, по счастью, еще с юности моей, меня привлекавших.

Но, конечно, главное было — Солженицын. Его разразившееся явление потрясло и переменяло жизнь, во всяком случае мою.

Неповоротливая, привычно удушающая эпоха перестала казаться непоправимо бесконечной. Раньше никто, даже самым смелым помыслом, не надеялся ее пережить. Вдохновению слабых надежд сопутствовали сильные дурные предчувствия.

Уезжая в редакцию и возвращаясь, Твардовский был нелюдим и мрачен. Окрестная природа предлагала свои кроткие утешения. (Одно мое описание ее благолепия кончалось так: «Никто не знал, как мука велика за дверью моего уединенья».)

В зимнем лесу я часто встречала приметные следы Твардовского. Он шел медленно, грузно, там, где он останавли-

вался, его палка оставляла на снегу глубокую темную вмятину, как бы помечавшую место его особенно печального раздумья. Его подавленность я относила не только к «Новому миру», но и ко всему ходу жизни, к молодости, к роковому раскулачиванию его семьи, об этом — упаси Бог! — мы никогда не говорили. Вернувшись с похорон матери, он долго молчал, потом удрученно выговорил: «Только копань остался от всего, что было».

(Во внимательных скобках замечу, что воспоминания Ивана Трифоновича Твардовского, появившиеся в печати много позже, поразили меня силой и простотой художественного слога. Я возразила Наталье Ильиной, что я не углядела в них укоризны, бросающей тень на не сумевшего помочь брата. Только горе, безысходное общее горе вставало из скорбного бесхитростного повествования. Мое сострадание к Твардовскому, постоянно несшему испепеляющую, не прощенную себе вину, лишь усилилось и многое прояснило в его тяжелых молчаниях и умолчаниях.)

Как-то мы сидели в поздних сумерках, при сильном запахе влажных предосенних флоксов. Бледно-голубые глаза Твардовского серебряно светились. Он таинственно и тихо заговорил: «А вот что случилось у нас на Смоленщине с одним кузнецом. Только пробило полночь, как слышит он: кто-то стучит кнутовищем в кузню и покрикивает, да так протяжно, властно: «Кузнец, а кузнец, отвори ворота». Делать нечего, кузнец отворил. Видит тройку коней, у седока лицо темное, сокрытое. Тот ему, словно в насмешку: «Что, кузнец, можешь подковать моих лошадей?» Спорить не стал, начал с левой пристяжной. Заглянул ей сбоку в морду, а это и не морда вовсе, лицо Маланьи, что о прошлый год в пруду утопилась. Видит кузнец: дело-то нечисто, да отступать боязно. А правая пристяжная — точь-в-точь сосед Степан, его на сенокосе молоньей убило. Коренник не хотел себя показывать, воротил

рожу, но скалился по-знакомому — был у нас пришлый лихой мужик, озоровал на дорогах. Седок поблагодарил: «Ты — добрый кузнец, откинь-ка фартук, я тебе награды насыплю». Насыпал в большой кожаный фартук видимо-невидимо золота — и укатил. Кузнец очухался, заглянул в фартук, а там не золото, а — неловко сказать — говно. Вот: подсобил вражьей силе».

В доверительном, волнующем рассказе я не усомнилась. Сторонне желалось для Твардовского другой жизни, другого детства, с ребятишками, скачущими в ночное, с шепотами у костра на Бежином или другом лугу, да, видать, не обойтись нам без вмешательства «вражьей силы».

История мне понравилась. Однажды, при многих людях, я попросила рассказчика повторить ее. Он сурово, с гневом и обидой, меня одернул, словно я дерзнула предать грубой огласке доверенную мне тайну. Потом я прочла у Бунина очень похожую запись, но одно другому не мешает: в разных губерниях водятся родственные небылицы, легко принимаемые за собственный опыт.

Все племя леших, водяных, домовых и прочих их сородичей Твардовский по-крестьянски, не без тайного уважения, величал: «ОНИ». Я сказала: «Ваши «ОНИ» — существа, в общем, игривые и безобидные, и креста боятся. А я, вкратце, говорю «ОНИ» про других, действительно страшных». — «Это про кого же?» — помрачнел и напрягся Твардовский. «Да про всех вредителей живой жизни, вам ли не знать? Это «ОНИ» глумятся над вами и вашим журналом, всем людям от них продыху нет, и от них не открестись». Твардовский очень осерчал и прикрикнул на меня: «Вы не смеете об этом судить! Вы — главного не видите. А в главном — мы всегда были правы!» Это схематическое отвратительное главное давно мне наскучило, я разозлилась: «А вы себя в «ОНИ» зачислили? Все я вижу! Для «НИХ» главным всегда было унич-

тожать, душегубствовать, раскулачивать!» Твардовский поднялся, стукнул палкой: «Если бы вы были в моем доме, я попросил бы вас выйти вон!» Размолвка происходила у Антокольских, и хрупкая доблестная Зоя Константиновна бросилась на мою защиту: «Александр Трифонович, пока еще вы в моем доме и сами можете выйти, если хотите». Это было так неожиданно и слишком, что все невольно смягчились. Антокольский засмеялся, Твардовский сел, опершись подбородком на набалдашник подобрешней палки. Я подытожила: «Александр Трифонович, разговор с вами вот так выглядит — я построила из рук треугольник, широко разведя локти и сомкнув пальцы, — начинаешь на равных и заходишь в тупик. А следовало бы вот так», — я свела локти и обратила отверстые ладони к предполагаемому мирозданию. «Это что же за фигура такая?» — заинтересовался он. «Это наглядное пособие я сейчас специально для вас придумала». — «Ну, это еще куда ни шло, а я было испугался, подумал: сюрреализм».

Некоторые невинные «сюрреализмы» с нами порой случались. Вьюжным мартовским вечером сидели мы у Верейских. Твардовский пришел с опозданием и, по обыкновению последнего времени, выглядел угрюмым, раздражительным, утомленным. Рюмка ненадолго его оживляла. Грустно было видеть, как малою помощью вина пытался он облегчить неодолимую душевную тяжесть. Расслабившись в тепле при близкой заоконной выюге, потягивая вино, все несколько рассеянно слушали разговорившегося Твардовского, то и дело возвращавшегося к снedaющей его теме «Нового мира». Взоры были обращены к собаке Дымке. Разлегшись у камина, чуя ласковое внимание, она переворачивалась с боку на бок, укладывалась на спину и, закинув голову, оглядывала зрительскую публику. Пламя отражалось в ее длинной серебряной шерсти. Ее отвлекающее соперничество стало раздражать Твардовского, признававшего в сокровенном, насущ-

ном. Он заметил, что собаке так же естественно находиться в сторожевой будке, как прочей скотине в хлеву. Вдруг у калитки позвонили. Оказалось, что за мной заехала искавшая меня компания. В снежных вихрях я различила моего дорогого, задушевного друга художника Юрия Васильева со спутниками. Он объяснил, что это — замечательное художественное семейство Дени (Денисовых), но главная удача и радость заключалась в том, что вместе с ними прибыла обезьяна Яша — для моего потрясения и восхищения. Мы направились к дому, где я жила. Твардовский заявил, что крепко привадился к главенствующему обществу животных и теперь — куда обезьяна, туда и он.

Наскоро собрали на стол. Яша, в красном кафтанчике, с неудовольствием проверил угощение. Художник Дени благодарил Твардовского: «Я знаю, что это не вы, но все равно спасибо, низкий поклон вам от всей земли русской!» Когда его уверили, что подделки нет, он впал в неистовое вдохновение декламации и поминутно простирал руки к окну, к буре и мгле. Я бы не удивилась, если бы нас проведаль седок, правящий тройкой. Жена художника оказалась прекрасной певуньей и несколько раз спела «Летят утки...», чем очень растрогала и утешила Твардовского. Часто встречаясь с ним, я редко видела его лицо ясным, открытым, словно он привык оборонять его урожденное беззащитное добродушие от любопытного или дурного глаза. Твардовский затынул: «Славное море, священный Байкал...» Кажется, этой замечательной, любимой им, песней он проговаривался о чем-то подлинно главном, при словах «волю почую...» усиливая голос и важное, грозное лицо, высоко вздымая указательный палец.

Напитки быстро иссякали, я вспомнила о початой бутылке джина. Твардовский гнушался чужестранными зельями, но сейчас с предвкушением, большим отвращения, смотрел на последнюю полную рюмку. В это время обезьяна Яша, уче-



ный человеческим порокам, схватил рюмку и дымившуюся «Ароматную» сигарету Твардовского и вознесся на шкаф, где и уселся, лакомясь добычей и развязно помахивая ножкой.

Твардовский всерьез обиделся и стал одеваться. Собрались в долгую дорогу и другие гости. Со мной остались Яша и молоденькая дочка Денисовых, красивая молчаливая девочка, столь печальная, что грусть ее казалась не настроением, а недугом. Она сразу же ушла в душ и долго не возвращалась. Яша, привязанный поводком к ножке шкафа, смотрел на меня трагическим и неприязненным взглядом. Я отвязала его, и он больно ущипнул меня за щеку. Я хотела уйти, но он догнал меня и обнял за шею маленькими холодными ладошками: никого другого у него не было в чужой, холодной, метельной ночи. Мне сделалось нестерпимо жалко его крошечного озябшего тельца, да и всех нас: Юру Васильева, недавно упавшего с инфарктом на пороге Союза художников после очередных наставлений, эту девочку, осененную неведомым несчастьем, Твардовского с его «Новым миром», обреченно бредущего сквозь пургу. Все мы показались мне одинокими неприкаянными путниками, и дрожащая фигурка Яши как бы олицетворяла общее разрозненное сиротство.

В 1965 году затевалась помпезная и представительная поездка русских поэтов во Францию. Я о ней и не помышляла: за мной всегда числились грехи, но Твардовский решительно настаивал на моем участии. Он взял меня с собой в ЦК. Я дичилась, и он крепко вел меня за руку по дремучим коридорам. Встречные приветствовали его по-свойски, без лишнего подобострастия. В одном кабинете он ненадолго оставил меня. Беседа была краткой: «Есть решение: вы поедете. САМ за вас партийным билетом поручился, так что — смотрите».

«Ну вот, — засмеялся Твардовский, — отправимся мы с вами, как Левша, смотреть заграничные виды».

Парижа, пленительно обитавшего в воображении, я как бы не застала на месте. Нет, Париж, разумеется, был во всем своем избыточном блеске, загодя были возожжены Рождественские елки, витрины сияли, беспечные дамы и господа посиживали в открытых кафе. Я двигалась мимо всего этого, словно таща на спине поклажу отдельного неказистого опыта, отличающего меня от прочей публики. Ночью я смотрела в окно на огни бульвара Распай, на автомобили с громко переговаривающимися и смеющимися пассажирами, на высоких красавиц, беззаботно влачивших полы манто по мокрому асфальту, и улыбалась: «Превосходно, жаль только, что — неправда». Опровергая подозрение в нереальности, утром в номер подавали кофе с круассанами, Эйфелева башня и Триумфальная арка были литературны, но вполне достоверны. Меж тем советская делегация привлекала к себе внимание, в основном посвященное Твардовскому. Каждое утро, в десять часов, в баре отеля его поджидали журналисты. Он отвечал им спокойно, величественно, иногда — раздраженно и надменно: дескать, куда вам, французам, разобраться в наших особых и суверенных делах. На пресс-конференциях наиболее «каверзные» вопросы — главным образом об арестованных Синявском и Даниэле — храбро принимал на себя Сурков. Его ораторский апломб, ссылавшийся на новые изыскания следствия и точное соблюдение отечественных законов, туманил и утомлял здравомыслие прытких корреспондентов, и они отступались. Торжественное выступление русских поэтов в огромном зале и отдельный вечер Вознесенского и мой прощали с успехом.

Усилиями Эльзы Триоле была издана по-французски обширная антология русской поэзии, ее покупали, с присутствующими авторами искали знакомства. Официальным ходом громоздких, пышно обставленных событий, да, по моему, и всем положением советской литературы во мнении

французского общества, единовластно ведала Эльза Триоле, Арагон солидно и молчаливо сопутствовал. Твардовский тайком бросал на них иронические проницательные взгляды. Эльза Юрьевна не скрывала своей неприязни ко мне: на сцене приостановила мое, ободренное аплодисментами, чтение, потом, у нее дома, когда Кирсанов, переживавший ее ко мне немилость, попросил меня прочитать посвящение Пастернаку, с негодованием отозвалась и о стихах, и о предмете восхищения. Все это не мешало мне без всякой враждебности принимать ее остроту, язвительность, злоязычие за некоторое совершенство, точно уравновешивающее обилие обратных качеств, существующих в мире. Она удивилась, когда я похвалила ее перевод «Путешествия на край ночи» Луи Селина, тогда мало известный.

Вынужденно соблюдая правила гостеприимства, Триоле и Арагон пригласили меня и Вознесенского на премьерный концерт певца Джонни Холидея. Среди разноликой толчеи, сновавшей вокруг нашей группы, выделялась экспансивная дама русского происхождения. Восклицая: «Наш Трифоньч!», она постоянно норовила обнимать и тискать Твардовского, от чего он страдальчески уклонялся. Она объявила мне, что появиться в театре «Олимпия» без шубы — неприлично и позорно для нас и наших приглашителей. Обрядив меня в свое норковое манто и атласные перчатки, она строго напутствовала меня: «Не вздумай проговориться, что манто — не твое». Наши места были на балконе, и сверху я с восхищением озидала парижские божества, порхающие и блистающие в партере при вспышках камер. Эльза Юрьевна утомленно прикрыла рукой лицо от одинокого фотографа «Юманите». С пронзительной женственностью оглядев меня, она тут же спросила: «Это манто вы купили в Париже?» — «Это не мое манто», — простодушно ответила я, о чем, неодобрительным шепотом, было доложено Арагону. Жалея бумаги, все же до-

бавлю: в Москве я должна была передать маленькую посылку сестры Лиле Юрьевне Брик. Было очень холодно, и моя приятельница закутала меня в свой каракуль. «Это манто вы купили в Париже?» — незамедлительно спросила Лиля Юрьевна. Ответ был тот же. Сразу зазвонил телефон из Парижа, и в возбужденной беседе сестер слово «манто» было легко узнаваемо.

В Париже Твардовский чувствовал себя скованно, тяжело-весно, не сообщительно. И Париж был не по нему, и мысли о Москве угнетали. Как-то посетовал: «Не только говорить — мы и ходить, как они, не умеем, словно увечные на физкультур-параде. А ведь раньше любой наш повеса здесь прыгал и болтал не хуже, чем они».

Все же мы частенько захаживали в кафе, и Твардовский дивился понятливости официантов. Однажды в «Куполе» к нам, при Триоле и Арагоне, присоединился веселый и элегантный Пабло Неруда. Меня удивило, что к моей сухости к коммунистическим идеалам он отнесся без всякой предвзятости, радостно заказывал рюмки и купил для меня фиалки у цветочницы. Потом он посвятил мне изящное стихотворение, полученное мной после его смерти.

Твардовский тихонько жаловался, что за ним по пятам ходит Сурков, остерегающийся возможных непредвиденностей. Я, тоже тихонько, посоветовала: «А вы — улизните».

Однажды Твардовский не спустился к журналистам ни к десяти часам, ни позже. В отеле его не было, служащие ничего о нем не знали. Сурков был охвачен паникой. Я робко спросила: «Что с вами, Алексей Александрович? На вас лица нет». Он разъяренно ответил: «У меня ЧП!» — и ехидно добавил: «А вы часом не в курсе дел?»

Твардовский появился после полудня, отмахнулся от Суркова и, не сказав никому ни слова, поднялся к себе в номер. Вечером мы должны были идти на прием в студенческий

клуб. Никто не решался к нему обратиться, меня послали за ним. Как ни странно, он был в неплохом настроении: ему удалось-таки увильнуть от присмотра. Оказалось, что в пятом часу утра, видимо, «волю почуя!», он вышел из отеля и пошел в неизвестном направлении. Несмотря на ранний час, в Париже было достаточно многолюдно. Он сам добрался до Сены и в предутренних сумерках разглядывал поразившие его химеры Нотр-Дам. Многие заведения были открыты. Возле одного из них он быстро подружился с толпой приветливых оборванцев, двое из них говорили по-русски. «Да и остальных я стал понимать», — заметил он с гордостью. Угощая их вином, он вместе с ними достиг «Чрева Парижа», где отведал лукового супа. (К другим парижским разносолам он относился с осторожностью и предубеждением, на одном обеде до дурноты испугавшись устриц.) «С хорошим народом познакомился, — сказал он с удовлетворением, — хоть один раз приятно провел время».

Вечером, побаиваясь Суркова, мы старались держаться вместе. Когда стали обносить напитками, к удивлению собравшихся, он и я выбрали «пепси-колу». «Хмель-то входит в это пойло? — брезгливо спросил Твардовский. — Недаром у нас ругают эту гадость». Сурков не знал что и думать о нашем маневре.

На следующий день Твардовский твердо объявил о своем возвращении в Москву. Перед отъездом он застенчиво сказал мне: «Пожалуйста, облегчите мое затруднение, возьмите у меня французские деньги, они мне больше не нужны, а вы остаетесь. Не могу я смотреть, как вы на каблуках ходите, — ради меня, купите себе ботинки». Я засмеялась: «Александр Трифонович, я же не ношу ботинки». — «Ну, тогда полуботинки», — жалобно попросил он.

Он и потом, в Москве, так же смущенно, потупив лицо, предлагал мне помощь, ссылаясь на то, что время трудное, и

не только ему, но и мне не удастся к нему приноровиться. Может быть, мне больше, чем другим, выпало слышать мягкие, уступчивые, вопросительные изъявления его голоса.

Все внимательно следили за событиями в «Новом мире», но развитие их явственно читалось в его внешности: поступь утяжелилась, следы палки в лесном снегу становились все более частыми и глубокими, ослабевшая открытость лица стала как бы пригласительной для грядущих невзгод.

Иногда обманное воображение самовластно рисует другую, шекспировскую картину его ухода: вольный и статный, очнувшийся в урожденном великанстве, свободно и вальяжно входит он в ничтожный кабинет и говорит: «Ну, вот что, ребята, вы надо мной всласть потешились, с меня довольно. Вы — неизвестно что за людишки, а я — Твардовский, и быть по сему».

Это измышление для меня отчетливей и убедительней унижения, угасания в их же Кремлевской больнице и всеми оплаканной смерти. В нем было много всего, и что-то важное, сокрытое, самовольное, как счастливая парижская прогулка, утешительно для нас, он оставил себе в никем не погранное, никому не подвластное владение.

*Декабрь 1996*

## Комментарии

с. 4 Стихотворение впервые опубликовано в журнале «Континент», 1998, № 97.

Эпиграф — начальная строфа стихотворения Б. Пастернака «Уроки английского» (1917).

с. 4 *Дездемона* — персонаж трагедии Уильяма Шекспира «Отелло» (1604).

с. 4 *Эдем* — согласно Библии, райский сад, место первоначального обитания людей.

с. 4 *Вертушинка* — речка с таким названием встречается в рассказе М. Пришвина «О чем шепчутся раки», в рассказе И. Соколова-Микитова «Вертушинка», в стихотворении А. Яшина «Речка Вертушинка».

с. 6 Стихотворение впервые опубликовано в журнале «Континент», 1998, № 97.

Малеевка — Дом творчества писателей Малеевка расположен в 84 км от Москвы неподалеку от старинного русского города Руза. Это бывшая усадьба графа Воронцова, которой затем владел купец Малеев, продавший ее издателю и редактору журнала «Русская мысль» В.М. Лаврову. Именно он связал Малеевку с миром литературы и искусства.

с. 11 *Вербное Воскресенье*, или вход Господень в Иерусалим — один из двенадцатых церковных православных праздников, отмечаемый в воскресенье перед Страстной Седмицей.

с. 12 *Прощеное Воскресенье* — последнее воскресенье перед началом Великого Поста.

с. 12 *Чистый понедельник* — первый день Великого Поста.

с. 20 *Серов* Валентин Александрович (1865—1911) — русский живописец и график, мастер портрета. В 1878—1879 гг. в Москве брал уроки рисунка и живописи у художника Ильи Ефимовича Репина (1844—1930), который ввел Серова в Абрамцевский кружок художников, работавших в усадьбе предпринимателя и мецената Саввы Ивановича Мамонтова (1841—1918). В Абрамцеве в 1887 г. Серов написал знаменитый портрет старшей дочери Мамонтова Веры (1875 — 1907) — «Девочка с персиками».

с. 21 *Крылатый лев* Святого Марка с первой четверти IX века является символом Венеции. Бронзовый лев расположился на вершине одной из двух колонн из красного мрамора на площади Пьяцетта, примыкающей к площади Сан Марко со стороны лагуны.

с. 21 *Кузнецкий мост* — улица в центре Москвы. До 1917 г. славился как улица мод, портных, парикмахеров и центр торговли иностранными товарами.

с. 23 *Донское казачье войско*, возникшее во второй половине XVI в., размещалось на отдельной самоуправляемой территории и несло охрану южных границ Российской Империи, а также участвовало в военных действиях совместно с русской армией. Упразднено в 1918 г.

с. 24 *Монтекки* и *Капулетти* — враждующие между собой веронские семейства, «равные знатностью и славой», в трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (1595).

с. 24 *Потьма, Кольма* — адреса лагерей ГУЛАГа.

с. 28 *Марсово поле* — площадь в центре Санкт-Петербурга.

с. 28 «*Крым или Давос*» — микроклимат южного берега Крыма, и высокогорной долины, в которой расположен швейцарский курорт Давос, еще в XIX в. признан медициной полезным для больных легочными заболеваниями.

с. 29 *Врубель* Михаил Александрович (1856—1910) — русский художник.



с. **29 Дали** Сальвадор (настоящее имя Сальвадор Фелип Жасинт Дали Доменек) (1904—1989) — испанский художник-сюрреалист.

с. **31 Зевс** — в древнегреческой мифологии верховное божество, глава олимпийской семьи богов, бог неба, грома и молний, ведающий всем миром.

с. **32 Радедорм 5** (международное наименование: нитразепам) — снотворное средство.

с. **32 Драконт** (VII в. до н.э.) — древнейший афинский законодатель, составивший в 621 г. до н.э. свод законов, которые отличались крайней жестокостью.

с. **32 Святой Георгий** Победоносец — христианский святой, великомученик.

с. **32 Геракл** — величайший герой древнегреческой мифологии, прославившийся своими многочисленными подвигами. Латинская форма имени Геракл — Геркулес, под которым он был известен в Древнем Риме.

с. **32 Пекин** — столица Китайской Народной Республики.

с. **36 Иммортель** — французское слово, означающее «бессмертник». Так называются растения, высушенные цветки и соцветия которых сохраняются почти такими же, какими они были в живом состоянии.

с. **36 «Читатель ждет уж...»** — цитата из Пушкина.

с. **36 «...июня день шестой.»** — день рождения А.С. Пушкина (26 мая по старому стилю).

с. **36 «...полдень так сотряс привет Петра и Павла...»** — ежедневно в полдень с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости Санкт-Петербурга производится пушечный выстрел. Этот обычай существует с 1730-х гг.

с. **37 «...возьми ее скорей!»** — цитата из Пушкина.

с. **38 Штрумфе Ингрида** — историк, хранительница музейных фондов Вентспилского краевого музея, встречалась с

Б. Ахмадулиной и Б. Мессерером во время их визитов в Латвию в апреле и в августе 2001 г.

с. **38** *Вента, Лиелупе* — реки в Латвии. Вентспилс — город-порт на балтийском побережье Латвии.

с. **39** *Домский собор в Риге* — самый большой кафедральный собор Прибалтики, основанный в 1211 г. Является главной достопримечательностью и символом города.

с. **40** Американский изобретатель Томас Алва *Эдисон* (1847—1931) и русский электротехник Павел Николаевич *Яблочков* (1847—1894) внесли основополагающий вклад в создание системы электрического освещения.

с. **41** *Тартар* — ад; в древнегреческой мифологии — подземное царство, преисподняя.

с. **41** *«опальный Театр»* — Московский театр драмы и комедии на Таганке под руководством Ю.П. Любимова. «Антимиры» — поэтическое представление по стихам А. Вознесенского (премьера — февраль 1965 г.), спектакль был сыгран актерами Театра на Таганке около 2000 раз.

с. **42** *Пруст Марсель* (1871—1922) — французский писатель, автор эпопеи «В поисках утраченного времени».

с. **42** *Сван*, барон де Шарлюс — персонажи эпопеи М. Пруста «В поисках утраченного времени». Комбрэ (мифический город, возникший на основе детских воспоминаний писателя) и Руан (город на севере Франции, центр Нормандии) входят в число мест, где разворачивается действие этой эпопеи.

с. **44** Русско-американский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1987) *Иосиф Бродский* (1940—1996) согласно его завещанию похоронен на протестантском участке кладбища на острове Сан-Микеле в Венеции.

с. **45** Впервые опубликовано в журнале «Знамя», 2006, № 3. «Вишневый сад» — комедия в 4-х действиях, написанная А.П. Чеховым в 1903 году.

с. 45 Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) оставил воспоминания об А.П. Чехове (1950).

с. 46 *Таганрог* — город, в котором в 1860 г. родился А.П. Чехов.

с. 46 *Ich sterbe* (нем.) — «я умираю», одна из последних фраз умирающего А.П. Чехова, обращенная к вызванному врачу.

с. 46 *Даль* Владимир Иванович (1801—1872) — врач, писатель, лексикограф, автор «Толкового словаря живого великорусского языка». Находился при умирающем А.С. Пушкине, оставил воспоминания о последних днях жизни поэта, получившего смертельное ранение во время дуэли.

с. 47 В стихотворении, написанном перед поездкой автора в город Пермь в качестве почетного гостя Третьего Международного фестиваля «Дягилевские сезоны: Пермь—Петербург—Париж» (май 2007 г.), использованы первые три шестистишия стихотворения «Слово» (1965).

с. 47 Город Елабуга ассоциируется с гибелью поэтессы М. Цветаевой, которая 31 августа 1941 г. покончила там с жизнью.

с. 47 В годы царствования Петра I река Кама стала важной водной магистралью, ведущей с Урала к центру страны.

с. 48 *30 сентября* (17 сентября по ст. стилю) — День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софьи.

с. 48 В Пермской художественной галерее хранится большое собрание пермской резной деревянной скульптуры (в том числе расписанные фигурки ангелов), относящейся к XVIII—XIX вв.

с. 48 Апостол Петр трижды отрекся от Иисуса «прежде чем пропоет петух». Тем самым подтвердились пророческие слова Спасителя («скорбевший в полночь в Иерусалиме»), «сказанные Им на Тайной Вечере.

с. **50** *Сочельник* — день навечерия (канун) праздников Рождества Христова и Богоявления Господня (Крещения Господня).

с. **51** *Тропарь* — в Православной Церкви краткое молитвенное песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется священное лицо.

с. **51** *«Атаман-разбойник»* — Степан Тимофеевич Разин (около 1630—1671) — донской казак, предводитель крестьянского восстания 1670—1671 гг. Герой большого числа русских народных песен.

с. **51** *«Великий Пан погиб!»* — согласно рассказу древнегреческого философа и биографа Плутарха (около 45 г.н.э. — около 127 г.н.э.), в царствование Тиберия (I век н.э.) кормчий корабля, плывшего из Пелопоннеса в Италию, услышал возглас: «Умер Великий Пан!» По приказу императора это событие было обнародовано и породило многочисленные толкования. В частности, христианские богословы истолковали рассказ Плутарха как сообщение о кончине Иисуса Христа, знаменующее смену язычества христианством. Иносказательно выражение «Умер Великий Пан» означает не только смерть выдающегося человека, но и конец целой эпохи.

с. **54** *Лужники* — имеется в виду московский Дворец спорта в Лужниках, где в 1960-х гг. проходили поэтические вечера.

с. **54** Сюжет сказки немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822) «Щелкунчик и Мышиный Король» лег в основу знаменитого балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» (первая постановка 1892 г.).

с. **55** *Бежар Морис* (р. 1927) — французский балетмейстер, педагог, бессменный руководитель балетной труппы «Bejart Ballet Lausanne», базирующейся в швейцарском городе Лозанне. В 1999 г. хореограф представил оригинальную версию ба-

лета «Щелкунчик» в исполнении труппы «Токио-Балет» и осуществил постановку одноименного фильма-балета.

с. **60** *Комаров* Геннадий Федорович — издатель-энтузиаст, создатель петербургского издательства «Пушкинский фонд». Первый издатель сочинений И. Бродского в России.

с. **60** *Елоховский собор* — московский кафедральный собор Богоявления Господня в Елохове. В середине 1930-х гг. после разрушения Богоявленского храма в Дорогомилове, служившего патриаршим собором, в Елоховский храм была перенесена кафедра патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), впоследствии патриарха.

с. **60** *Коляда* — славянский праздник зимнего солнцеворота и, видимо, одноименное божество. Зимний солнцеворот приходится на 25 декабря. Празднование Коляды своим весельем и оптимизмом выражало веру древнерусских язычников в неизбежность победы добрых начал над силами зла. Чтобы помочь Коляде отогнать злых духов, праздновавшие в эти дни жгли костры, пели и плясали вокруг них. После принятия христианства оптимизм и жизнеутверждение праздника Коляды получили новое содержание в праздновании Рождества Христова, а ритуальные языческие обычаи превратились в веселую игру на Святки две недели зимних праздников, начинавшихся в Рождественский Сочельник (24 декабря/6 января) и продолжавшихся до Крещения Господня (6/19 января).

с. **60** *Кутья* — ритуальное поминальное кушание славян, каша, сваренная из целых зерен пшеницы (реже ячменя или других круп), политая медом, медовой сытой (сладкое сусло) или сахаром, иногда с добавлением изюма, орехов и даже варенья. Готовится на поминках по умершему, а также в годовые поминальные праздники.

с. **60** *Трикирий* — подсвечник для трех свечей — принадлежность архиерейского богослужения. Согласно литургическим толкованиям, три свечи соответствуют трем лицам Святой Троицы.

с. **61** *Гоголь* Николай Васильевич (1809—1852) — русский писатель украинского происхождения, один из величайших мастеров прозы и драматургии в русской литературе. В стихотворении упоминаются его повести «Вий» (1835) и «Ночь перед Рождеством» (1832). Заголовок «Ночь под Рождество» носили оперные либретто, созданные по повести Гоголя Я. Полонским для П.И. Чайковского и М. Старицким для Н.В. Лисенко («Черевички» и «Різдвяна Ніч», соответственно).

с. **63** «...невидаць кретина, / которий в детстве Буниным любим» — эпизод описан в начале «Автобиографических заметок» Ивана Алексеевича Бунина (1870—1953), вошедших в его книгу «Воспоминания» (Париж: Книгоиздательство Возрождение, 1950, с.7—8).

с. **63** *Вифлеем* (араб. Байт-Лахм; иврит Бейт-Лехем) — город на территории Палестинской Автономии примерно в 10 километрах к югу от Иерусалима. Здесь родился царь Давид и здесь же он был помазан на царство пророком Самуилом. Согласно Евангелиям, в этом городе произошло Рождество Иисуса Христа. В Вифлееме находится также еврейская святыня — гробница праматери Рахили.

с. **63** *Белинский* Виссарион Григорьевич (1811—1848) — русский литературный критик и публицист. В стихотворении упоминается его «Письмо Н.В. Гоголю» (1847).

с. **64** *Кузнец Вакула* — персонаж повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (1829—1832).

с. **64** *Нил Сорский* (в миру Николай Майков) (1433—1508) — преподобный, знаменитый деятель Русской Церкви. Основатель и глава нестяжательства в России.

с. 67 17/30 марта — согласно народному календарю, день «Алексея теплого, Алексея-с-гор-вода или с-гор-потоки, Алексея-пролей-кувшин» (В.И. Даль).

с. 68 *Владимир* — древнерусский город, основанный в 990 г. киевским князем Владимиром Святославичем (Владимир Красное Солнышко) на месте старого поселения.

с. 68 «*Туча со громом сговаривалась: / ты греми, гром, а я дождь разолью...*»; «*Выдут девицы за ягодками...*» — строки песни Леля из весенней сказки А.Н. Островского «Снегурочка» (1873).

с. 69 Ерофеев Венедикт Васильевич (1938—1990) — русский писатель.

с. 69 *Аксинья-весноуказательница* (Аксинья-полухлебница, Аксинья-полужимница) — 6 февраля. Половина срока осталась до нового хлеба. Каков этот день, такова и весна;

с. 69 *Алексей-теплый* — 30 марта. Если этот день будет теплым, теплой будет весна;

с. 69 *Антип-половод* (Антип-водопол) — 24 апреля. Если к этому дню воды не вскроются, лето будет холодным.

с. 70 Согласно народному календарю: *Васильев день* (Старый Новый год, празднование памяти св. Василия Великого, Кесарийского) — 14 января. Если день морозный и снежный — быть хорошему урожаю;

с. 71 *Окаёмный человек, окаём* — «негодный, изверженный, лентяй, тенеядец; обманщик; плут, мошенник; неслух» (В.И. Даль).

Окаём — от кайма, окаймление, каемка (М. Фасмер).

с. 71 Усадьбой «Ладыжино» в 4-х километрах от Тарусы в конце XIX в. владела маркиза М.Л. Компонари. Имеются сведения о посещении усадьбы К.Д. Бальмонтом, А.Н. Толстым, С.Т. Рихтером.

с. 74 Освящение связок из 33-х свечей (по числу земных лет Спасителя) зажиганием от Благодатного Огня ежегодно

происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне празднования Пасхи.

с. **76** *Цейлон* (с 1972 г. — Шри-Ланка) — государство в Южной Азии на одноименном острове у юго-восточного побережья Индостана. Цейлон традиционно ассоциировался с производством чая, натурального каучука, корицы и добычей драгоценных камней.

с. **77** *Ренуар* Пьер Огюст (1841—1919) — французский живописец, график и скульптор, один из основателей импрессионизма.

с. **77** *Самари* Жанна (1857—1890) — французская актриса, модель многих полотен Ренуара. Ее портрет (1878) хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а этюд к портрету (1877) — в Государственном музее изобразительных искусств в Москве.

с. **77** *Монмартр* — район Парижа, с конца XIX в. ставший важным центром художественной жизни.

с. **79** *Кафе «Куполь»* на бульваре Монпарнас в Париже — огромное кафе с танцевальным залом, открывшееся в 1927 г. и модернизированное в 1980-х гг.

с. **80** *Потылица* (устар.) — зашеина, затылок, загривок. Потыльник — подзатыльник, удар по потылице.

с. **81** *«паркер»* — перьевая авторучка, названная по имени американского изобретателя и предпринимателя Джорджа Сэффорда Паркера (1863—1937), который в 1904 г. запатентовал свою первую письменную ручку.

с. **81** *«Деда-эна»* (груз.) — «Родная (дословно: материнская) речь», учебник для младших классов грузинских школ.

с. **81** *«Ай наргизи, ай иа»* (груз.) — «Вот (это) нарцисс, вот (это) фиалка». Первые слова в грузинском букваре.

с. **81** Казанская икона Божией Матери — чудотворная икона Богородицы, явившаяся в Казани в 1579 г. Одна из са-



мых чтимых икон в Русской Церкви, считалась покровительницей дома Романовых и всей России.

с. **82** *Невесто Невестная* — обращение к Пресвятой Богородице в адресованных ей акафистах.

с. **82** *Стена Плача* или Западная Стена — уцелевшая после разрушения Второго храма римлянами в 70 году н.э. часть подпорной стены вокруг Храмовой горы в Иерусалиме. Самое святое место для евреев, которые прибывают сюда со всего мира, чтобы помолиться и оставить записку с просьбой к Всевышнему между камней Стены.

с. **82** *Зиждитель* (книжн., устар.) — творец, создатель, основатель; (церк.) то же, что Творец (как эпитет Бога).

с. **82** *Человеколюбче* (церк.) — обращение к Господу Иисусу Христу в акафистах и во время различных церковных служб.

с. **84** *Икос* — церковное песнопение, восхваляющее и прославляющее чествуемого святого и церковное событие.

с. **84** *Миня* — общее название нескольких церковнослужебных и четьих (т.е. предназначенных для чтения, а не для богослужения) книг.

с. **85** «*многолюдный храм*», «*дуб уединенный*» — цитаты из стихотворения А.С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

с. **85** *Живодавче* — податель жизни. Употребляется как обращение к Господу Иисусу Христу: «Живодавче Христе».

с. **86** Цикл впервые опубликован в «Литературной газете» от 9 июня 1999 г.

с. **86** *Вакханки* — почитательницы греко-римского бога вина Диониса (Вакха), участницы мистериально-оргиастического празднества в его честь.

с. **86** «*осмеянный смолянкою старик*» — аллюзия к поэме А.С. Пушкина «Полтава» (1828—1829).

с. **86** *Осырь* — наречие, обозначающее: в сыроватом виде, недосушенное.

с. **87** *Урарту* — древнее государство в юго-западной Азии, расположенное на территории Армянского нагорья (существовало в VIII—VI вв. до н.э.).

с. **87** *Дехкане* — крестьяне в Средней Азии и некоторых странах Востока.

с. **87** *Голотуха, колоколуша* — региональные названия черемухи.

с. **88** *Вепрь* — дикий кабан.

с. **88** *Выть* — болотная или речная птица из семейства цапель, отличающаяся своим заунывным криком, похожим на глухой рев.

с. **89** *Пастернак* Борис Леонидович (1890—1960) — поэт, прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958).

с. **90** *Платон* (настоящее имя Аристокл; 428 или 427 до н.э. — 348 или 347 до н.э.) — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля.

с. **90** *Глухово* — деревня в Красногорском районе Подмосковья, в стихотворении название имеет скорее символический смысл.

с. **91** «в честь Той, что, как всегда, // волиебно глуповата» — имеется в виду поэзия.

с. **92** «Вдали, в Кахетии моей, // зарыта косточка» — аллюзия к «Грузинской песне» Б. Окуджавы: «Виноградную косточку в теплую землю зарюю...»

с. **92** «вблизи числа девятого» — Б. Окуджава родился 9 мая 1924 года.

с. **93** *Щетинино* — населенный пункт в Московской области.

с. **94** «боль Пхеньянская» — имеется в виду вооруженный конфликт между Корейской народно-демократической республикой и Южной Кореей (1950—1953), в который оказались

втянутыми СССР и Китайская Народная Республика, с одной стороны, и США, Великобритания и Филиппины, с другой.

с. **94** *Ким Ир Сен* (урожденный Ким Сон Чжу; 1912—1994) — основатель Корейской народно-демократической республики и первый ее правитель.

с. **94** *Виардо-Гарсиа* Мишель Полина (1821—1910) — французская певица, вокальный педагог и композитор. Близкий друг И.С.Тургенева.

с. **94** *Тургенев* Иван Сергеевич (1818—1883) — русский писатель.

с. **95** *Жорж Санд* (настоящее имя Амандина Аврора Люсиль Дюпен, по мужу Дюдewan; 1804—1876) — французская писательница. В дореволюционной транскрипции: Жорж Занд.

с. **95** *Кальян* — курительный прибор у восточных народов, в котором табачный дым охлаждается и очищается, проходя через воду.

с. **95** *Декохт* — отвар из лекарственных растений; на жаргоне — ощущение голода или безденежье.

с. **95** *Шлафрок* — длинный просторный домашний халат, подпоясанный обычно витым шнуром с кистями.

с. **98** *Малеев* — купец, бывший недолгое время владельцем имения Малеевка.

с. **101** *Галактион* — Табидзе Галактион Васильевич (1892—1959) — грузинский поэт. Упоминаются его стихотворения «Я и ночь», «Поэзия прежде всего», «Могильщик».

с. **101** *Маргвелашвили* Гия (Георгий Георгиевич) (1923—1989) — грузинский критик, литературовед, переводчик. Близкий друг Б. Ахмадулиной.

с. **101** *Гмерто* (груз.) — Бог, Боже, Господи, Всевышний (как обращение).

с. **101** *Цвима* (груз.) — дождь.

с. **101** *Кари* (груз.) — ветер. Ниави (груз.) — тихий ветер, ветерок.

с. **103** *Михета* — город в Восточной Грузии, неподалеку от Тбилиси, у слияния рек Арагви и Куры. Древняя столица Картлийского царства (до конца V в.), затем церковно-религиозный центр.

с. **103** *Проспект Руставели* — центральная улица Тбилиси.

с. **104** *Чиковани* Симон Иванович (1902/1903 —1966) — грузинский поэт.

с. **104** *Мтацминда* (буквально: «Святая гора») — гора в старой части Тбилиси на правом берегу Куры, где находится храм Святого Давида, а также Пантеон выдающихся писателей и общественных деятелей Грузии.

с. **105** *Хабазы* (груз.) — пекарь.

с. **106** *Сакартвело* (груз.) — Грузия.

с. **106** *Алазани* (Алазань) — река на востоке Грузии и западе Азербайджана (частично протекает по границе обеих республик).

с. **106** *Дэвы* — таинственные мифические существа, почитаемые в Грузии.

с. **106** *Мицфи* — на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «послушника» (примечание М.Ю. Лермонтова).

с. **107** Святой благоверный *Давид* III Возобновитель, царь Иверии и Абхазии (в современных изданиях Давид IV Строитель) (1084/1089—1125) — выдающийся государственный, культурный и церковный деятель Грузии.

с. **107** *Девять плит Марабды* — историческая святыня Грузии — могилы девяти братьев-героев Херхеулидзе, погибших за родину в битве при Марабде (1624).

с. **107** «Я — алгетский камень! / О Господи, задуй во мне свечу!» — строки из стихотворения С. Чиковани «Сказанное во время бомбежки» в переводе Б. Ахмадулиной.

с. **107** *Алгети* — река в Грузии, правый приток реки Мтквари (Куры).

с. **108** *Важа* — Важа-Пшавела — псевдоним грузинского поэта и драматурга Луки Павловича Разикашвили (1861—1915).

с. **109** *Квеври* (груз.) — кувшины для вина, зарываемые в землю.

с. **109** *Алавердоба* (груз.) — праздник в честь сбора винограда и церковный праздник храма Алаверди (Кахетия, XI в.), посвященного Святому Георгию.

с. **109** *Тициан* — Табидзе Тициан Юстинович (1895—1937) — грузинский поэт.

с. **109** *Нита* — Танит Тициановна Табидзе (1922—2007) — дочь Т. Табидзе, хранительница музея-квартиры отца, много сделавшая для увековечивания его памяти.

с. **109** *Паоло* — Яшвили Паоло Джибразлович (1895—1937) — грузинский поэт.

с. **109** «*Спасли грузины убиенный Дождь ...*» — поэма Б. Ахмадулиной «Сказка о Дожде» была впервые опубликована в журнале «Литературная Грузия» (1963, № 12) под названием «Дождь».

с. **109** *Храм Свети-Цховели* — кафедральный собор в Мцхете, построенный в 1010—1029 гг. на месте первой в Грузии христианской церкви IV в. Один из самых древних и любимых храмов в Грузии.

с. **109** Святая равноапостольная *Нина* (около 280—335/347) — просветительница Грузии. Согласно летописным источникам, святой Нине было открыто, где сокрыт Хитон Господень, и на этом месте был воздвигнут первый в Грузии христианский храм (сначала деревянный, а затем каменный собор Свети-Цховели).

с. **110** *Гусиный Паркер* — стихотворение Б. Ахмадулиной, написанное в 1982 г. в Тарусе.

с. 111 *Тамар* (Тамара) (около 1165/1178—1213) — грузинская царица, во времена правления которой Грузия достигла вершины своего могущества и славы.

с. 111 *Лизико* — речь идет о дочери Б. Ахмадулиной Елизавете.

с. 111 *Руставели Шота* — грузинский государственный деятель и поэт XII в., автор эпической поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

с. 111 *Чабук* — ласковое прозвище грузинского писателя Чабуа Ираклиевича Амирэджиби (р. 1921) в домашней и дружеской среде.

с. 111 «*Я вам пишу...*» — начальная строка письма Татьяны к Онегину (А.С. Пушкин «Евгений Онегин», глава 3-я, XXXI).

с. 113 *Улица Барнова* — тбилисский адрес Г. Маргвелашвили.

с. 113 *Авлабарцы* — жители старинного армянского района Авлабари (Авлабар) в центральной части Тбилиси. Это район Старого Города, расположенный на высоком правом берегу Куры.

с. 114 *Дэагли* (груз.) — собака.

с. 114 *Хинкали* — кавказское блюдо, крупные пельмени с начинкой из мясного фарша.

с. 114 «*Мери*» — стихотворение Г. Табидзе, переведенное Б. Ахмадулиной.

с. 115 *Ахведиани* Эличка (Елена Дмитриевна) (1901—1975) — грузинский живописец, график, театральный художник.

с. 115 *Хаши* (*хаши*) — в грузинской кухне суп, приготовленный из требухи и чеснока. Это блюдо имело ритуальное значение.

с. 115 Ладо Гудиашвили жил в Тбилиси на улице Кецховели, дом 1, где занимал апартаменты на 2-м этаже. В этом же доме проживали потомки рода Багратиони.

с. 115 *Гудиашвили* Ладо (Владимир Давидович) (1896—1980) — грузинский живописец и график.

с. **115** *Пиросмани* Нико (Николай Асланович Пиросманишвили) (1862—1918) — грузинский художник-примитивист, самоучка.

с. **115** *«И вижу во сне постоянном / ту рюмку, в которой не сякнет коньяк, / что крайней весной не допит Пастернаком.»* — в квартире Л. Гудиашвили в старинном шкафчике хранились как реликвия маленький графинчик коричневого стекла из-под коньяка и рюмка (стаканчик), из которой пил этот коньяк Б. Пастернак во время своего последнего визита к художнику ранней весной 1959 года (он был в Тбилиси с 20 февраля по 6 марта, остановившись у Н.А. Табидзе). Очевидцы рассказывают о том, что в рюмку периодически подливался коньяк в память об умершем поэте.

с. **115** *«луну Галактиона»* — стихотворение Г. Табидзе «Луна над Мтацминдой».

с. **116** *Вири* (груз.) — осел.

с. **116** *Чочори* (груз.) — ослик.

с. **117** *Асатиани* Гурам Леванович (1928—1982) — грузинский литературовед, критик.

с. **118** *Сикварули* (груз.) — любовь.

с. **118** *Лицейст* — А.С.Пушкин.

с. **118** *«на Кецохвели, / в тот дом, что Пушкина знавал, / где перед ним благоговели.»* — согласно легенде, А.С. Пушкин бывал в этом доме, вследствие чего хозяева очень трепетно и бережно относились к паркету, никогда его не меняя.

с. **118** *«И Пастернак не одинок / в том доме, как нигде на свете.»* — согласно легенде, в свой последний приезд в Тбилиси (ранняя весна 1959 года) поэт оставил на стене квартиры Л. Гудиашвили поэтический автограф-посвящение. Поскольку и Б. Пастернак, и художник в то время находились в опале, стена была заклеена новыми обоями, и по прошествии времени автограф не удалось обнаружить. Эта ле-

генда не находит подтверждения в хронике жизни Б. Пастернака, составленной его сыном.

с. 118 *«Там у меня был свой бокал — / сообщник царственных застолий / Багратиони.»* — Багратиони — древний царский род Грузии, давший много выдающихся государственных и военных деятелей Грузии и России. Согласно летописной традиции, происхождение Багратионов восходит к ветхозаветному царю Давиду.

с. 118 *«Опекал / бокалы спутник всех историй / столетья, любящий одну: / в Париже он служил гарсоном / и ловко подавать еду / владел умением особым.»* — речь идет о самом Ладо Гудиашвили, который с 1919 по 1926 год жил, учился и работал в Париже. Художник на всю жизнь сохранил умение с неповторимым изяществом подавать угощения и изумлял этим искусством особо дорогих ему гостей.

с. 119 *«Нино, вослед Тамар, была / торжественна и величава /и в диадеме и боа / нас, недостойных, привечала.»* Нино — Нина Иосифовна Гудиашвили (1909—1995) — жена Л. Гудиашвили, искусствовед.

с. 119 *Кинто* (груз.) — мелкие торговцы вразнос в старом Тбилиси, отличавшиеся плутовским нравом.

с. 119 *Гоги Купарадзе* — врач, друг Г. Асатиани, необыкновенно артистичный, подвижный, хрупкий, неистощимый придумщик розыгрышей, хулиганистых выходок, кривляка Чаплинского типа.

с. 119 *Чарли Чаплин* (Чарлз Спенсер Чаплин, 1889—1977) — англо-американский киноактер, сценарист, композитор и режиссер, создатель одного из самых знаменитых образов мирового кино — бродяжки Чарли, трагикомического персонажа «маленького человека».

с. 119 *Шура* — Цыбулевский Александр Семенович (1928—1975) — поэт, прозаик, литературовед.



с. **120** *Цинандали* — селение на берегу Алазани, жемчужина Кахетии. Здесь расположен парк и особняк, принадлежавшие грузинскому поэту и основателю первого винного завода в Грузии Александру Чавчавадзе.

с. **120** *Тха* (груз.) — коза.

с. **120** *Цхени* (груз.) — лошадь.

с. **120** *Мамали* (груз.) — петух.

с. **120** *Тамаз и Отар* — грузинские поэты и прозаики братья Чиладзе: Тамаз Иванович (р. 1931) и Отар Иванович (р. 1933).

с. **120** *Карачохели* (груз.) — гребец на праздничной освещенной лодке по Куре.

с. **121** *Амиран* — герой грузинских мифов и легенд (сродни Прометею). В данном случае — имя покойного друга.

с. **121** *Гелатский монастырь (Гелати)* — один из наиболее крупных средневековых монастырей Грузии, выдающийся памятник грузинской архитектуры (расположен в 11 километрах от Кутаиси). Основан в начале XII в. царем Давидом Строителем.

с. **122** «...те, чьи горбы наверх стремились.» — речь идет о строителях храма на вершине горы.

с. **122** «*Нижний храм / поныне чтит царя Баграта.*» Кафедральный собор Баграта в Кутаиси построен во времена правления грузинского царя Баграта III (975—1014) и освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы.

с. **123** «*голос Нани*» — Брегвадзе Нани Георгиевна (р. 1938) эстрадная певица, народная артистка СССР и Грузии.

с. **124** *Рейн* Евгений Борисович (р. 1935) — поэт, прозаик.

с. **124** *Дигоми* — туристическая база в Грузии на окраине Тбилиси.

с. **124** *Телиани* — одно из наиболее известных красных сухих вин Грузии.

с. **124** *Духан* (груз.) — небольшой ресторан, трактир с продажей вин.

с. **124** *Леся Украинка* (настоящее имя и фамилия: Лариса Петровна Косач-Квитка) (1871—1913) — украинская поэтесса, переводчица, драматург.

с. **125** *«Моди, чемо швило»* (груз.) — пойдя ко мне, дитя мое.

с. **125** *Картли* (Карталиния) — историческая область в Восточной Грузии, в долине реки Кура с центром в г. Мцхета. Во второй половине XI—XII вв. стала ядром государственного объединения грузинского народа. С начала XVI в. по XVIII в. — Картлийское царство с центром в г. Тбилиси.

с. **125** *Хо, ки* (груз.) — да. *Диах* (груз.) — да (более уважительно).

с. **125** *Нахвамдыс* (груз.) — до свидания.

с. **125** *Гамарджоба* (груз.) — здравствуйте.

с. **125** *Гасс Боба* (Борис) — грузинский переводчик, журналист, был ответственным секретарем журнала «Литературная Грузия» в 1960-е гг. С 1975 г. в эмиграции.

с. **126** *Елигулашвили* Эдуард Вениаминович — грузинский журналист, литературный критик. В молодости был известен под шутливым прозвищем «Ели-пили-гуляли-швили».

с. **126** *Помпеи* — древний римский город недалеко от Неаполя, погребенный под слоем вулканического пепла в результате извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года н.э. В настоящее время — музей под открытым небом, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

с. **128** *Инкит* — озеро, расположенное на живописном Пицундском мысу в Абхазии, с которым связано много легенд и преданий.

с. **128** *«Лсоу»* — натуральное полусладкое белое вино, обязанное своим названием реке, по которой проходит граница Абхазии и России; «цинандали» — белое сухое марочное грузинское вино, выпускаемое с 1886 г.

с. **128** *Ираклий Амирэджиби* — отец писателя Чабуа Амирэджиби. Известный юрист, знавший четыре языка, четырежды арестовывался в годы сталинского террора, один раз бежал и полтора года скрывался, погиб в застенках НКВД. Так же звали и старшего сына писателя, погибшего в 1992 г. во время грузино-абхазского противостояния (конфликта).

с. **128** *Антропофаг* (книжн.) — людоед, каннибал.

с. **129** *Медea* — в древнегреческой мифологии волшебница, дочь царя Колхиды. Страстно влюбившись в предводителя аргонавтов Ясона, помогла ему добыть золотое руно. Когда же Ясон задумал жениться на дочери коринфского царя, Медea погубила соперницу, убила двух своих детей, рожденных от Ясона, и скрылась на крылатой колеснице.

с. **130** *Тициан* Вечеллио (1477—1576) — один из величайших итальянских живописцев эпохи Возрождения.

с. **130** «*Грузинских женщин имена*» — стихотворение Б. Ахмадулиной, написанное в 1957 г.

с. **132** *Насельник* — в исторических описаниях — житель какой-нибудь местности, населенного пункта, помещения.

с. **133** «...должна быть глуповата» — цитата из Пушкина.

с. **133** Впервые опубликовано в журнале «Дружба народов» (2000, № 10).

с. **136** Впервые опубликовано в журнале «Знамя» (2001, № 1).

с. **138** «*Звезда над Вифлеемом*» — Вифлеемская звезда загорелась на небе, возвестив о рождении Мессии (Иисуса Христа), и, двигаясь по небосклону, привела Волхвов к его колыбели для поклонения.

с. **138** *Гиппократ* (около 460 до н.э. — около 377 до н.э.) — древнегреческий врач и педагог, «отец медицины». Его имя связывается со знаменитой клятвой, которая сим-

волизирует высокие этические нормы европейской медицины.

с. **138** *Владимирский централ* — российская тюрьма для особо опасных преступников в городе Владимире. Построена по указу императрицы Екатерины II в 1783 г.

с. **138** «*ты царь: живи один*» — цитата из Пушкина.

с. **139** *Бенкендорф* Александр Христофорович, граф (1783—1844) — российский военачальник и государственный деятель, генерал от кавалерии, участвовал в подавлении восстания декабристов, шеф жандармов и начальник Третьего отделения, занимавшегося политическим сыском.

с. **140** *Шишков* Александр Ардалионович (1799—1832) — поэт и переводчик, состоявший в дружеских отношениях с А.С. Пушкиным. Был убит на улице в результате ссоры с неким Черновым, оскорбившем его жену.

с. **141** «...*Дорога не скажу куда...*» — строка из стихотворения А.А. Ахматовой «Приморский сонет» (1958).

с. **144** *Патильотка* — бумажка, используемая для домашней холодной завивки волос.

с. **145** *Данзас* Константин Карлович (1801—1870) — лицейский товарищ А.С. Пушкина.

с. **146** «*Марина с Асей*» — сестры Цветаевы Марина Ивановна (1892—1941) и Анастасия Ивановна (1894—1993).

с. **146** *Пуцин* Иван Иванович (1798—1859) — лицейский товарищ А.С. Пушкина, один из самых близких его друзей.

с. **146** *Плетнев* Петр Александрович (1792—1865) — поэт и критик, профессор российской словесности, один из ближайших друзей А.С. Пушкина.

с. **146** *Нащокин* Павел Воинович (1801—1854) — один из близких друзей А.С. Пушкина, который в письме к жене от 8 декабря 1831 г. восхищался моделью одной из московских квартир Нащокина, где останавливался поэт.

с. **146** *Дельвиг* Антон Антонович, барон (1798—1831) — поэт, издатель, ближайший лицейский товарищ А.С. Пушкина.

с. **146** *Солдатенков* Козьма Терентьевич (1818—1901) — русский предприниматель, книгоиздатель, владелец картинной галереи. По его духовному завещанию были выделены средства для строительства в Москве больницы для бедных, состоящей из 15-ти корпусов, которая открылась в 1911 г. (ныне больница носит имя С.П. Боткина).

с. **148** Впервые опубликовано в журнале «Знамя» (1999, № 7).

с. **148** *Боткин* Сергей Петрович (1832—1889) — врач-терапевт, основоположник русской клинической медицины.

с. **150** *Битов* Андрей Георгиевич (р. 1937) — писатель.

с. **148** *Булат* — Булат Шалвович Окуджава (1924—1997).

с. **149** *Марс* — четвертая по удалению от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы, названная по имени одного из самых почитаемых римских богов — бога войны Марса.

с. **150** *Фет* (настоящая фамилия Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — русский поэт-лирик, переводчик, мемуарист.

с. **150** *Бриттен* Эдвард Бенджамен, барон (1913—1976) — британский композитор, дирижер и пианист.

с. **150** *Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852) — русский поэт, один из ближайших друзей А.С. Пушкина.

с. **150** *Башимет* Юрий Абрамович (р. 1953) — российский альтист, дирижер. Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и камерного ансамбля «Солисты Москвы».

с. **152** Преподобный *Ефрем Сириин* (начало IV века — около 373—379) — великий учитель покаяния, оставивший после себя много сочинений богословских, истолковательных, нравоучительных.

с. **153** «пустынники и девы непорочны» — искаженная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...» (1836).

с. **153** «Мороз и солнце; день чудесный!» — начальная строка стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро» (1829).

с. **155** *Старовойтова* Галина Васильевна (1946—1998) — российский политический и государственный деятель, этносоциолог, специалист в области межнациональных отношений. 20 ноября 1998 г. была убита в подъезде дома в Санкт-Петербурге, в котором находилась ее квартира.

с. **159** «столетний юбилей Дуэли» — в 1937 г. в СССР широко отмечалось столетие со дня смерти А.С. Пушкина. Этот же год стал пиком сталинского террора.

с. **160** *Овен* — знак Зодиака, под которым родилась Б. Ахмадулина.

с. **160** *БГТО* — «Будь готов к труду и обороне СССР» и «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) — всесоюзный физкультурный комплекс, основа советской системы физического воспитания. Введен в 1931 г., дополнен ступенью БГТО в 1934 г.

с. **160** «избиение врачей» — Дело врачей или дело врачей-отравителей — уголовное дело против группы высокопоставленных врачей, обвиненных в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Кампания, начатая в 1948 г., была прекращена сразу же после смерти Сталина в 1953 г.

с. **164** *Териоки* — название города Зеленогорск до 1948 г. (Город Териоки до 1939 г. входил в состав Финляндии).

с. **164** *Кронштадт* — город-крепость и порт на острове Котлин в Балтийском море, охраняющий морские подступы к Санкт-Петербургу.

с. **164** «Вороне как-то Бог послал кусочек сыфу...» — измененная цитата из басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица» (1812).

с. **165** *Носсиде* — одна из юных женщин-подруг древнегреческой поэтессы Сафо (VI век до н.э.), с которыми ее связывали поэтические, музыкальные и любовные интересы.

с. **165** *Эллада* — название Греции на греческом языке; Калабрия — самый южный регион Италии; Эгейское море —

полузамкнутое море в бассейне Средиземного моря между полуостровами Балканским и Малой Азией и островом Крит.

с. **165** *Флердоранж* — белые цветки померанцевого дерева; в ряде стран — принадлежность свадебного убора невесты.

с. **166** *Фидий* (около 490 г. до н.э. — около 430 г. до н.э.) древнегреческий скульптор, один из величайших мастеров периода высокой классики.

с. **166** Публий *Овидий* Назон (43 г. до н.э. — 17 или 18 г. н.э.) — римский поэт, прославившийся эротическими стихами на мифологические темы.

с. **167** *Баден-Баден* — курортный город в Германии, знаменитый своими горячими источниками.

с. **168** *Эйфель* Александр Густав (1832 — 1923) — французский инженер, который приобрел всемирную славу постройкой в Париже к Всемирной выставке 1889 г. башни, принадлежащей к величайшим техническим сооружениям XIX в.

с. **169** *Ротит* (лат.) — плод (преимущественно древесный: яблоко, вишня, финик, орех и др.)

с. **169** *Кимры* — город в Тверской области на берегу Волги. Главной достопримечательностью города и гордостью его жителей был величественный пятиглавый Покровский собор, строительство которого начато в 1816 г. и закончено в 1825 г. Собор был варварски взорван весной 1936 г. и на его месте построен клуб промкооперации.

с. **171** *Рододендрон* — род растений (более 600 видов) семейства вересковых, произрастающих в основном в умеренном поясе Северного полушария.

с. **171** *Огиньский* Михал Клеофас, граф (1765—1833) — польский композитор, автор знаменитого полонеза «Прощание с родиной».

с. **171** «*Всех Скорбящих Радость*» — наименование чудотворной иконы Божией Матери. Икона впервые прославилась

в 1688 г. в Москве в Преображенской Скорбященской церкви на Ордынке.

с. 173 Эпиграф: четверостишие из стихотворения Б. Ахмадулиной «Описание боли в солнечном сплетении» (1968).

с. 174 *Карабиха* — усадьба в 15 верстах от Ярославля, в 1861 г. приобретенная поэтом Н.А. Некрасовым. Здесь он провел десять летних сезонов. Карабиха — единственная усадьба в Ярославском крае, сохранившая свой прежний архитектурный облик. Ныне это Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова.

с. 174 «*Выдь на Волгу...*» — строка из стихотворения Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).

с. 174 На Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге на участке д. 44 в XIX в. стоял дом, в котором 26 мая 1848 г. скончался В.Г. Белинский, похороненный неподалеку — в некрополе «Литераторские мостки» на Волковом (Волковском) кладбище.

с. 175 Соловецкий архипелаг или *Соловки* расположен в западной части Белого моря и состоит из шести крупных и множества небольших островов. В 1436 г. здесь был основан Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь, с XVI и до начала XX в. он служил политической и церковной тюрьмой. В 1920 г. монастырь был окончательно ликвидирован, а его культурные ценности и большие запасы продовольствия реквизированы. На территории монастыря сначала располагался лагерь принудительных работ, а с 1923 по 1939 г. — Соловецкий лагерь особого назначения, преобразованный в 1937 г. в Соловецкую тюрьму особого назначения, основным контингентом которых были «политические» заключенные. С 1967 г. Соловки были объявлены музеем-заповедником, а 25 октября 1990 г. Священный Синод благословил открытие Спасо-Преображенского ставропигиального (т.е. непосредственно подчиненного Синоду) мужского монастыря.



с. **176** *Мазай* — персонаж стихотворения Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» (1870).

с. **177** Ленинградский проспект, дом 26, 4-й этаж — московский адрес Б. Ахмадулиной.

с. **178** *Сименон* Жорж Жозеф Кристиан (1903—1989) — франкоязычный писатель бельгийского происхождения, один из самых знаменитых в мире представителей детективного жанра в литературе.

с. **180** *Таруса*, *Куоккала* (Репино), *Сортавала* — адреса написания многих стихотворений Б. Ахмадулиной в 1980-е гг.

с. **180** *Яго*, *Мавр* (Отелло) — персонажи трагедии английского драматурга Уильяма Шекспира «Отелло» (1604).

с. **182** *Нарцисс* — в древнегреческой мифологии сын речного бога Кефисса и нимфы Лириопы, юноша необычайной красоты, но холодный и гордый. Отвергнув любовь нимфы Эхо, он был наказан богиней правосудия Немесидой (по другой версии богиней чувственной любви, красоты и любовного очарования Афродитой): во время охоты, увидев в источнике свое отражение, Нарцисс влюбился в него. Он не смог оторваться от лицезрения своего отражения и в результате умер от любви к себе. На месте его гибели вырос цветок, названный нарциссом.

с. **182** *Хитон* — мужская и женская нижняя одежда у древних греков; подобие рубашки (льняной или шерстяной), чаще без рукавов. Хитон подпоясывался с напуском.

с. **182** *Протилеи*, пропилон — парадный проход, проезд, образованный портиками и колоннадами, расположенными симметрично оси движения. Характерны для архитектуры Древней Греции.

с. **182** *Панафиней* — древнейший аттический праздник в честь богини Афины (Аттика — юго-восточная область Средней Греции со столицей городом Афины).

с. **183** Согласно древнегреческому мифу, нимфа Эхо полюбила прекрасного юношу Нарцисса, но не встретила взаимности и иссохла от мук неразделенной любви так, что остался только ее голос, постоянно звучащий отзвуком чужих слов.

с. **185** 25 декабря — Рождество Христово по григорианскому календарю. Католическая Церковь отмечает Рождество Христово. Это государственный праздник в 145 странах мира.

с. **185** Стихотворение является поэтическим изложением древнегреческого мифа.

Пан — у древних греков первоначально бог стад, покровитель пастухов, затем всей природы: лесов, рощ и полей. Пан известен своим пристрастием к вину и веселью. Он полон страстной влюбленности и преследует нимф, устраивает веселые, шумные хороводы, пугающие смертных. Пан был изобретателем свирели, которая появилась в результате его любви к нимфе Сиринге. Он преследовал нимфу своей любовью до тех пор, пока она, избегая его, не укрылась в реке Ладоне в Аркадии, где превратилась в тростник, из которого Пан и вырезал свою свирель.

с. **186** *Эрот* (Эрос, Амур, у римлян — Купидон) — в древнегреческой мифологии бог любви, один из древнейших богов Эллады. Сын Афродиты и ее постоянный спутник и помощник, золотые стрелы которого зароняли в богах и людях чувство любви.

с. **186** *Казанова* Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский авантюрист, путешественник и писатель. Его имя ассоциируется с многочисленными любовными похождениями.

с. **189** *«Панталык, пантелик, толк, смысл, порядок»* (В.И. Даль).

с. **189** *Рашель* (наст. имя: Элиза Рашель Феликс) (1821—1858) — французская трагическая актриса. Послужила прототипом героини романа французского писателя Эдмона Луи Антуан де Гонкура (1822—1896) «Актриса Фостен» (1882).

с. **189** *Нувориш* (фр.) — быстро разбогатевший человек из низкого сословия.

с. **191** *Орлов* Григорий Григорьевич, граф (1734—1783); Потемкин Григорий Александрович, граф, светлейший князь Потемкин-Таврический (1739—1791) — государственные деятели и фавориты императрицы Екатерины II Великой (1729—1796), которая находилась на троне с 1762 г.

с. **191** *Воронцова-Дашкова* Екатерина Романовна, княгиня (1743—1810) — подруга и сподвижница императрицы Екатерины II, общественная деятельница, писательница.

с. **191** *Державин*, Гавриил Романович (1743—1816) — поэт, государственный деятель.

с. **191** *Тредиаковский* (Тредьяковский) Василий Кириллович (1703—1769) — русский ученый и поэт.

с. **191** *Вольтер* (урожденный Франсуа-Мари Аруэ) (1694—1778) — французский философ-просветитель, поэт, прозаик, историк, публицист, правозащитник. Известна его переписка с императрицей Екатериной II и поэтом А.П. Сумароковым (1717—1777).

с. **192** *«наследный принц»* — имеется в виду Павел I Петрович (1754—1801), ставший после смерти матери Екатерины II императором России и задушенный во время дворцового переворота.

с. **192** *«Цветок»* — стихотворение А.С. Пушкина (1828).

с. **195** *Гете* Иоганн Вольфганг фон (1749—1832) — немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель.

с. **195** *Дормез* (истор.) — большая дорожная карета, приспособленная для сна в пути.

с. **196** *Музы* — в древнегреческой мифологии дочери Зевса и титаниды Мнемосины, живущие на Парнасе богини — покровительницы наук, поэзии и искусств.

с. **196** *Афина* — в древнегреческой мифологии богиня справедливой войны и мудрости, одна из наиболее почитаемых.

мых богинь Древней Греции. Эпитет «Паллада» означает «победоносная воительница».

с. 196 *Эгида* — в древнегреческой мифологии щит Зевса, сделанный Гефестом из шкуры мифической козы. В переносном значении — защита, охрана, покровительство.

с. 196 *Онегин* — главный персонаж романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (1823—1830).

с. 197 Впервые опубликовано в журнале «Знамя» (2003, № 1).

с. 197 «*На свете счастья нет, но есть покой и воля...*» — строка из стихотворения А.С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834).

с. 197 «*Раз в Крещенский вечерок...*» — начальная строка баллады В.А. Жуковского «Светлана» (1812). Обычай гадания на Крещение связан с древними языческими традициями. Но поскольку любое гадание осуждалось церковью, его приурочивали к 12 часам ночи. На следующий день, в Крещение, обязательно окунались в прорубь, смывая таким образом свои грехи.

с. 197 *Эзон* (VI век до н.э.) — баснописец, полулегендарная фигура древнегреческой литературы. Крылов Иван Андреевич (1769—1844) — русский баснописец, писатель, драматург.

с. 197 *Цельсий* Андерс (1701—1744) — шведский астроном, геолог и метеоролог. Предложил температурную шкалу, названную его именем.

с. 198 *Босх* Иероним (настоящее имя Иеронимус Антонисзон ван Акен) (около 1450/1460—1516) — нидерландский художник, один из крупнейших мастеров Северного Возрождения.

с. 199 Троица ипостась Святой Троицы — согласно одному из основных догматов христианства, Бог един по своей сущности, но существует в трех ипостасях (лицах, формах проявления, способах бытия): Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух.

с. **199** *«ижща», «ять»* — буквы дореволюционного русского алфавита, исключенные из него орфографической реформой 1917—1918 гг.

с. **200** *Дионисий* (около 1440—после 1502/1503) — русский иконописец и живописец.

с. **200** Преподобный *Кирилл* Белозерский (в миру — Косьма) (1337—1427) — самый знаменитый ученик Сергия Радонежского, основатель и первый игумен Кирилло-Белозерского монастыря. Преподобный *Ферапонт* Белозерский и Можайский (в миру — Федор Поскочин) (?—1426) — основатель и первый игумен Рождественского Ферапонтова монастыря в Белозерье и Можайского Лужецкого монастыря.

с. **201** *Сена* — река на севере Франции, впадающая в залив Ла-Манш. На ней расположен город Париж.

с. **201** *Сислей* Альфред (1839—1899), Коро Жан-Батист Камиль (1796—1875) — французские живописцы.

с. **201** Ларионов Михаил Федорович (1881—1964) — русский живописец. В 1915 г. эмигрировал во Францию.

с. **201** Музей на Волхонке — Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве.

с. **202** *«Любовники вечной Вероны»* — Ромео и Джульетта, персонажи трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (1595).

с. **203** *Сиена* — город в Центральной Италии, основанный в I веке до н.э.

с. **203** *«терра-ди-сиена», «поль-веронез», «волконскоит»* — названия видов художественных красок.

с. **203** Веронезе Паоло (настоящее имя Паоло Кальяри) (1528—1588) — итальянский живописец, представитель венецианской школы.

с. **203** *«Чердак на Поварской»* — адрес мастерской художника Б. Мессерера.

с. **203** *«охра золотистая», «тиоиндиго», «лимонный кадмий»* названия видов художественных красок.

с. **203** *Мане* Эдуард (1832—1883), Моне Оскар Клод (1840—1926) — французские художники-импрессионисты.

с. **204** Черная речка, впадающая в Большую Невку в районе Аптекарского острова (Санкт-Петербург). Здесь в 1837 г. был смертельно ранен на дуэли А.С. Пушкин.

с. **204** *Сердоболь* — древний русский город на северном берегу Ладожского озера. С 1918 г. называется Сортавала.

с. **204** В ночь с 1 на 2 июля 2002 г. в небе Германии над Боденским озером в результате столкновения грузового «Боинга» компании DHL и пассажирского авиалайнера Ту-154 «Башкирских авиалиний», выполнявшего рейс по маршруту Москва—Барселона, погибли 52 ребенка и 19 взрослых. Этим рейсом летели на отдых в Испанию одаренные уфимские школьники. 8 июля на Южном кладбище Уфы прошла церемония прощания с детьми и летчиками, погибшими в авиакатастрофе.

с. **205** *Батюшков* Константин Николаевич (1787—1855) — русский поэт.

с. **206** Впервые опубликовано в журнале «Знамя» (2002, № 10).

с. **206** Саксонова Елена Олимпиевна — старший научный сотрудник кафедры глазных болезней лечебного факультета РГМУ, кандидат медицинских наук.

с. **210** *Борей* — в греческой мифологии бог северного ветра.

с. **211** *Эль Греко* (настоящее имя Доменикос Теотокопулос) (1541—1614) — испанский живописец, один из ярчайших представителей европейского маньеризма. Полотно художника «Вид Толедо» (1610—1614, хранящееся в нью-йоркском Метрополитен-музее) с изображением города Толедо во время грозы — последняя значительная работа мастера.

с. **211** *Самшит* — род вечнозеленых кустарников и деревьев.

с. **212** *Толедо* — город в Испании, в 1479—1561 гг. столица образовавшегося единого государства.

с. 213 *Амундсен* Руаль (1872—1928) — норвежский полярный путешественник и исследователь, первым достигший Южного полюса. Погиб во время попытки разыскать и оказать помощь итальянской экспедиции Умберто Нобиле, которая потерпела катастрофу в Северном Ледовитом океане на дирижабле «Италия». В составе экспедиции Нобиле был шведский геофизик Финн Мальмгрен (1895—1928), который погиб при попытке пройти по дрейфующим льдам с места катастрофы дирижабля к архипелагу Шпицберген.

с. 214 *Вульф* Виталий Яковлевич (р. 1930) — доктор исторических наук, историк театра, искусствовед, переводчик, телеведущий, автор циклов биографических передач («Серебряный шар», «Мой серебряный шар»).

с. 216 *«Битов так в Пушкина глядит черновики»* — В 1998 г. писатель А. Битов создал композицию из черновиков Пушкинских стихов, которую он исполнял в сопровождении джазового ансамбля в нескольких аудиториях, а также на телеканале «Культура».

с. 217 *Кутаиси* — город в западной Грузии, расположенный по обоим берегам реки Риони.

с. 218 *Саранск* — столица Мордовии. Потьма — железнодорожная станция и поселок, врата в мордовские лагеря ГУЛАГа, (в частности здесь располагался единственный в России лагерь для иностранных заключенных).

с. 220 *Шумер* — одна из древнейших известных нам цивилизаций, существовавшая на юго-востоке Междуречья (междуречье Евфрата и Тигра на юге современного Ирака) в IV—III тысячелетиях до н.э.

с. 221 *«Азъ есмь»* (церк.-сл.) — «я есть».

с. 222 *Бараташвили* Николоз Мелитонович (1817—1845) — грузинский поэт-романтик. Стихотворение «Мерани» (1842) — шедевр философской лирики поэта (в грузинской мифологии Мерани — крылатый конь, быстрый, как молния)

с. 222 *Квеври* (груз.) — врытый в землю большой глиняный кувшин для хранения вина. Марани (груз.) — винный погреб, хранилище для вина.

с. 223 *Этери* — грузинка, навестившая Б. Ахмадулину в больницу и подарившая ей маленькую иконку. Она не была раньше знакома с Б.А. и не являлась пациентом больницы.

с. 223 *Калбатони* (груз.) — госпожа (кали — женщина + батони — господин).

с. 223 *Пицунда* (абхаз.) или Бичвинта (груз.) — названия одного и того же климатического курорта на черноморском побережье Абхазии.

с. 227 Жванецкий Михаил Михайлович (Эммануилович) (р. 1936) писатель-сатирик.

с. 232 *Володя* — Владимир Семенович Высоцкий (1938—1980).

с. 233 *Ницца* — французский климатический курорт и центр туризма на «Лазурном берегу» Средиземного моря.

с. 234 *Роналдо* (настоящее имя Роналдо Луис Назарио да Лима) (р. 1976) — бразильский футболист, дважды чемпион мира (1994 и 2002).

с. 235 Агафья Тихоновна — персонаж комедии Н.В. Гоголя «Женитьба» (1833).

с. 237 В главе «X. Путешествие» описано автомобильное путешествие автора и Б. Мессерера в Ярославль через Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, село Львы, село Любилки, село Карабиха. В главе упоминаются также Ярославский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, взорванный 26 августа 1937 г. и ныне восстанавливаемый, церковь Петра и Павла в Ярославле, Свято-Введенский Толгский женский монастырь, ныне находящийся в пределах городской черты Ярославля, 15-тиглавая церковь Иоанна Предтечи в бывшей ярославской слободе Толчково,



церковь Ильи Пророка — один из центральных посадских храмов Ярославля, а также село Толгоболь под Ярославлем.

с. **238** *Пуришев* Иван Борисович (р. 1930) — профессор Московского архитектурного института, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук. Архитектор, посвятивший себя восстановлению памятников зодчества в Переславле-Залесском, Угличе, Ярославле.

с. **240** Иоанн IV Васильевич (прозвище Иван Грозный) (1530—1584) — первый царь всея Руси — получил в обители Свято-Введенского Толгского женского монастыря исцеление ног. На одной из фресок в церкви Иоанна Предтечи в Толчкове представлен царь Иван Грозный в короне и игумен монастыря в молении перед иконой Толгской Божией Матери.

с. **241** Иван I Данилович Калита (1288—1340) — князь московский, Великий князь владимирский, заложивший основы политического и экономического могущества Москвы.

с. **270** *Шварц* Елена Андреевна (р. 1948) — русская поэтесса. Живет в Санкт-Петербурге.

с. **275** Квартира Василия Аксенова и его жены Майи Кармен-Аксеновой располагается в высотном доме на Котельнической набережной. Эта квартира была выделена первому мужу Майи режиссеру-кинодокументалисту Роману Кармену (1906—1978), как и ряду других выдающихся деятелей советского искусства. Надпись, о которой идет речь в стихотворении, была процарапана на одном из оконных стекол и случайно обнаружена писателем.

с. **275** *Магадан* — «столица Колымского края», с 1931 до середины 1950-х годов один из центров ГУЛАГа.

с. **275** *Везувий*, *Этна* — действующие вулканы на территории Италии.

с. **275** Клички собак В. Аксенова и Б. Ахмадулиной — «Пушкин» и «Гвидон», соответственно.

с. 276 Стихотворение Б. Ахмадулиной «Маленькие самолеты» и повесть В. Аксенова «Апельсины из Марокко» были подвергнуты издевательской критике в журнале «Крокодил» (1963, № 9). Стихотворение Б. Ахмадулиной «Сад» (1980) посвящено В. Аксену.

с. 277 11 января 1999 г. в Центральном доме литераторов состоялся творческий вечер В. Аксенова, впервые после эмиграции приехавшего на родину. В 1980 г. В. Аксенов был вынужден эмигрировать из СССР.

с. 278 «Журнал хвостатый» — журнал «Крокодил», выступивший с издевательской критикой стихотворения «Маленькие самолеты» Б. Ахмадулиной и повести «Апельсины из Марокко» В. Аксенова.

с. 279 20 августа — день рождения В. Аксенова. В этот день в 1968 г. советские танки вошли в Прагу и через несколько дней «бархатная революция» в Чехословакии была подавлена, так завершилась знаменитая «Пражская весна».

с. 280 Слова, вынесенные Б. Мессерером в эпиграф стихотворения, взяты из письма М. Влади и В. Высоцкого к Б. Ахмадулиной от 6.IV.1976. Ниже целиком приводится та часть письма, которая была написана Высоцким: «Расположились мы нагло и вольно.

В лучшей гостинице города

Кельна!

И мы тебя целуем... —

А дальше — рифмуй, Беллочка, продолжаем БУ-РИ-М-Е-Е-

Целую тебя и Бориса

Володя»

с. 280 *Буриме* — литературная игра, заключающаяся в сочинении стихов, чаще (но не обязательно) шуточных, на заданные рифмы, иногда еще и на заданную тему.

с. 282 *Шервинский* Сергей Васильевич (1892—1991) — переводчик-античник, поэт, прозаик

с. **282** Катулл Гай Валерий (ок. 87 — после 54 до н.э.) — римский поэт. «Полный» Катулл в переводах С. Шервинского издан в 1986 г. в серии «Литературные памятники».

с. **285** *Жилко Эдуард* Иванович, *Дэдрик* (р. 1931) — инженер.

с. **286** *Сурков* Алексей Александрович (1899—1983) — поэт, общественный деятель.

с. **288** Рост Юрий Михайлович (р. 1939) — журналист, фотохудожник. Стихотворение написано к его дню рождения.

с. **288** «Мой первый друг, мой друг бесценный!» — начальная строка стихотворения А.С. Пушкина «И.И. Пущину» (1826).

с. **288** Bestseller (англ.) — популярная книга, попавшая в список наиболее продаваемых; бестселлер.

с. **288** The best (англ.) — наилучший.

с. **289** Любимов Юрий Петрович (р. 1917) — актер, театральный режиссер, создатель и художественный руководитель Театра на Таганке. Стихотворение написано к его 85-летию, которое отмечалось в Театре 30 сентября 2002 г.

с. **291** Супружеская пара: Васильев Владимир Викторович (р.1940) — танцовщик, хореограф, народный артист СССР; Максимова Екатерина Сергеевна (р. 1939) — балерина, педагог-репетитор, народная артистка СССР. Стихотворение написано к творческому вечеру В. Васильева, который состоялся в декабре 2001 г. в Центральном доме актера.

с. **291** Скульптура «Квадрига Аполлона» работы Петра Карловича Клодта (1805—1867) установлена на фронте Большого театра в Москве во время его перестройки в 1855—1856 гг. после очередного пожара.

с. **292** Виола — тип старинных струнных смычковых музыкальных инструментов с ладами на грифе, популярных с

XV по XVIII вв. Позднее были вытеснены инструментами скрипичного семейства.

с. **292** Па-де-де — одна из основных музыкально-танцевальных форм в балете. Состоит из выхода двух танцовщиков (антре), адажио (дуэт, исполняемый в медленном темпе), вариаций мужского и женского сольного танцев и заключительной совместной коды.

с. **298** *Антокольские* — Павел Григорьевич (1896—1978), поэт, переводчик, эссеист, и его жена Зоя Константиновна Бажанова-Антокольская (1902—1968), артистка Театра им. Е. Вахтангова.

с. **302** *Эскин Александр Моисеевич* (1901—1985) — первый директор Центрального дома актеров ВТО.

с. **304** *Левин Александр Леонидович* (1931—1996) — врач-отоларинголог.

с. **305** Стихотворения написаны к состоявшимся в декабре 1978 г. совместным выступлениям Б. Ахмадулиной и грузинской эстрадной певицы *Нани* Брегвадзе (р. 1938), исполнительницы старинных романсов.

с. **310** *Каплан Анатолий Львович* (1902—1980) — живописец, график, керамист.

с. **312** *Ерофеев Виктор* Владимирович (р. 1947) — писатель, критик.

с. **312** *Край Рокфеллера* — Соединенные Штаты Америки. Рокфеллеры — одна из богатейших финансовых групп США.

с. **312** *Попов Евгений Анатольевич* (р. 1946) — писатель.

с. **312** *Искандер Фазиль Абдулович* (р. 1929) — писатель.

с. **313** *Аксёнов Василий Павлович* (р. 1932) — писатель. С 1980 г. в эмиграции.

с. **333** Стихотворение написано по поводу отъезда писателя *Владимира Николаевича Войновича* (р. 1932) в эмиграцию.

с. **316** *Бух Арон* Фроимович (р. 1923) — живописец, график.  
с. **316** *Наталья Ивановна* Андреева — директор Дома творчества Худфонда в Тарусе.

с. **317** *Мессерер Асаф Михайлович* (1903—1992) — артист балета, хореограф, педагог.

с. **317** *Одиллия* (Черный лебедь), *Одетта* (Белый лебедь) — действующие лица балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро».

с. **319** *Хуциев Марлен* Мартынович (р. 1925) — кинорежиссер. Стихотворение прочитано автором на юбилейном вечере режиссера «Мне 20 лет» в Киноцентре на Красной Пресне.

с. **319** «*Мне не двадцать лет*» — Б. Ахмадулина снималась в фильме М. Хуциева «Застава Ильича» («Мне двадцать лет») (1965).

с. **320** *Вознесенский* Андрей Андреевич (р. 1933) — поэт.

с. **325** «Трусоват был Ваня бедный» — начальная строка стихотворения А.С. Пушкина «Вурдалак» (1834).

с. **326** *Толокнов Борис* Олегович (р. 1932) — врач.

с. **327** *Зяма* — Зиновий Ефимович Гердт (1916—1996), артист театра и кино. Таня — Татьяна Александровна Правдина, жена З.Е. Гердта.

с. **327** *Снежная королева, Герда* — персонажи сказки датского писателя Х.К. Андерсена (1805—1875) «Снежная королева».

с. **328** *Мессерер Борис* Асафович (р. 1933) — театральный художник, живописец, график. Муж Б. Ахмадулиной.

с. **329** Стихотворение прочитано на вечере памяти поэта *Семена* Исааковича *Кирсанова* (1906—1972), который состоялся в Музее В. Маяковского.

с. **330** *Чехов Михаил* Александрович (1891—1955) — актер, режиссер, педагог. Племянник А.П. Чехова. Стихотворе-

ние прочитано на вечере, посвященном 100-летию со дня рождения М.А. Чехова (16 декабря 1991 г. МХАТ им. А.П. Чехова).

с. **330** «Кружка для кваса разбилась...» — слова из письма А.П. Чехова к брату в Таганрог.

с. **331** *Элбе-Хаус* — вилла А. Тёпфера на берегу реки Эльбы.

с. **331** *Тёпфер Алфред* (1894—1993) — немецкий предприниматель, создатель Фонда поощрения литературы и искусства.

с. **331** *Зиггер* — небольшой немецкий городок, в котором получают пансион лауреаты Пушкинской премии, присуждаемой Фондом А. Тёпфера.

с. **331** «Золотой дождь» — садовое цветущее растение.

с. **331** *Хельмут, Лизелотта* — сын и сноха А. Тёпфера.

с. **337** *Адамович Алесь* (Александр Михайлович) (1927—1994) — белорусский писатель, общественный деятель.

с. **337** «Глаза затравленной газели...» — строка из стихотворного посвящения Б. Ахмадулиной П.К. Кравченко, бывшего министра иностранных дел Беларуси.

с. **341** *Высоцкий Владимир* Семенович (1938—1980) — поэт, артист Театра на Таганке, певец.

с. **345** *not always* (англ.) — не всегда, иногда.

с. **345** (*be careful, Borya*). *I am angry* (англ.) — (будь осторожен, Боря). Я сержусь.

с. **345** *but what a reason* (англ.) — но почему, в чем причина.

с. **345** *and want to cry* (англ.) — и хочу плакать.

с. **345** *be sure: it is true* (англ.) — будь уверен: это правда.

с. **345** *I love You* (англ.) — я люблю тебя.

с. **346** *Колумб Христофор* (1451—1506) — мореплаватель, открывший Америку.

с. **347** «Двух Вертинских взгляд и взгляд» — «Про Вертинских: висела фотография прелестных Марьяны и Насти Вертинских» (Примечание автора).

с. 347 «And at the very end I'll say: / Good-by, don't commit yourself to love...» (англ.) — перевод на английский язык начальных слов романса «Прощание»: А напоследок я скажу: / прощай, любить не обязуйся (см. т. 1, с. 70).

с. 348 *Бёхово* — деревня на берегу Оки близ Поленова.

с. 353 *Девять плит Марабды* — девять могил братьев Херхеулидзе, героически погибших в битве при Марабде (1624).

с. 354 *Ладыга* — деревня Ладыжино близ Тарусы.

с. 355 Впервые опубликовано в журнале «Колобок» (1976, № 9).

с. 362 Текст выступления по Всесоюзному радио 10 марта 1964 г. Публикуется впервые.

с. 362 На Тверском бульваре в Москве расположен Литературный институт им. А.И. Герцена.

с. 362 *Переделкино* — писательский дачный поселок под Москвой.

с. 363 *Светлов Михаил Аркадьевич* (1903—1964) — поэт.

с. 363 *Айги* (наст. фамилия Лисин) *Геннадий Николаевич* (р. 1934) — поэт, переводчик.

с. 364 Впервые опубликовано в журнале «Крутозор» (1964, № 9).

с. 364 *Чурчхела* — восточное сладкое лакомство.

с. 366 Впервые опубликовано в кн.: Ахмадулина Б. Сны о Грузии. Тбилиси: Мерани, 1977.

с. 366 *Леонидзе Гогла* (Георгий Николаевич) (1899—1966) — грузинский поэт.

с. 366 *Метехи* — замок-тюрьма на высоком отвесном берегу реки Куры в Тбилиси, ныне снесен; находился рядом с древним храмом Метехи (XIII в.).

с. 366 *Гудиашвили Ладо* (Владимир Давидович) (1896—1980) — грузинский живописец и график.

с. 366 *«Любимый переделкинский гость»* — Б.Л. Пастернак (см. с. 295).

с. 368 *Стейнбек Джон Эрнст* (1902—1968) — американский писатель.

с. 368 *Гладилин Анатолий Тихонович* (р. 1935) — писатель.

с. 368 *Полевой Борис Николаевич* (1908—1981) — писатель, главный редактор журнала «Юность».

с. 368 *Хемингуэй Эрнест Миллер* (1899—1961) — американский писатель.

с. 368 *Дос-Пассос Джон* (1896—1970) — американский писатель.

с. 369 *«Но не волк я по крови своей»* — строка из стихотворения О. Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков...» (1931).

с. 370 Впервые опубликовано в еженедельнике «Литературная Россия» 9 февраля 1973 г. Название — начальная строка стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро» (1829).

с. 370 *Псков, Опочка, Остров* — города по пути в Михайловское, псковское имение Ганнибалов-Пушкиных.

с. 370 *«Клико»* — сорт, марка шампанского (по названию французской торговой фирмы).

с. 370 *Святогорский* (Успенский) монастырь в поселке Пушкинские Горы, там находится могила А.С. Пушкина.

с. 370 *Гейченко Семен Степанович* (1903—1993) — писатель, директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

с. 370 *Сороть* — река в Михайловском.

с. 370 *Ганнибаловские ели*. *Абрам (Ибрагим) Петрович Ганнибал* (1688— 1781) — сын эфиопского князя, камердинер Петра I, генерал-аншеф. Прадед А.С. Пушкина по материнской линии.



с. **372** *Тригорское* — имение в Псковской губернии, по соседству с Михайловским, принадлежавшее П.А. Осиповой.

с. **374** Впервые опубликовано в «Литературной газете» 23 мая 1973 г. Название — начальная строка одноименного стихотворения С. Чиковани.

с. **375** «*Привлечь к себе любовь пространства*» — строка из стихотворения Б. Пастернака «Быть знаменитым некрасиво...» (1956).

с. **375** *Атени* — ущелье на правом берегу реки Куры.

с. **375** *Дэв* — исполинское злое чудовище в грузинских легендах и сказках.

с. **376** *Ушгули* — селение в Верхней Сванетии.

с. **377** *Марика* — Мария Николаевна Чиковани, жена С. Чиковани.

с. **377** *Зоя* — Зоя Константиновна Бажанова-Антокольская (1902—1968), артистка Театра им. Е. Вахтангова. Жена П. Антокольского.

с. **379** *Каландадзе Анна* Павловна (р. 1924) — грузинская поэтесса.

с. **379** *Анемон* (анемона, ветреница) — растение семейства лютиковых с желтыми, белыми или розоватыми цветами.

с. **379** *Кацо* (груз.) — друг.

с. **380** *Хетта, Мидия, Урарту* — государства древнего мира.

с. **380** *Бетания* — монастырь (в 18 км от Тбилиси) с известным храмом, выдающимся памятником грузинской архитектуры XII в.

с. **380** *Шиомгвими* — селение, где сохранились развалины древнего монастыря.

с. **380** *Орихали* — горное селение.

с. **380** *Иа* (груз.) — фиалка.

с. **381** *Гогла* — Г. Леонидзе (см. с. 437).

с. **381** *Мравалжамиев* (буквально «многие лета») — название древней грузинской песни.

с. **382** Впервые опубликовано в альманахе «День поэзии 1975» (М.: Сов. писатель, 1975).

с. **382** *Винокуров Евгений* Михайлович (1925—1993) — поэт.

с. **384** «Слова, которыми на улицах толкуют» — строка из стихотворения Е. Винокурова «Будни» (1965).

с. **384** «Как хорошо лицо свое иметь...» — начальная строка стихотворения Е. Винокурова (1960).

с. **384** «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой» — строки из стихотворения Е. Винокурова «Москвичи» (1955).

с. **386** Впервые опубликовано в «Литературной газете» 5 ноября 1975 г.

с. **387** *Тютчевские седины*. Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — поэт.

с. **389** *Смоленский Яков* Михайлович (1920—1996) — чтец-исполнитель. с. 457 Впервые опубликовано в еженедельнике «Советская Россия» 26 марта 1976 г. в качестве предисловия к публикации стихов поэтессы Вероники Михайловны Тушновой (1915—1965) из ее архива.

с. **391** Впервые опубликовано в «Литературной газете» 18 октября 1978 г.

с. **392** «Твой мальчик в шинели» — сын П.Г. Антокольского Владимир Павлович Антокольский (1923—1942) погиб на фронте.

с. **393** *Наталья Павловна* Антокольская (1921—1981) — художница. Дочь П.Г. Антокольского.

с. **393** *Сын* — В.П. Антокольский.

с. **395** Впервые опубликовано в журнале «Кругозор» (1986, № 7) в подборке материалов к 90-летию П.Г. Антокольского (см. с. 442).

с. 397 Впервые опубликовано в «Литературной газете» 3 июля 1996 г. в подборке материалов к столетию со дня рождения П.Г. Антокольского (см. с. 444).

с. 398 *Белый* Андрей (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) (1880—1934) — поэт.

с. 398 *Гумилев* Николай Степанович (1886—1921) — поэт.

с. 398 *Володя* — В.П. Антокольский (см. с. 393).

с. 400 *Шукшин* Василий Макарович (1929—1974) — писатель, кинорежиссер.

с. 402 Впервые опубликовано в кн.: О. Шукшине. Экран и жизнь. М.: Искусство, 1979.

с. 403 «*Живет такой парень*» — режиссерский дебют В. Шукшина в кино (1964).

с. 405 *Великий Поэт* — имеется в виду Б.Л. Пастернак (см. с. 295).

с. 409 Впервые опубликовано в кн.: Мессерер Асаф. Та-нец. Мысль. Время. М.: Искусство, 1979; М.: Искусство, 1990 (2-е изд.).

с. 409 *Исаакий* — Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, построенный по проекту архитектора А.А. Монферрана.

с. 414 Впервые опубликовано в «Литературной газете» 11 марта 1992 г.

с. 414 *Шалятин* Федор Иванович (1873—1938) — оперный певец (бас).

с. 414 *Собинов* Леонид Витальевич (1872—1934) — оперный певец (лирический тенор).

с. 414 *Мейерхольд* Всеволод Эмильевич (1874—1940) — театральный режиссер, актер, реформатор театра.

с. 414 *Михоэлс* (наст. фамилия Вовси) Соломон Михайлович (1890—1948) — актер, режиссер, педагог.

с. 415 Выступление на гражданской панихиде по А.М. Мессереру в Государственном академическом Большом театре. Публикуется впервые.

С. 417 Предисловие к книге: И. Дадашидзе. Ревность по дому. Тбилиси: Мерани, 1982.

с. 417 *Дадашидзе Илья Юрьевич* (р. 1942) — поэт, переводчик.

с. 419 Предисловие к неизданной книге Ю. Крелина и Н. Эйдельмана «Итальянцы в России». Публикуется впервые.

с. 419 «*Пастернак так когда-то проснулся в Венеции*» — Б. Пастернак побывал в Венеции в августе 1912 г. по пути из Марбурга в Россию. Эпизод описан поэтом в «Охранной грамоте» (ч. 2, гл. 14).

с. 419 *Крелин* (наст. фамилия Крейндлин) *Юлий Зусманович* (р. 1929) — писатель, врач-хирург.

с. 421 *Эйдельман Натан Яковлевич* (1930—1989) — писатель, историк, публицист.

с. 423 Неопубликованное предисловие ко 2-му изданию книги С.В. Чекалина «Наедине с тобою, брат...» (Ставропольское кн. изд-во). Публикуется впервые.

с. 423 «*Наедине с тобою, брат...*» — начальная строка стихотворения М.Ю. Лермонтова «Завещание» (1840).

с. 423 *Андроников* (наст. фамилия Андроникашвили) *Ираклий Луарсабович* (1908—1990) — писатель, литературовед.

с. 425 Впервые опубликовано в журнале «Смена» (1986, № 5).

с. 425 *Шепитько Лариса Ефимовна* (1938—1979) — кинорежиссер.

с. 425 *Параджанов Сергей Иосифович* (1924—1990) — кинорежиссер, художник.

с. 427 *Спарта* — древнегреческое государство, жители которого отличались выносливостью и с детства приучались к суровому, строгому образу жизни.

с. 430 *Генрих Густавович Нейгауз* (1888—1964) — пианист, педагог, музыкальный писатель.

с. 430 *Станислав Генрихович* Нейгауз (1927–1980) — пианист, педагог.

с. 430 *«Вот еще одно оправдание моей затеи...»* — авторское примечание к «Автобиографическим запискам» Г.Г. Нейгауза (1960).

с. 431 *«Сочиняйте, а не излагайте»* — статья Г.Г. Нейгауза в журнале «Искусство кино» (1964, № 4).

с. 431 Впервые опубликовано в журнале «Смена» (1987, № 5). Поэтические посвящения написаны в ноябре 1985 г. к юбилею Майи Михайловны *Плисецкой* (р. 1925) — выдающейся классической танцовщицы и балетмейстера.

с. 432 Впервые опубликовано в журнале «Музыкальная жизнь» (1993, № 9–10). Эпиграф из стихотворения Б. Пастернака «Анастасии Платоновне Зуевой» (1957).

с. 435 *Пастернак Евгений Борисович* (р. 1923) — литературовед. Сын Б.Л. Пастернака.

с. 435 *«Кармен-сюита», «Болеро»* — балеты, в которых танцевала М. Плисецкая.

с. 437 Предисловие к двойному альбому: Владимир Высоцкий *«...хоть немного еще постою на краю...»* (М.: Мелодия, 1987). Текст напечатан на конверте альбома.

с. 437 *«Когда-то... я поздравляла читателей...»* — эссе Б. Ахмадулиной «Однажды в декабре», напечатанное в «Литературной газете» 29 декабря 1976 г., помещено в т. 3 настоящего издания.

с. 437 *«Было напечатано одно его стихотворение»* — стихотворение «Из дорожного дневника» было опубликовано с купюрами в альманахе «День поэзии 1975». (М.: Сов. писатель, 1975). Это единственная прижизненная публикация стихов В. Высоцкого.

с. 437 Фрагменты обоих выступлений, смонтированные Н.А. Крымовой, опубликованы в составленной ею книге: «Я ко-

нечно вернусь...» Стихи и песни В. Высоцкого. Воспоминания. (М.: Книга, 1988).

с. 440 Выступление на вечере памяти В.Высоцкого в Доме кино (Москва).

с. 440 *«Мандельштамом сказано...»* — «Смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено. С этой вполне христианской точки зрения смерть Скрябина удивительна. Она не только замечательна как сказочный посмертный рост художника в глазах массы, но и служит как бы источником этого творчества, его телеологической причиной» (О.Мандельштам. Скрябин и христианство. //Русская литература. 1991. № 1).

с. 442 Выступление на вечере памяти В. Высоцкого в Центральном доме актера ВТО (Москва).

с. 445 Выступление на церемонии открытия памятника В. Высоцкому (Москва, Страстной бульвар).

с. 448 Впервые опубликовано в журнале «Огонек» (1987, № 36) в качестве предисловия к подборке стихотворений поэта *Бориса* Алексеевича *Чичибабина* (наст. фамилия Полушин) (1923—1994).

с. 450 Впервые опубликовано в «Литературной газете» 2 сентября 1987 г.

с. 450 *«Тишина, ты — лучшее из того, что слышал»* — строки стихотворения Б. Пастернака «Звезды летом» из книги «Сестра моя — жизнь» (1917).

с. 450 *Миронов Андрей* Александрович (1941—1987) — артист театра и кино.

с. 451 *«Опасной бездны на краю»* — неточная цитата из «Пира во время чумы» А.С. Пушкина (1830) («Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю...»).

с. 452 *Фигаро* — персонаж комедии французского драматурга Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732—1799) «Бе-

зумный день, или Женитьба Фигаро». А. Миронов умер 14 августа 1987 г. в финале спектакля «Женитьба Фигаро», который давался на сцене Рижского оперного театра во время гастролей Московского театра сатиры.

с. 453 Впервые опубликовано в кн.: Солнечное сердце. Воспоминания о Н. Думбадзе. Тбилиси: Мерани, 1988.

с. 453 *Думбадзе Нодар* Владимирович (1928—1984) — грузинский писатель, общественный деятель.

с. 455 Впервые опубликовано в журнале «Арион» (1996, № 4).

с. 456 *Тышлер Александр Григорьевич* (1898—1980) — театральный художник, живописец, график.

с. 457 «До сих пор я живу детскими и юношескими воспоминаниями...» — заключительные строки «Моей краткой биографии» А.Г. Тышлера (1978).

с. 459 *Флора* — Флора Яковлевна Сыркина, жена А.Г. Тышлера.

с. 459 *Васильев Юрий* Васильевич (1925—1990) — живописец, скульптор, театральный художник.

с. 461 Впервые опубликовано в газете «Московские новости» 28 мая 1988 г. в связи с предполагавшейся публикацией книги воспоминаний Е. Гинзбург «Крутой маршрут» в рижском журнале «Даугава».

с. 461 *Гинзбург Евгения Семеновна* (1906—1977) — писательница, мемуарист. Мать В.П. Аксенова (см. с. 7).

с. 461 «*Каторга! Какая благодать!*» — строка из поэмы Б. Пастернака «Лейтенант Шмидт» (1926—1927).

с. 461 *Внук Алеша* — Аксенов Алексей Васильевич, художник кино. Сын В.П. Аксенова (см. с. 7).

с. 463 Впервые опубликовано в газете «Московские новости» 4 сентября 1988 г. В настоящем издании печатается в авторской редакции.

с. 463 *Шодерло де Лакло* Пьер (1741—1803) — французский писатель, автор романа в письмах «Опасные связи».

с. 466 Впервые опубликовано в «Литературной газете» 23 мая 1990 г.

с. 468 Впервые опубликовано в журнале «Советский театр» (1989, № 1) как предисловие к пьесе Г. Сапгира «Амадей и Вольфганг».

с. 468 *Моцарт Вольфганг Амадей* (1756—1791) — австрийский композитор, музыкант универсального дарования.

с. 468 *Сапгир Генрих* Вениаминович (р. 1928) — поэт.

с. 470 «*Все снег да снег, — терти и точка...*» — начальные строфы из стихотворения Б. Пастернака (1931).

с. 472 Впервые опубликовано в кн.: Мир Пастернака, М.: Сов. художник, 1989. Эпиграф — начальные строки стихотворения Б. Пастернака из книги «Сестра моя — жизнь» (1917).

с. 473 *Марбург* — немецкий город, в котором Б. Пастернак провел летние месяцы 1912 г., занимаясь философией в Марбургском университете.

с. 473 *Несчастливая любовь* — имеется в виду история отношений Б. Пастернака и Иды Высоцкой, разрыв с которой во время пребывания поэта в Марбурге стал переломным моментом в его творческой биографии.

с. 473 *Скрябин* Александр Николаевич (1871/1872—1915) — композитор.

с. 473 «*Шаги моего божества*» — строка из поэмы Б. Пастернака «Девятьсот пятый год» (1925—1926).

с. 473 *Варварка, Ильинский сквер, Маросейка, Покровский бульвар* — улицы в историческом центре Москвы.

с. 473 *Пастернак Леонид Осипович* (1862—1945) — живописец, график. Отец Б.Л. Пастернака. С 1921 г. в эмиграции.

с. 473 *Левенталь Валерий* Яковлевич (р. 1938) — театральный художник.

с. 473 «*...в мастерской на Мясницкой*» — с 1894 г. Л.О. Пастернак преподавал в Училище живописи, ваяния и зодче-



ства, расположенном на Мясницкой улице в Москве. Преподавателям традиционно предоставляли квартиру и мастерскую при училище. Эту квартиру семья Пастернаков занимала до 1911 г.

с. 474 *Екатерина Павловна Перельман* — руководитель драматического кружка Дома пионеров.

с. 474 *«Дама приятная во всех отношениях»* — персонаж поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» (т. 1, гл. 9).

с. 474 *Розов Виктор Сергеевич* (р. 1913) — драматург.

с. 482 Впервые опубликовано в кн.: Эрдман Н. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. М.: Искусство, 1990.

с. 482 *Эрдман Николай* Робертович (1902—1970) — драматург.

с. 484 *Гарин Эраст* Павлович (1902—1980) — актер, режиссер.

с. 485 *Вольтин Михаил Давыдович* (1902—1988) — поэт, драматург.

с. 485 *Сизиф* — в древнегреческой мифологии царь Коринфа. Перехитрив богов, дважды сумел избежать смерти, за что был приговорен ими вечно вкатывать на гору камень, который, достигнув вершины, скатывался обратно. «Сизифов труд» — тяжелая бесплодная работа.

с. 485 *«...английская поговорка про дом и крепость»* — имеется в виду ставшее поговоркой изречение английского юриста Э. Кока (1552 — ок. 1634): «My house is my castle» (Мой дом — моя крепость).

с. 485 *Старостин Андрей Петрович* (1906—1987) — футболист, общественный деятель.

с. 488 *Асанова Динара Кулдашевна* (1942—1985) — кинорежиссер.

с. 488 *Вампилов Александр* Валентинович (1937—1972) — драматург, прозаик.

с. 488 *Даугава* — название реки Западная Двина в пределах Латвии.

с. 489 *Россельсы* — супруги Владимир Михайлович (р. 1914), переводчик, критик, литературовед, и Елена Юрьевна (1916—1995), переводчик.

с. 491 Впервые опубликовано в «Литературной газете» 1 августа 1990 г. Название — начальная строка стихотворения А.С. Пушкина «К морю» (1824).

с. 491 «...я написала в единственном экземпляре...» — имеется в виду письмо Б. Ахмадулиной к Э.А. Шеварднадзе, бывшему в то время первым секретарем ЦК КП Грузии, от 12 апреля 1982 г.

с. 493 «Цвет граната» — фильм С. Параджанова (1969).

с. 494 Впервые опубликовано в «Литературной газете» 29 сентября 1993 г.

с. 495 *Дом в Трехпрудном переулке* был дан Д.И. Иловайским (1832—1920) в приданое дочери В.Д. Иловайской (1858—1890), когда она выходила замуж за И.В. Цветаева. В этом доме родились М.И. и А.И. Цветаевы.

с. 495 *Лёра* — Валерия Ивановна Цветаева (1883—1966), дочь И.В. Цветаева и В.Д. Иловайской.

с. 496 «портрет Наполеона в киоте» — эпизод описан в кн.: Цветаева А.И. Воспоминания (ч. 9, гл. 2). Киот — застекленная створчатая рама или шкафчик для икон.

с. 496 «Песочная» дача в окрестностях Тарусы, которую семья Цветаевых снимала на летние месяцы в течение ряда лет.

с. 496 *Иловайские Сережа* (1885—1905) и *Надя* (1882—1905) — дети Д.И. Иловайского от второго брака — с А.А. Коврайской. История их жизни описана М.И. Цветаевой в очерке «Дом у старого Пимена».

с. 496 «Я хочу воскресить весь тот мир...» — из письма М.И. Цветаевой к В.Н. Муромцевой-Буниной (1881—1961) от 6 августа 1933 г.

с. 496 *Каган: София Исааковна* (1902—1994) и ее дочь, литературовед, Юдифь Матвеевна (р. 1924) — друзья А.И. Цветаевой.

с. 498 *«Драконна»* — прозвище, данное М. Цветаевой Лидии Александровне Тамбурер (ок. 1870 — ок. 1940), другу семьи Цветаевых.

с. 498 *Катаева-Лыткина Надежда Ивановна* (р. 1918) — организатор и директор Дома-музея М.И. Цветаевой в Москве.

с. 500 Впервые опубликовано в газете «Вечерний клуб» 27 февраля 1993 г., предвзяя выпуск фирмой «Русский диск» авторского альбома композитора *Леонида Десятникова* (р. 1955).

с. 502 Выступление на праздновании 70-летия Б. Окуджавы в Московском театре-школе современной пьесы.

с. 506 Впервые опубликовано в «Литературной газете» 9 августа 1995 г.

с. 508 Впервые опубликовано в «Литературной газете» 16 августа 1995 г.

с. 508 *Довлатов Сергей* Донатович (1941—1990) — писатель. С 1978 г. в эмиграции.

с. 510 *24 августа* 1990 г. — день смерти С. Довлатова.

с. 511 Впервые опубликовано в журнале «Грани» (1995, № 178).

с. 511 *«Грани»* — «журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли», основанный в 1946 г. Стихи Б. Ахмадулиной публиковались в «Гранях» дважды: в 1958 (№ 38) и 1970 (№ 74).

с. 511 *«Посев»* — «свободное русское издательство», основанное в 1945 г. сразу по окончании второй мировой войны, в лагере политических беженцев из России (т.н. «перемещенных лиц») у селения Менхегоф. В 1968 г. в издательстве «Посев» вышла книга Б. Ахмадулиной «Озноб».

с. **511** *Робин Гуд* — герой английских народных баллад, борющийся с норманнскими завоевателями, заступник обиженных и бедняков.

с. **512** *Ахматова* (наст. фамилия Горенко) *Анна Андреевна* (1889—1966) — поэт, переводчик.

с. **512** *Постановление* — имеется в виду постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 г.

с. **512** *Зоценко* Михаил Михайлович (1894—1958) — писатель.

с. **512** *Володин* (наст. фамилия Лифшиц) *Александр* Моисеевич (1919—2001) — драматург.

с. **512** *Ильина* *Наталья Иосифовна* (1914—1994) — писательница, мемуарист.

с. **513** *Реформатский* *Александр Александрович* (1900—1978) — лингвист. Муж Н.И. Ильиной.

с. **513** *Таормина* — город на острове Сицилия, давший название международной литературной премии «Этна-Таормина», которая была вручена А.А. Ахматовой 12 декабря 1964 г.

с. **513** *Раневская* *Фаина Григорьевна* (1896—1984) — актриса театра и кино. Близкая подруга А.А. Ахматовой.

с. **514** *Ардовы* — писатель-сатирик Виктор Ефимович Ардов (1900—1976) и его жена, драматическая актриса Нина Антоновна Ольшевская-Ардова (1908—1991), одна из ближайших подруг А.А. Ахматовой. В их доме на Большой Ордынке она постоянно останавливалась во время своих приездов в Москву.

с. **514** Художники Амедео *Модильяни* (1884—1920) и Натан Исаевич Альтман (1889—1970) нарисовали портреты А.А. Ахматовой в 1911 и 1914 гг. соответственно.

с. **514** *Оспедалетти* — средиземноморский курорт в Италии, недалеко от Сан-Ремо.

с. **514** *Чуковская Лидия Корнеевна* (1907—1996) — писательница, автор «Записок об Анне Ахматовой».

с. **515** *Баталов Алексей* Владимирович (р. 1929) — киноактер. Сын Н.А. Ольшевской-Ардовой от первого брака.

с. **515** *Лесков Николай Семенович* (1831—1895) — писатель.

с. **516** *Знаменитая приятельница* — Ника Николаевна Глен (р. 1928), переводчица, редактор, секретарь комиссии по литературному наследию А. Ахматовой.

с. **516** «*Чехов едет к Толстому в Гаспру*» — эпизод описан в мемуарном очерке И.А. Бунина «О Чехове» (1950).

с. **518** *Немой* (обл.) — немой, глухонемой.

с. **518** *Комарово* — дачный поселок под Санкт-Петербургом.

с. **518** *Гумилев Лев Николаевич* (1912—1992) — историк, географ. Сын А.А. Ахматовой и Н.С. Гумилева.

с. **519** Впервые опубликовано в «Литературной газете» 6 ноября 1996 г.

с. **519** *Судакевич Анель* Алексеевна (р. 1906) — актриса немого кино, художница по костюмам. Мать Б.А. Мессерера.

с. **519** Эпиграф — строка из стихотворения Ф.И. Тютчева «Я встретил вас — и все былое...» (1870).

с. **519** «*Благодарствуй, ты больше, чем просят, даешь*» — заключительные строки стихотворения Б. Пастернака «Иней» (1941).

с. **522** «*Быть женщиной — великий шаг...*» — строки из стихотворения Б. Пастернака «Объяснение» (из романа «Доктор Живаго»).

с. **522** *Фонвизин Артур Владимирович* (1882/83—1973) — художник.

с. **522** Впервые опубликовано в «Литературной газете».

с. **525** Книга воспоминаний В. Набокова, написанная по-английски, была переведена автором на русский язык и из-

дана под названием «Другие берега» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954).

с. **525** *Мать Набокова* — Елена Ивановна Набокова (урожд. Рукавишникова) (1876—1939).

с. **525** *Монтрё* — курортный город в Швейцарии, на берегу Женевского озера, где с 1960 г. В.В. Набоков с семьей жил в отеле «Палас».

с. **526** *Старший Владимир Набоков* — отец писателя Владимир Дмитриевич (1869—1922), юрист, публицист, один из лидеров кадетов.

с. **527** *Рампетка* — сачок для ловли бабочек.

с. **528** «*Француз*», «*Сверчок*» — лицейские прозвища А.С. Пушкина.

с. **529** *Головина Алла Сергеевна* (урожд. Штейгер, во втором браке Жиль де Пелиши) (1909—1987) — поэтесса, прозаик.

с. **529** *Тескова Анна Антоновна* (1872—1954) — чешская писательница, переводчица произведений русской литературы.

с. **530** «*Весна в Фиальте* и другие рассказы» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956) — книга В. Набокова.

с. **530** *Платонов Андрей Платонович* (1899—1951) — писатель.

с. **530** «*Целую Вас — через сотни...*» — строка из стихотворения М. Цветаевой «Никто ничего не отнял!..» (1916).

с. **530** *Муромцевы* — семья жены И.А. Бунина Веры Николаевны Муромцевой-Буниной. Ее отец Николай Андреевич (1852—1933) был членом Московской городской управы, дядя Сергей Андреевич (1850—1910) — председателем Первой Государственной думы.

с. **530** «*Окаянные дни*» — литературно-публицистический дневник И.А. Бунина о событиях 1918—1919 гг. в Москве и Одессе.

с. **531** *Нобелевский лауреат тридцать третьего года* — И.А. Бунин (см. с. 269).

с. **531** *Куверт* (устар.) — столовый прибор.

с. **531** *Твардовский* Александр Трифонович (1910—1971) — поэт, общественный деятель, главный редактор журнала «Новый мир» в 1950—1954 и 1958—1970 гг.

с. **531** *Сурков* Алексей Александрович (1899—1983) — поэт, общественный деятель.

с. **531** В июле 1965 г. были арестованы писатели Андрей Донатович *Синявский* (р. 1925) и Юлий Маркович *Даниэль* (1925—1988), обвиненные в антисоветской деятельности за публикацию на Западе своих сатирических произведений. Последующий судебный процесс вызвал большой общественный резонанс.

с. **531** *Анненков Юрий* Павлович (1889—1974) — график, живописец. С 1974 г. в эмиграции.

с. **531** *Триоле* (урожд. Каган) *Эльза* Юрьевна (1896—1970) — французская писательница, переводчица.

с. **531** «*Свежо и остро пахли морем*» — строка из стихотворения А. Ахматовой «Вечером» (1913).

с. **531** *Цюрих* — город в Швейцарии, главный промышленный и торгово-финансовый центр страны.

с. **531** *Монмартрское кафе*. Монмартр — район Парижа, место проживания литераторов, артистов, художников.

с. **531** «*Церковь Сокровенного Святого Сердца*» — имеется в виду базилика Сакре-Кёр (Сердца Христова) на Монмартре.

с. **531** *Шевалье* (фр.) — здесь: кавалер.

с. **531** *Горбаневская* Наталья Евгеньевна (р. 1936) — поэтесса, правозащитница, создательница и первый редактор журнала «Хроника текущих событий». 25 августа 1968 г. группа правозащитников провела демонстрацию в Москве

на Красной площади у *Лобного места*, протестуя против вторжения в Чехословакию.

с. **534** *«Машенька»*, *«Лолита»*, *«Подвиг»* — романы В.В. Набокова.

с. **534** *Гум Гумыч* — персонаж романа В. Набокова *«Лолита»* (1955).

с. **535** *Марина Влади* (псевдоним Марины Владимировны Поляковой-Байдаровой) (р. 1938) — французская актриса кино и театра. Жена В. Высоцкого (см. с. 9).

с. **536** *Замки на Луаре*. — В долине реки Луара сохранилось большое число замков, архитектурных памятников французского ренессанса.

с. **536** *Кальвадос* (фр.) — яблочная водка.

с. **536** *Круассан* (фр.) — рогалик из слоеного теста.

с. **537** *Герра Ренэ* — французский славист, коллекционер.

с. **538** *Никербокер* — ученый педант и любитель местных преданий, от имени которого написана *«История Нью-Йорка»* американского писателя Уошингтона Ирвинга (1783—1859).

с. **538** *Плисецкий Азарий* Михайлович (р. 1937) — артист балета, педагог, балетмейстер.

с. **539** *Шагал Ида* (р. 1916) — дочь художника М.З. Шагала.

с. **539** *Поплавский Борис* Юлианович (1903—1935) — поэт, прозаик. С 1921 г. в эмиграции.

с. **540** *День четырнадцатое июля* — день штурма Бастилии (1789 г.), явившийся началом Великой французской революции. Национальный праздник Франции.

с. **541** *Паб* (англ.) — пивная, бар, закусочная.

с. **542** *Вера Евсеевна Набокова* (урожд. Слоним) (1902—1991) — жена В.В. Набокова.

с. **544** *Лужин* — герой повести В. Набокова *«Защита Лужина»*.

с. **544** *Соколов Саша* (Александр Всеволодович) (р. 1943) — писатель, автор романа *«Школа для дураков»*.



с. 545 *Максимов Владимир* Емельянович (1932—1995) — писатель, основатель журнала «Континент».

с. 546 *Солженицын* Александр Исаевич (1918—2008) — писатель.

с. 546 *Мандельштам Надежда Яковлевна* (1899—1980) — мемуарист. Жена поэта О.Э. Мандельштама.

с. 547 «*Башня*» *Серебряного века* — петербургская квартира поэта-символиста Вяч. Ив. Иванова и его жены писательницы Л.Д. Зиновьевой-Аннибал на Таврической улице, где в 1905—1907 гг. практически еженедельно собиралась петербургская культурная элита (так называемые «ивановские среды»).

с. 548 *Карден Пьер* (р. 1922) — французский кутюрье.

с. 548 *Сорбонна* — распространенное второе название Парижского университета.

с. 548 *Шемякин* Михаил Михайлович (р. 1943) — художник. С 1971 г. в эмиграции.

с. 548 *Барышников* Михаил Николаевич (р. 1948) — артист балета, балетмейстер.

с. 549 *Шагал Марк Захарович* (1887—1985) — живописец, график.

с. 553 *Эмпайр стейт билдинг* — небоскреб в Нью-Йорке, долгое время бывший самым высоким зданием в мире.

с. 553 *Лозанна* — город в Швейцарии на берегу Женевского озера.

с. 553 «*Шильонский узник*» — поэма английского поэта Д.Г. Байрона (1788—1824). Ее герой — женеvский гражданин Франсуа Бонивар (1493—1570), участник политической борьбы за независимость Женевы. В 1530—1536 гг. он был заключен в подземелье Шильонского замка.

с. 554 *Петербург, станция «Сиверская», Выра, Рождествоно* — места, связанные с жизнью В. Набокова в России.

с. 556 Опубликовано в «Литературной газете» 18 декабря 1996 г. Название — начальная строка русской народной песни.

с. 556 «Чудище обло, озорно...» — строка из поэмы В.К. Тредиаковского «Телемахида», использованная А.Н. Радищевым в качестве эпиграфа к «Путешествию из Петербурга в Москву» (1790).

с. 557 *Василий Теркин* — герой одноименной поэмы А. Твардовского (1941—1945).

с. 558 *Верецкий Орест Георгиевич* (1915—1993) — график, автор иллюстраций к поэмам «Василий Теркин» и «Страна Муравия».

с. 560 *Копань* (обл.) — яма, ров, колодец без сруба, выкапываемые для собирания дождевых или грунтовых вод с различными хозяйственными целями.

с. 560 Книга воспоминаний И.Т. Твардовского «На хуторе Загорье» (М.: Современник, 1983) позднее дополнена неизданными главами (Юность. 1988. № 3).

с. 561 «*Бежин луг*» — рассказ И.С. Тургенева из «Записок охотника».

с. 564 Левша — герой одноименной повести Н.С. Лескова (1881).

с. 566 *Арагон Луи* (1897—1982) — французский писатель, общественный деятель. Муж Эльзы Триоле (см. с. 575).

с. 566 *Селин* (наст. фамилия Детуш) *Луи Фердинанд* (1894—1961) — французский писатель.

с. 566 «*Юманите*» — ежедневная газета, орган французской компартии.

с. 567 *Брик* (урожд. Каган) *Лили Юрьевна* (1891—1978) — скульптор, главная любовь в жизни В. Маяковского.

с. 567 *Неруда Пабло* (псевдоним Нефтали Рикардо Рейес Басоальто) (1904—1973) — чилийский поэт, дипломат.

с. 568 *Нотр-Дам де Пари* (Собор Парижской Богоматери) — архитектурный памятник ранней французской готики в историческом центре Парижа.

с. 568 *«Чрево Парижа»* — Центральный парижский оптовый рынок, ныне снесенный.

## Содержание

### Стихи и поэмы (1997–2008)

«Вот — пруд и дерево плакучее...» .....	4
«Малеевка, как нежно, грустно...» .....	6
Городской пейзаж .....	8
Изгнание ёлки .....	9
Иидение розы .....	13
«Девочка с персиками» .....	20
Воспоминание .....	22
Отсутствие черёмухи .....	26
Скончание сирени .....	28
Пуговица в китайской чашке .....	32
Роза на окне .....	36
«О Латвия моя, не тот я, кто своюю...» .....	38
«О Латвия моя, куда-то переносит...» .....	40
«Город тартар, наущенье татар...» .....	41
Помысел о Прусте .....	42
Траурная гондола .....	44
Вишнёвый сад .....	45
Спас полунощный .....	47
Озябший гиацинт .....	49
ВОЗЛЕ ЁЛКИ .....	50
31 декабря: к ёлке .....	50
Ночь возле ёлки .....	53

Он и я .....	57
Ночь под рождество .....	60
Святочные колядки .....	66
Окаём и луна .....	71
«Привез поломник Иерусалима...» .....	74
«Я ровно в полночь возжигаю свечи...» .....	76
Прегрешения вольные и невольные .....	80
На мотив Икоса .....	84
ЧЕРЁМУХА МОЯ .....	86
«В той местности, откель купец Малеев...» .....	86
«Премьеры чад и блеск...» .....	88
«Воздумал май вернуться в март...» .....	91
«Черёмухи моей ведро...» .....	94
СНЫ О ГРУЗИИ .....	98
Авелум. Отару Чиладзе .....	98
Я и ночь и Иалактион .....	101
Памяти Симона Чиковани .....	106
Памяти Гии Маргвелашвили .....	113
Памяти Гурама Асатиани .....	117
Сакарвело .....	124
«День августа двадцать шестой» .....	127
УМСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ .....	132
«Лежаний, прилежаний, послушаний...» .....	132
«Уж утро. За потачку Геркулеса...» .....	134
БЛАЖЕНСТВО БЫТИЯ .....	136
«Шесть дней небытия не суть нули...» .....	136
«На свете счастье есть. Нет солнца, нет мороза...» .....	144
ГЛУБОКИЙ ОБМОРОК .....	148
В Боткинской больнице .....	148
Отступление о Битове .....	150
Послесловие к I .....	152
Посвящение вослед .....	155
Сюжет .....	159
Мгновенье бытия .....	162

Отступление о Носсиде .....	165
Прощание с капельницей .....	167
Больничные шутки и развлечения .....	173
Возвращение .....	177
Ночь до утра .....	180
Заккрытие тетради .....	182
Невольные прегрешения в ночь на 25 декабря .....	185
Жалобы пишущей ручки .....	189
Предпроводы ёлки .....	191
Послание .....	194
ХВОЙНАЯ ХВОРОБА .....	197
«Мы знаем: счастья — нет, но где покой, где воля?...» .....	197
«Опускаем полгода. Сочтём юбилеем...» .....	198
«Июля первый день живописатель цвета...» .....	202
ПАЦИЕНТ .....	206
«Поутру, натравив кофеин на дремучесть...» .....	206
«Где поле зренья просит просветленья...» .....	209
«Спит дармоед, спят чашка и тарелка...» .....	211
«Я с ним простилась. Он — не стал прощаться...» .....	216
«Сочинитель — не спячки, а скачки наездник...» .....	222
«Смех без причины... — знаем, знаем!» .....	224
«Вы думаете: пациенту не с кем...» .....	227
«В больнице есть заманчиво бесплатный...» .....	229
«Был майский день, шестнадцатый по счёту...» .....	233
«Путешествие .....	237

### Стихи к фильмам

Стихи к фильму «Венок сонетов» .....	244
Стихи к фильму «Луг зеленый» .....	249
Стихи к фильму «Спорт, спорт, спорт...» .....	261

### Посвящения и дарственные надписи

«О том, чьё имя...» .....	264
«Мной столько раз восславлен Битов...» .....	266

Андрею Битову .....	268
Ночное посвящение .....	270
Надпись на книге .....	272
«Причудливый бродит меж лип господин...» .....	273
«Мы — в доме, что воздвигли ЗЕКий...» .....	275
Экспромт в честь вечера Василия Аксёнова	
11 января 1999 года .....	277
«Продолжить повелел... быть по сему, Володя...» .....	280
«Всё чаще голос твой...» .....	281
«Я возжигала в полночь две свечи...» .....	282
«Все знают, что великий Плучек...» .....	284
«Мой Дэдик! Всё же имя: Дэльвиг...» .....	285
Шутка для милого Дэдика в день его рождения .....	286
Юрию Росту .....	288
«Пишу — весь день, всю ночь, всё утро...» .....	289
«Считать я стала до восьми...» .....	291
Посвящение .....	293
«В реанимации туманной...» .....	296
Нежестокий романс .....	297
«Люблю, люблю! — при снегопаде...» .....	298
«Ход вам навстречу так плавен...» .....	299
«Любовь моя, Ваш день рожденья...» .....	300
Александр Моисеевичу Эскину .....	302
«Благодарю тебя, мой Левин...» .....	304
Посвящения Нани .....	305
1. «Так я жила-была: не зная...» .....	305
2. «Не довольно ли нам пререкаться...» .....	306
3. «Из высшего мрака, из вечности грозной...» .....	307
4. «Дали жизни, прекрасно короткой...» .....	308
Козлёнок .....	310
«Крепнет и множится вихрь, обрывающий...» .....	312
«Не состязались. Но реванш...» .....	314
«Любезный друг, мой милый Бух!» .....	316

«И волос бел, и голос побелел...» .....	317
«Мне ль помышлять о примиренье...» .....	319
«Восславим дам, как Пушкин нам велел...» .....	320
«Средь роз в халате и в палате...» .....	322
Дарственная надпись на книге «Гряда камней» .....	323
Экспромт к открытию выставки, посвящённой «Евгению Онегину» в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина .....	324
«На Эйфеля был зол Золя...» .....	326
«Как я люблю Вас, Таня, Зяма!..» .....	327
«Не надо! Никогда! — ни дома и ни сада...» .....	329
«Ночью подъехала к дому...» .....	330
«В саду дрозды перекликались...» .....	331
«Что — слова? Что — докучность премий?..» .....	332
В ночь на 21 декабря 1980 года .....	333
«Войнович в том, что он — Войнович...» .....	334
Ещё одно посвящение Владимиру Войновичу .....	335
«Глаза затравленной газели...» .....	337
Посвящение Ванечке Аксёнову .....	338
Шуточное послание .....	339
Носсиде .....	342
Роману Солнцеву .....	343
Фазилю Искандеру .....	344
Посвящения и дарственные надписи Борису Мессереру....	345
Праздное упражнение .....	353

### Стихи детям

Песенки для ани и для других мальчиков и девочек .....	356
Воспоминания .....	361
Живое семицветье .....	362
Воспоминание о Грузии .....	364
Отрывок .....	366
Путешествие .....	368



«Мороз и солнце, день чудесный...» .....	370
«Прекратим эти речи на миг...» .....	374
Анна Каландадзе .....	379
О Евгении Винокурове .....	382
Счастливый дар .....	386
К читателю .....	389
Вероника Тушнова .....	391
Прощаясь с Павлом Григорьевичем Антокольским.. .....	392
Порыв души и ума .....	395
Миг бытия .....	397
Не забыть .....	402
Вместо предисловия .....	409
Памяти великого артиста .....	414
Слово прощания .....	415
«Ревность по дому» .....	417
«Итальянцы в России» .....	419
«Наедине с тобою, брат...» .....	423
Лариса Шепитько .....	425
Посвящение .....	430
Послесловие к автобиографии Майи Плисецкой .....	432
Новый год и Майя .....	435
Дарующий радость .....	437
Вождь своей судьбы .....	440
Артист и поэт .....	442
Союз радости и печали .....	445
Несколько слов о Борисе Чичибабине склоняю голову .....	450
Нодар Думбадзе .....	453
Памяти Александра Григорьевича Тышлера .....	456
Ваше величество женщина .....	461
Париж — Петушки — Москва .....	463
Памяти Венедикта Ерофеева .....	466
«Амадей и Вольфганг» .....	468

---

Борис Пастернак .....	470
Лицо и голос .....	472
День счастья .....	482
Динара Асанова .....	488
«Прощай, свободная стихия» .....	491
Час души .....	494
Посвящается вам .....	500
Устройство личности .....	502
Алик Левин .....	504
«Когда вы безвыходно печальны...» — .....	506
Посвящение Сергею Довлатову .....	508
Поздравление журналу «Грани» .....	511
Всех обожаний бедствие огромно.. ..	512
Розы для Анели .....	519
Возвращение Набокова .....	524
Среди долины ровныя.. ..	556
<b>Комментарии .....</b>	<b>570</b>

## ПРИБОРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **БУКВА**

### МОСКВА:

- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр.1, т. (495) 323-19-05
- м. «Алексеевская», пр-т Мира, д. 114, стр. 2 (Му-Му), т. (495) 687-57-56
- м. «Алтуфьево», ТРЦ «РИО», Дмитровское ш., вл. 163, 3 этаж, т. (495) 988-51-28
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, т. (499) 267-72-15
- м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 22, ТЦ «Александр», 0 этаж, т. (495) 406-92-65
- м. «ВДНХ», ТЦ «Золотой Вавилон - Ростокино», пр-т Мира, д. 211, т. (495) 665-13-64
- м. «ВДНХ», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, ТРК «XL-2», 3 этаж, т. (495) 641-22-89
- м. «Домодедовская», Ореховый б-р, вл. 14, стр. 3, ТЦ «Домодедовский», 3 этаж, т. (495) 983-03-54
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18а, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул.Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (495) 616-20-48
- м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 109, к. 2, т. (495) 429-72-55
- м. «Крылатское», Рублевское ш., д. 62, ТРК «Евро Парк», 2 этаж, т. (495) 258-36-14
- м. «Марксистская/Таганская», Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2, т. (495) 911-21-07
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, к. 2, т. (495) 306-18-98
- м. «Петровско-Разумовская», ТРК «XL», Дмитровское ш., д. 89, 2 этаж, т. (495) 783-97-08
- м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 26, ТЦ «Пражский Пассаж», 2 этаж, т. (495) 721-82-34
- м. «Преображенская площадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1, т.(499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д.76, к.1, 3 этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Теплый Стан», Новоясеневский пр-т, вл.1, ТРЦ «Принц Плаза», 4 этаж, т. (495) 987-14-73
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., 15/1, т.(495) 977-74-44
- м. «Третьяковская», ул. Большая Ордынка, вл.23, пав. 17, т. (495) 959-40-00
- м. «Тульская», ул. Большая Тульская, д.13, ТЦ «Ереван Плаза», 3 этаж, т. (495) 542-55-38
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, к.1, т. (495) 322-28-22
- м. «Шелковская», ул. Уральская, д. 2а, стр. 1
- м. «Шукинская», ТЦ «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, 3 этаж, т. (495) 229-97-40
- м. «Юго-Западная», Солнцевский пр-т, д. 21, ТЦ «Столица», 3 этаж, т.(495) 787-04-25
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д.5, к.1, т.(495) 423-27-00
- М.О., г. Железнодорожный, ул. Советская, д.9, ТЦ «Эдельвейс», 1 этаж, т. (498) 664-46-35
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Зеленоград», Крюковская пл., д. 1, стр. 1, 3 этаж, т. (499) 940-02-90
- М.О., г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 4, ТЦ «Дарья», 2 этаж, т. (496) 24 6-55-57
- М.О., г. Коломна, Советская пл., д. 3, ТД «Дом торговли», 1 этаж, т. (496) (61) 50-3-22
- М.О., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 151/9, т. (495) 554-61-10
- М.О., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32а, ТРЦ «Счастливая семья», 2 этаж
- М.О., г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТРЦ «Поворот»

## Регионы:

- г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18, т. (8182) 64-00-95
- г. Астрахань, ул. Чернышевского, д. 5а, т. (8512) 44-04-08
- г. Белгород, Народный б-р, д. 82, ТЦ «Пассаж», 1 этаж, т.(4722) 32-53-26
- г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
- г. Волгоград, ул. Мира, д. 11, т. (8442) 33-13-19
- г. Воронеж, пр-т Революции, д. 58, ТЦ «Утюжок», т. (4732) 51-28-94
- г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32, ТРЦ «Серебряный город», 3 этаж, т. (4932) 93-11-11 доб. 20-03
- г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. За, ТРЦ «Столица», 2 этаж, т. (3412) 90-38-31
- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, ТРЦ «ГРИНВИЧ», 3 этаж
- г. Калининград, ул. Карла Маркса, д.18, т. (4012) 71-85-64
- г. Краснодар, ул. Головатого, д. 313, ТЦ «Галерея», 2 этаж, т. (861) 278-80-62
- г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, ТЦ «Атлас», 1, 2 этаж, т. (391) 211-39-37
- г. Курск, ул. Ленина, д. 31, ТРЦ «Пушкинский», 4 этаж, т. (4712) 73-45-30
- г. Курск, ул. Ленина, д.11, т. (4712) 70-18-42
- г. Липецк, угол Коммунальная пл., д. 3 и ул. Первомайская, д. 57, т. (4742) 22-27-16
- г. Орел, ул. Ленина, д. 37, т. (4862) 76-47-20
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 31, т. (3532) 31-48-06
- г. Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», 2 этаж, т. (8412) 20-80-35
- г. Пермь, ул. Революции, д. 13, 3 этаж, т. (342) 0238-69-72
- г. Ростов-на-Дону, г. Аксай, Новочеркасское ш., д. 33, ТЦ «Мега», 1 этаж, т. (863) 265-83-34
- г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, к. 1, ТЦ «Виктория Плаза», 4 этаж, т. (4912) 95-72-11
- г. С.-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 15, ТЦ «Измайловский», 1 этаж, т. (812) 325-09-30
- г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 98, т. (8652) 26-16-87
- г. Тверь, ул. Советская, д. 7, т. (4822) 34-37-48
- г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68
- г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- г. Тула, пр-т Ленина, д. 18, т. (4872) 36-29-22
- г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 44, ТРЦ «Гудвин», 2 этаж, т. (3452) 79-05-13
- г. Уфа, пр-т Октября, д. 34, ТРК «Семья», 2 этаж, т. (3472) 293-62-88
- г. Чебоксары, ул. Калинина, д.105а, ТЦ «Мега Молл», 0 этаж, т. (8352) 28-12-59
- г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 68, т. (351) 263-22-55
- г. Череповец, Советский пр-т, д. 88, т. (8202) 20-21-22
- г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 29/18, т. (4852) 72-89-20
- г. Ярославль, ул. Свободы, д. 12, т. (4852) 72-86-61

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг  
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте [www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru)

Заказывайте книги почтой в любом уголке России  
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой»  
или на сайте: [shop.avanta.ru](http://shop.avanta.ru)

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосквью:  
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: [www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)

Издательская группа АСТ [www.ast.ru](http://www.ast.ru)  
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж  
Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, факс 615-51-10  
E-mail: [zakaz@ast.ru](mailto:zakaz@ast.ru)

*Литературно-художественное издание*

**Ахмадулина Белла Ахатовна**

## **ПУГОВИЦА В КИТАЙСКОЙ ЧАШКЕ**

Составитель *Б.А. Мессерер*  
Ведущий редактор *В.Б. Парадовская*  
Компьютерная верстка *И.В. Соколова*  
Корректор *И.Ю. Босова*

Подписано в печать 14.03.11. Формат 84x108<sup>1/32</sup>.  
Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 33,60. Тираж 3000 экз. Заказ 752.

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО «Издательство Астрель».  
129085, г. Москва, проезд Ольминского, 3а  
ООО «Агентство «КРПА Олимп».  
115191, Москва, а/я 98  
[www.rus-olimp.ru](http://www.rus-olimp.ru)  
E-mail: [olimpus06@rambler.ru](mailto:olimpus06@rambler.ru)

Издание осуществлено при техническом участии  
ООО «Издательство АСТ»

Издано при участии ООО «Харвест». ЛИ № 02330/0494377 от 16.03.2009.  
Ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42, 220013, г. Минск, Республика Беларусь  
E-mail редакции: [harvest@anitex.by](mailto:harvest@anitex.by)

Республиканское унитарное предприятие  
«Издательство «Белорусский Дом печати».  
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.  
Пр. Независимости, 79, 220013, Минск, Республика Беларусь.

Творчество Беллы Ахмадулиной стало одним из самых ярких и значительных явлений в русской словесности.

Интерес к ее поэзии с годами не ослабевает и уже сейчас очевидно, что она — один из крупнейших русскоязычных поэтов конца XX — начала XXI столетия.

В книгу «Пуговица в китайской чашке» из трехтомника Беллы Ахмадулиной вошли стихотворения 1997—2008 гг., такие поэмы, как «Черемуха», «Пациент», «Глубокий обморок», поэтические посвящения Василию Аксенову, Владимиру Войновичу, Эльдару Рязанову и многим другим, а также цикл «Стихи детям» и прозаические произведения.

ISBN 978-5-271-32278-5



9 785271 322785